

Мишель УЭЛЬБЕК  
Бернар-Анри ЛЕВИ

# ВРАГИ ОБЩЕСТВА



«Священные чудовища» французской литературы Уэльбек и ВНЛ, которые видят мир в абсолютно противоположных ракурсах, неожиданно находят точки соприкосновения.

«Marianne», 4 октября 2008 г.



Мишель УЭЛЬБЕК  
Бернар-Анри ЛЕВИ

*Враги общества*



Санкт-Петербург  
2011

УДК 82/89  
ББК 84.4 Фр  
У 98

Michel Houellebecq et Bernard-Henri Levi. Ennemis Publics

Перевод с французского Екатерины Кожевниковой  
Оформление Ильи Кучмы

© Flammarion / Grasset & Fasquelle, Paris, 2008  
© Е. Кожевникова, перевод на русский язык, 2009  
© ООО «Издательская Группа  
„Азбука-Аттикус"», 2011  
Издательство АЗБУКА®

**ISBN 978-5-389-02731-2**

Брюссель, 26 января 2008 года

Уважаемый Бернар-Анри Леви!

По общему мнению, мы с вами абсолютные антиподы, но есть одна черта, и черта довольно существенная, которая нас объединяет: оба мы — одиозные фигуры.

Вы — мастер медиаклоунад и ловких ударов исподтишка, вы меняете убеждения чаще сорочек, а сорочки на вас всегда безупречные, вы вхожи в самые узкие круги и с детства купаетесь в неприличной роскоши, вы истинный представитель «оранжерейных бунтарей» и «левого крыла партии черной икры», как по-прежнему именуют эту славную разновидность в журналах невысокого полета вроде «Марианны», хотя немецкое выражение «Toskana-Fraktion»<sup>1</sup> гораздо остроумнее.

Вы — философ без мыслей, но зато со связями и автор фильма «День и ночь», самого жалкого в истории кинематографа.

А ваш покорный слуга ославлен как нигилист, реакционер, циник, шовинист и гнусный женоненавистник.

<sup>1</sup> «Тосканская фракция» (нем.) — немецкие политики и левые интеллектуалы, владеющие недвижимостью в Италии.

Даже малопривлекательная семья ультраправых сторонится меня. На деле я пошляк-обыватель, бездарность, графоман, достигший известности совершенно случайно несколько лет назад по недосмотру критиков-остолопов, которым внезапно начисто изменил вкус. Хорошо еще, что мои натужные попытки эпатировать публику с тех пор успели всем надоесть.

Итак, мы с вами ярчайший пример вопиющего упадка интеллектуальной жизни Франции и кризиса ее культуры — о кризисе французской культуры недавно писал журнал «Тайм», как всегда суровый, но справедливый.

В том, что французский рок возродился, нет нашей заслуги. Ни вы, ни я не упомянуты в титрах «Рататюя».

Наши силы равны. Мы готовы к честному поединку.

*Париж, 27 января 2008 года*

Готовы к честному поединку?

Уважаемый Мишель Уэльбек, наш диалог может развиваться по-разному. Вот три возможных варианта.

Вариант номер один. Отлично. Мы и вправду подходим друг другу. Вы посредственность. Я бездарность. В голове у нас даже не ветер, а гулкая пустота. Мы дутые величины, самозванцы, комики. Тридцать лет дивлюсь, что такому ничтожеству, как я, удалось и по-прежнему удается дурачить почтенную публику. Тридцать лет жду прозорливого читателя, что сорвет с меня маску, уже устал ждать. И сколько же наплодил за это время беспомощных, неудачных пародий на самого себя! Так давайте потягаемся. А вдруг с вашей помощью я наконец добыюсь полнейшего саморазоблачения? Вы тщеславны — я амбициозен. Я аморален, и вы не святой. Как сказал один человек высокой души, но тоже фигура весьма одиозная: «Вы играете в открытую, я тоже раскрываю карты — с величайшим облегчением!»<sup>1</sup>

Вариант номер два. Ваша цель мне ясна. Но я-то тут при чем? Зачем мне ввязываться в сомнительный эксперимент, зачем очернять самого себя? А вдруг я не разделяю вашей страсти к саморазрушению? Не хочу себя истязать, бичевать, проклинать, унижать, изничтожать? Я не выношу нигилистов. Все они озлоблены,

<sup>1</sup> Луи Арагон. «Я раскрываю карты» (1959).

мстительны и вместе с тем сентиментальны. Не терплю подобного сочетания. На мой взгляд, главная задача современного писателя — противостоять всеобщему «депрессионизму». Это расхожее понятие точнее всего выражает суть нашей эпохи. Если я и соглашусь на вашу затею, то лишь с тем, чтобы еще раз напомнить людям, что существует радость общения, радость творчества, что возможно жить в гармонии, сколько бы ни доказывали обратное пессимисты-неудачники, ненавидящие всех и вся. Я даже возьму на себя неблагодарную роль Филиита, спорящего с Альцестом. А потом расщедрюсь и пропою прочувствованный дифирамб вашим книгам, ну и свои не забуду, конечно. Наша беседа может протекать и в таком ключе. В этом нет ничего невозможного.

Вариант номер три. Давайте найдем ответ на вопрос, который вы задали в тот вечер в ресторане, когда вам пришла в голову мысль начать этот спор. Откуда в мире столько ненависти? В чем причина? За что неистово ненавидят, бранят последними словами, безжалостно язвят безобидного писателя? Вас, к примеру. Или меня. Нет, шутки в сторону, за что ополчились на Сартра современники? Почему всякий раз у выхода из кинотеатра Кокто поджидали негодяи, готовые наброситься на него с кулаками? Спасаясь от них, он, наверное, ни одного фильма не досмотрел до конца. Паунд в психушке... Камю один в четырех стенах... Чудовищное письмо Бодлера о том, что все человечество в сговоре против него. Можно перечислять бесконечно. Вся история литературы состоит из отверженных и гонимых. Но осмелюсь спросить: а что, если сами писатели к этому стремились? К чему именно? Да к всеобщей неприязни, черт побери! Упивались поношениями. Наслаждались безвестностью и неприкаянностью. Смаковали обиды.

Итак, три варианта диалога. Выбор за вами.



2 февраля 2008 года

Уважаемый Бернар-Анри!

К сожалению, я вынужден отклонить ваше заманчивое предложение поспорить о «депрессионизме», хотя, безусловно, являюсь одним из самых маститых представителей этого направления (впрочем, в будущем мы к нему еще вернемся). Дело в том, что сейчас я в Брюсселе, и у меня под рукой нет моих книг. А цитировать наизусть я могу лишь Бодлера — с Шопенгауэром, боюсь, не избежать оплошностей. М-да, хорошенькое дело, рассуждать о Бодлере в Брюсселе — мрак!

Чуть выше в упомянутом вами письме (кстати, там речь идет не о человечестве, но всего лишь о французах) Бодлер утверждает, что гений всегда выстаетаивает *вопреки* соотечественникам и сила его противостояния должна быть равна или даже превышать их объединенные, усилия<sup>1</sup>.

Первое, что приходит на ум: как же утомительно быть гением! Потом вспоминаешь, что Бодлер прожил всего сорок шесть лет.

<sup>1</sup> «Нации производят на свет великих людей, но только против собственной воли — точь-в-точь как семьи. Они прилагают все усилия к тому, чтобы таких людей не было. Посему великому человеку, чтобы существовать, требуется обладать большей наступательной силой, чем сила сопротивления, оказываемая миллионами двуногих». *Перевод Е. Баевской.*

Бодлер, Лавкрафт, Мюссе, Нерваль — все значимые для меня писатели, в той или иной мере повлиявшие на мое творчество, умерли, не дожив до сорока семи лет. Отчетливо помню, как мне исполнилось сорок семь. Утром я внес последнюю правку в текст романа «Возможность острова» и отослал его издателю. А дня за три до того перекинул на старенький компьютер все неоконченное с дискет и дисков, чтобы избавиться от накопившегося хлама. Дискеты я выбросил, и тут случилось несчастье: я нечаянно отформатировал жесткий диск, и все мои наброски исчезли... До роковой черты сорока семи — рукой подать. Я уже различал за перевалом долгий мучительный спуск второй половины жизни: последовательный неуклонный распад, старость, смерть. Меня одолевало искушение «свинтить», мысль, что я вовсе не обязан идти дальше, настойчиво, неотступно преследовала меня.

Но я остался и покорно подошел к спуску. Через некоторое время почувствовал, что скольжу, что почва уходит из-под ног, и понял: нужно набраться терпения и двигаться осторожнее. Мне все труднее было противостоять внешнему миру. Внутреннее сопротивление ослабевало то на краткий миг, то надолго, подобно перепадам давления. Стыдно признаться, но мне чаще *хотелось, чтобы меня любили*. Просто любили, все любили. Как знаменитого спортсмена или певца. Чтобы слава окружила меня ореолом, магическим кругом, защитила от дурацких нападок, обвинений, придинок. Однако трезвая самооценка не позволила мне безоглядно довериться детской мечте: у жизни свои законы, а люди не склонны прощать обиды. Но желание любви сильнее здравого смысла, и каюсь, оно и сейчас пересиливает.

Мы с вами оба настойчиво добивались права на всеобщее отвращение, презрение, глумливый смех, и, мяг-

ко говоря, преуспели. Посмотрим правде в глаза: стремление к подобным удовольствиям ненормально, даже противоестественно. В действительности мы, как простые смертные (простите, что дерзнул говорить и от вашего имени), ждали от окружающих восхищения или любви, а лучше — восхищения и любви сразу.

Почему же мы, каждый на свой лад, выбрали столь странный обходной путь? Во время нашей последней встречи меня глубоко растрогало, что вы до сих пор ищите в Гугле все ссылки на свое имя и особое внимание уделяете статистике, позволяющей узнать, сколько раз оно было упомянуто. Я же, наоборот, игнорирую статистику, да и в Гугл давно не заглядывал.

«Врага нужно знать в лицо, — сказали вы. — Что-бы при необходимости дать сдачи». Не знаю, что поддерживает в вас боевой дух. Может, воинственность — ваше врожденное качество, а может, вы приобрели его за счет многолетних упражнений. Не знаю, давно ли вы увлеклись борьбой и вошли во вкус. Знаю одно: подобно Вольтеру, вы убеждены, что «на этом свете успеха достигают только острием шпаги и умирают с оружием в руках»<sup>1</sup>.

Вы *неутомимы в бою*, в этом ваше спасение. Полемический задор не позволяет вам и, бог даст, долго еще не позволит погрузиться в апатию, вялую мизантропию, что почти засосала меня, задушила, лишила сил, превратила в брюзгу, заставила забиться в нору и бубнить себе под нос: «Все вы козлы!» По правде сказать, ни на что другое я сейчас не способен.

Меня удерживает на плаву не жажда битвы. *Мое стремление к всеобщей неприязни* на деле — безотчетное

<sup>1</sup> Цит. по книге А. Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости». *Перевод А. Фета.*

*стремление к всеобщему признанию.* Только пусть меня полюбят «черненьким», не хочу лукавить, скрывать свои темные стороны. Иногда мою откровенность считают провокацией. Очень жаль, я не хочу никого провоцировать. Я называю провокатором того, кто вне зависимости от своих истинных мыслей и образа жизни (впрочем, нарочито провоцируя других, человек перестает мыслить и утрачивает связь с собой и с жизнью) говорит и ведет себя так, чтобы вызвать у собеседника наибольшее отвращение и смущение. Провокатор — холодный, расчетливый прагматик. Многие юмористы нашего времени — блистательные провокаторы.

Я же до нелепости искренен: упрямо, неотступно преследую в себе худший порок, выволакиваю его на свет, — он упирается и дрожит, — затем кладу к ногам читающей публики. Так терьер тащит хозяину кролика или тапку. Не из чувства вины. Оно мне чуждо. Я не добиваюсь ни наказания, ни прощения. Не хочу, чтобы меня полюбили *вопреки худшему* во мне, пусть полюбят *вместе с худшим*, более того, полюбят *за худшее*.

Так что к открытой вражде я не готов и перед ненавистью беззащитен. Пресловутые вылазки в Гугл всегда напоминают мне мучения при экземе: чесаться нельзя, терпишь, терпишь, а потом не выдержишь и раздраешь себя до крови. У моих болячек есть имена: Пьер Ассулин, Дидье Жакоб, Франсуа Бюнель, Пьер Мери, Дени Демонпьер, Эрик Нолло, — врагов много, всех не перечислишь, я забыл, как зовут того, что пишет статьи в «Фигаро», я их путаю, сбился со счета. Врач твердит, чтобы я не чесался, но меня так и подмывает.

И еще я наивно надеюсь выздороветь, хотя очевидно, что от микробов-паразитов не избавиться до самой смерти, тут ничего не поделаешь. Я им необ-

ходим, я смысл их жизни, чего они только не сделают ради меня. К примеру, Ассулин недавно не поленился перерывать материалы конференции в Чили (стране, где я чувствую себя в безопасности), кое-что вырвал из контекста, кое-что подправил и выставил меня мерзавцем и шутком.

Поверьте, у меня никогда не было ни малейшей потребности во врагах, непримиримых и явных. Просто-напросто скучно препираться с ними. Стремления к неприязни и признанию действительно переплетены во мне и нерасторжимы, но я никогда не ощущал *упоения в бою* — вот основное различие между нами. Я не стремлюсь к победе.

А вы стремитесь, хотя и всеобщее восхищение вам бы не помешало. То есть я хочу сказать, что у вас сразу две опоры в жизни, вы твердо стоите на ногах (а это главное, согласно Мао Цзэдуну). И действительно, как иначе уйдешь далеко вперед? С другой стороны, траектория одноногого непредсказуема и причудлива. Одноногий отличается от обычного пешехода так же, как мяч для игры в регби отличается от футбольного мяча. Что, если выносливый инвалид, петляя, обманет снайпера?

Сам вижу, что метафора неудачная, я увлекся. Мне просто хотелось уклониться от ответа на ваш вопрос: «Откуда столько ненависти?» Вернее: «*За что нас ненавидят?*» Допустим, мы *стремились* к всеобщей неприязни, остается выяснить, почему все так охотно исполнили наше желание. В самом деле, дались мне эти жалкие Ассулин и Бюнель, зря только треплю себе нервы. Но вся беда в том, что комарики, мелкие кровопийцы, злющие и настырные, порядком меня искушали (да и вас тоже). Не так уж они безобидны. Мои читатели-лицеисты не раз писали мне по электронной почте, что преподаватели

*предостерегают* их от моих книг. Многие и вас хотели бы уничтожить. Я замечал, что при упоминании вашего имени на лицах появляется хорошо мне знакомая гнусная ухмылка, ухмылка животной радости — наконец-то нашелся тот, над кем можно *безнаказанно* измываться. В детстве я не раз наблюдал (по правде говоря, *всякий раз*, оказавшись среди мальчишек) одну и ту же отвратительную сцену: стая выбирала жертву и принималась издеваться над ней, унижать ее. Я ни минуты не сомневался: не будь рядом представителей власти, в данном случае учителей и ябед, жертве пришлось бы куда хуже: ее бы подвергли пыткам, а потом прикончили. Я никогда не заступался за несчастных — мне не хватало мужества разделить их участь. Но, по крайней мере, не был среди палачей. Мы с вами не герои, не святые подвижники, только одно можно поставить нам в заслугу: мы *не стадные животные*. Ребенком я отворачивался: паскудное действие не вызывало желания поглазеть. И вздыхал с облегчением: *пока что* меня не тронули. Теперь и я среди жертв и вправе по-прежнему закрывать глаза, почти не сомневаясь, что никто от угроз не перейдет к действию, поскольку государство пока еще благоразумно не отказалось от полиции.

А может, лучше разобраться, в чем суть этого мерзостного явления? Я не слишком доверяю теоретическим выкладкам историков религии. Толпа травила одиночек в эпоху земледельческих цивилизаций, травит их в современных городах. Если в будущем города исчезнут и люди станут общаться лишь в виртуальном пространстве, то и тогда мало что изменится. Жестокость толпы, на мой взгляд, не зависит от смены политических систем и мировоззрений. Все религии канут в Лету, все откровения забудутся, жестокость останется.

Только что прочел вашу «Комедию», там есть похожие мысли, видимо, и у вас был подобный опыт. Эта проблема волнует не меня одного. Так что... ваш ход.

И желаю всех благ.

*4 февраля 2008 года*

Кстати, об экземе.

Вы, наверное, помните ужасное описание экземы в дневнике Кокто?

Он вел его, пока снимал «Красавицу и Чудовище». Трюффо рекомендовал читать эту потрясающую книгу всем начинающим режиссерам.

Она небольшая, но чего там только нет: забавные эпизоды во время съемок, сложные взаимоотношения с Бераром, стычки с Алканом из-за освещения, применение тревелинга, трюки, рассуждения о стиле и долготерпении статистов, ожившие статуи, Жан Маре, наконец.

А еще душераздирающие страницы — их физически трудно читать — о зуде, шрамах, багровых рубцах, открытых ранах, сочащихся гноем, фурункулах, флегмонах, волдырях, трещинах — «кракелюрах на портрете», «красной коралловой ветви», «неопалимой купине» обнаженных нервов, сжигавшей его лицо (у меня искушение назвать экзему наваждением, основной темой, красной нитью, ритмом, колоритом книги). Это не повествование, а нескончаемый жалобный стон, крик боли, запечатленный на бумаге. Видишь воочию искаженные невыносимым страданием черты. Иногда главному оператору приходилось перед съемками смазывать режиссеру изъязвленные щеки и нос топленным свиным салом.



Страдалец Кокто...

Несчастный «принц поэтов»<sup>1</sup>. Несмотря на Арно Брекера<sup>2</sup>, несмотря на излишнюю вычурность, аляповатость его писаний, напыщенность, почти фразерство, я все-таки не брошу в него камень...

Очень жаль и Бодлера, а уж французы его затравили или бельгийцы, не суть важно. Все были против него! За ним гнались по пятам! Ненависть at first sight!<sup>3</sup> Поначалу свора насторожилась, но не решалась броситься, ее смущала изысканная холодность денди. Сын Каролины от первого брака со священником, сложившим с себя сан, держался с достоинством. Но к концу жизни, особенно когда он жил в Брюсселе, в гостинице «Гран Мируар», его травил все яростнее. Мало на кого из предшественников Сартра — и он не случайно с симпатией писал о Бодлере — лили столько грязи. Мало кто выстоял бы под таким потоком, особенно на чужбине. Завидую вам, дорогой Мишель: вы сейчас в Брюсселе. Я тоже там жил, когда писал роман о его последних днях (опять-таки имею в виду Бодлера). Мне не повезло, знаменитую гостиницу только-только снесли, а на ее месте выстроили секс-шоп. Все-таки удивительно, что поэт, провозгласивший: «Денди должен непрерывно стремиться к совершенству. Он должен жить и спать перед зеркалом»<sup>4</sup>, поселился в гостинице под названием «Большое зеркало». «Гран Мируар» со всеми ее тайнами разрушили перед самым моим приездом, я опоздал, и это величайшее из моих «литературных» разочарований. Но я все равно вам завидую, ведь, как вы знаете,

<sup>1</sup> Жан Кокто удостоился титула «принца поэтов».

<sup>2</sup> Арно Брекер, официальный скульптор нацистской партии, в молодости входил в круг близких друзей Кокто.

<sup>3</sup> С первого взгляда (*англ.*).

<sup>4</sup> «Фейерверки». *Перевод Е. Баевской.*

там по-прежнему есть улица Дюкаль и на ее неровной мостовой, хранящей память о гулких шагах автора «Фейерверков», и теперь спотыкаются девушки. Сохранился и сквер Пти-Саблон, столь любимый Бодлером. И монастырь августинок — здесь его лечили, когда у него нарушилась речь. Не говоря о церкви Сен-Лу в Намюре — на ее ступенях его впервые коснулось, «овеяв холодом, безумия крыло»...<sup>1</sup>

Я отвлекся.

Вернемся к вашему вопросу.

Вы предполагаете, что «эта проблема» волнует не вас одного, спрашиваете, есть ли у меня подобный опыт.

Отвечу честно: и да, и нет.

Да, разумеется, я часто замечал, как в моем присутствии, или отсутствии, — коль скоро всегда найдется достаточно наблюдательных глаз и чутких ушей — ползет нехороший шепоток: обо мне сплетничают, меня не одобряют.

И в то же время нет: странное дело, в отличие от вас, я никак не могу вжиться в роль «жертвы», примениться к ней. Не ощущаю, не осознаю, что меня по-настоящему «преследуют».

Хотя мало кого из писателей ругали чаще.

Каждую мою книгу встречали отборной бранью, на моем месте многие бы просто бросили писать.

Вы говорите: экзема... Положим, экзема... Если это стигмат отверженности, то по части экземы и у меня есть кое-какие познания.

Мне исцарапала все лицо уродливая жалкая маска, надетая на меня критиками, я не могу признать в ней себя — ни я сам, ни моя роль в обществе не имеют с ней ничего общего.

Простой пример. Вы упомянули мой фильм. Я снял его двенадцать лет назад и благодаря ему

<sup>1</sup> «Бездна». Из книги «Цветы зла». Перевод В. Алексеева.

прочел книгу о съемках «Красавицы и Чудовища». Знаю, что о нем говорили и говорят, поскольку он еще не совсем забыт. «Халтура», «убожество», «худший фильм в истории кинематографа» (так выразился Серж Тубьяна, главный редактор «Кайе дю Си-нема»), — не беспокойтесь, я в курсе. Многие, когда его показывают по телевизору, плюются: режиссер — говно, фильм — отстой. Но как бы выразиться поточней? Я принимаю это к сведению, но не близко к сердцу. Осознаю, но не переживаю. Когда фильм вышел на экраны, его облили грязью, буквально похоронили под слоем нечистот; я слышал ругань со всех сторон и все равно так и не ощутил себя режиссером-самого-злосчастного-оплеванного-фильма-всех-времен-и-народов. Я считаю его вполне удачным, даже хорошим, нужным, я им горжусь и выражаю свое мнение открыто на любой дружеской вечеринке, встрече с журналистами, политической акции, не боясь показаться смешным, вызвать ропот, поставить воспитанных людей в неловкое положение.

Приведу еще один пример, куда более наглядный, и убедительный. Я еврей. А евреев преследовали всегда. Для большинства евреев национальность — верный залог уязвимости, неуверенности в будущем и своем окружении, ведь антисемиты есть повсюду. У евреев врожденное чувство обиды; каждого хоть раз да оскорбили, не самого, так отца или деда. Но я и тут исключение. Да, я сражаюсь с антисемитизмом и никому не спущу ни единой шутки, ни единого намека. Наверное, я агрессивен по натуре. Психически неуравновешен. А может быть, дело в том, что я родился в Алжире, где евреев особенно не притесняли? Как бы то ни было, защищая евреев, я не чувствую, что защищаю и самого себя. Поверьте мне на слово, ни в детстве, ни теперь я не подвергался дискриминации, гонениям. Мой протест, бунт — не следствие личного

опыта. Есть евреи-жертвы, я еврей-боец. Некоторые переживают свое еврейство тяжело — как неприкаянность и злую долю. Я счастливый еврей. Жан-Клод Мильнер назвал бы меня евреем «утверждения» (на языке Альбера Коэна — Солалем<sup>1</sup>, «солнечным», подобным древнему греку, богатым наследником ветхозаветной и талмудической славы, роскоши, просвещенности, просветленности).

Раз уж мы заговорили о детстве, я тоже поделюсь воспоминаниями. И я учился с мальчишками, и я наблюдал, как мерзавцы всех видов и мастей сбиваются в шайку, выбирают козла отпущения и давай его мучить: прятать ранец, разбрасывать тетради и учебники, мазать лицо чернилами. В лицее имени Пастера в Нейи, куда я поступил, окончив начальную школу, жертву всеобщих издевательств звали Малла. Помню только фамилию, имя забыл. Зато отчетливо вижу его болезненное бледное лицо, он был совсем запуган, двигался неуклюже, кротко и умоляюще улыбался, надеясь смягчить обидчиков. На днях в газете я прочитал, что мать президента Саркози родилась в Салониках, в еврейской семье, и ее девичья фамилия... Малла. Тут же в памяти всплыл мой одноклассник. Родственник ли он Саркози? Двоюродный брат? Дядюшка? Не знаю. И понятия не имею, кем он стал, жив или умер. Подобно вам, я брезговал стаей гиен, что гонялась за ним, подстерегала его в метро, всячески унижала. Я не охотился за несчастным, не участвовал в подлых засадах, но мне этого было мало, и я взял его под свою защиту, мы дружили с ним несколько лет подряд. Не подумайте, будто я хвастаюсь. Моя заслуга невелика. Просто меня удивляет странная для еврейского мальчика пятидесятых годов самоуверенность: я общался с бед-

<sup>1</sup> Главный герой тетралогии Альбера Коэна.

нягой открыто, на глазах у всех, мне и в голову не приходило, что, если я протяну ему руку, стая начнет преследовать и меня, что я тоже подвергнусь издевкам мерзавцев. «Комплекса жертвы» у меня отродясь не было, я ничего не боялся.

Позднее я сделал открытие, поразившее меня до глубины души. В подготовительном классе Эколь Нормаль у меня был преподаватель литературы, некто Жан Депрен, вылитый Малла, только лет на тридцать старше, — нескладный, с непропорционально большой головой на щедедушном, будто не успевшем вырасти и износиться теле, дерганный и болезненно бледный. Ко мне он относился как-то странно. Я бы даже сказал враждебно. Когда вызывал к доске, старательно отводил взгляд, не важно, рассуждал ли я о стихах Мориса Сева или о «Саламбо»... И вот однажды за ужином я упомянул его имя, а мой отец воскликнул: «Депрен? Как же, как же, мы с ним знакомы!» Выяснилось, что известный эрудит, специалист по «философии тревожности» в литературе XVIII века, во время войны был в офицерском училище Черчилля таким же козлом отпущения, как злосчастный Малла; юные негодяи глумились над ним, мучили его, подстерегали повсюду. Только мой отец заступился за него, подружился с ним, как много лет спустя точно так же поступил и я с его двойником.

Я рассказал вам эту историю, чтобы поделиться изумлением, благоговением перед таинственной силой, заставляющей нас как по волшебству повторять поступки наших отцов, хоть мы о том и не подозреваем.

А главное, хотел показать, что знаком с толпой, которая разбойничает, линчует, топчет, рвет на куски, с «жесточайшим, исконным врагом» из монолога Франца в «Затворниках Альтоны» Сартра, с «диким, злым,

всеядным животным — человеком, который поклялся погубить человека...». «Притаившись, зверь жил внутри нас, мы ощущали его взгляд внезапно в зрачках наших близких»\*. Я чувствую таких людей с двойной остротой; опыт предков помогает мне распознать дыхание зверя: вот он быстро подкрался, затаился, угрожающе зарычал, издал воинственный клич. Но я ни разу не ощутил себя добычей, не подумал, что все равно рано или поздно попадусь в его когти...

Попробую выразиться яснее.

Да, проблема жестокости волновала и меня.

Я знаю, что это бич всякого социума, неустранимый изъян. Знаю, что ненависть между людьми вспыхивает гораздо чаще любви и симпатии, что она прочнее всякого договора и закона.

Знаю, что, включая одних, непременно исключают других, что обычно двое объединяются против третьего. Иными словами, в человеческом обществе царит «синкретизм», как называли этот феномен древние греки. (Кстати, мне всегда казалось, что общепринятая этимология этого слова — «союз критян» — неверна; скорее уж «союз против критян», коль скоро в античном мире не было более ненавистных, всеми презираемых людей.)

Я исписал немало страниц, рассуждая об истоках взаимной ненависти людей, чужой опыт служил мне подспорьем. Вы обмолвились, что не доверяете историкам религии, а я, наоборот, следуя логике Рене Жирара<sup>2</sup>, доказывал, что «козла отпущения» создал вовсе не религиозный фанатизм, что религии откровения не

<sup>1</sup> *Перевод Л. Бобынцовой.*

<sup>2</sup> По мнению Рене Жирара, автора книг «Насилие и священное» и «Козел отпущения», иудео-христианский мир признает невинность мучимых жертв, а не делает вид, что верит в общий порядок или общее благо, которые эти жертвы якобы обеспечивают.

поощряли, но обуздывали звериные инстинкты толпы. Однако узнать, что такое ненависть, на собственном опыте мне так и не довелось — ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте.

Странно, но это так.

Факты противоречат отправной точке нашего диалога. Мы ведь говорили, что нас, писателей, проклинают, унижают, втоптывают в грязь и т.д. Но я не пострадал от людской злобы, правда не пострадал.

И последнее.

Когда я сказал вам, что благодаря проклятому Гуглу узнаю о новых выпадах противников, об их планах, уязвимых местах, просчетах, чтобы успешнее с ними бороться, вы мне не поверили.

Напрасно.

Уверяю вас, это тоже сущая правда.

Я мгновенно забываю статьи милых критиков, как только продумаю стратегию и тактику контратаки.

Мое самолюбие не страдает.

Мое эго подобно несгораемому шкафу или бункеру, спасающему при любом обстреле.

Отравляющие газы враждебности не проникают внутрь, они сразу же рассеиваются, а зато я узнаю, откуда дует ветер, и рисую на волшебной грифельной доске расположение «сил противника», предугадывая «его коварные планы», — именно в таких выражениях Флобер писал Бодлеру о критиках. В одном я согласен с вами: если в кровь проникла адская смесь стремления к признанию и стремления к неприязни, нет противоядия лучше, чем воля к победе.

И само собой, именно «боевой дух» не только защищает литературное детище, уберезет его и освятит, он также придаст автору сил, чтобы довести замысел до конца и наперекор стихиям (и жадной своре) сохранив нетронутым творческий пыл.

Вы очень кстати напомнили мне слова Вольтера.

Они мне действительно по душе. Такими я и представляю себе своих любимых писателей. Подобно великолепному Вальмону<sup>1</sup>, они живут и умирают со шпагой в руке. «На войне как на войне». Ну да, я тоже «художник-баталист», но воспеваю свои войны подобно Пересу-Реверте<sup>2</sup>, чью книгу вы посоветовали мне прочесть, что я и сделал с величайшим удовольствием.

Довольно, дорогой Мишель. Я умолкаю.

Иначе мы с вами заберемся в такие дебри! Начнем рассуждать о войне — первооснове творчества. Ведь наше поле боя — будем говорить по существу — литература и философия.

Если верить великим, вся жизнь творца — непрерывная борьба.

Взять хотя бы Кафку...

Он, как вы знаете, был поклонником Наполеона и сравнивал муки творчества с состоянием императора во время Бородинской битвы, а роковое отступление из России — с «кампаниями» и «маневрами», составляющими жизнь писателя...

Отбросьте сомнения в искренности моих слов — так мы сэкономим уйму времени.

<sup>1</sup> В и к о н т д е В а л ь м о н , герой романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782), погибает на дуэли.

<sup>2</sup> Вероятно, речь идет о романе Артуро Переса-Реверте «Учитель фехтования» (1988).



8 февраля 2008 года

Уважаемый Бернар-Анри!

Решено: отныне я доверяю каждому вашему слову. Сначала, когда прочитал ваше письмо, испытал шок; потом собрался с силами и решил: буду верить. Для меня это подвиг: обычно в броне, прикрывающей эго вроде вашего, мне чудится какая-то мистика, если не патология.

Простите за неприятное сопоставление, но — буду тоже откровенен — в такой же шок меня недавно повергли слова Николя Саркози, адресованные Ясмине Реза, которая сообщила, что собирается написать о нем книгу\*. Президент довольно оригинально выразил свое согласие: «Вы меня прославите, даже если попытаетесь опорочить». Я трижды перечитал эту строку в интервью Ясины, но от правды не уйдешь: люди с несокрушимым эго вполне реальны. В минуты безоблачного счастья я готов согласиться с Ницше: «Что не убивает меня, то делает меня сильнее»<sup>2</sup> (но обычно я настроен менее радужно и выражаюсь более приземленно: «Что не убивает меня, то глубоко меня ранит и ослабляет»). Однако и Ницше далеко до Николя Саркози.

<sup>1</sup> Этот замысел известной французской писательницы был осуществлен. Книга называется «Закат, вечер или ночь».

<sup>2</sup> «Сумерки богов». Перевод Н. Полиловой.

И вам далеко — вы ведь не политик, не полководец; вы — писатель. А писательская братия никогда не могла похвастаться неуязвимостью, самолюбие у нас большое. Как зачастую писатель относится к нападкам критиков? Обыкновенно, по-человечески: обижается.

(Замечу, раз уж к слову пришлось: если ты писатель, то никем другим тебе не стать во веки веков. Сколько бы фильмов ни сняли Кокто, Гитри, Роб-Грийе, Паньоль, для нас они прежде всего и в первую очередь писатели. Некоторые, как ни странно, до сих пор помнят, что Мальро был министром культуры. Однако я несколько не сомневаюсь: пройдет еще несколько десятков лет, и все об этом напрочь забудут — мы ведь уже с недоверием воспринимаем тот *вполне реальный факт*, что Ламартин выдвигал свою кандидатуру на пост президента Республики.)

Вероятно, вас защищает волшебный эликсир, так поделитесь со мной секретом его приготовления! Сейчас зелье неуязвимости мне бы особенно пригодилось: я тоже снимаю фильм, и, когда он выйдет на экраны, мои враги, извечные и новоприобретенные, насмерть меня изругают и заплюют. Вот я и поделился с вами творческими планами на 2008 год.

Но вся беда в том, что вы, скорее всего, не друид, а Обеликс<sup>1</sup>, в детстве вы «свалились в котел» и стали непобедимым. Так что я не смогу воспользоваться вашим опытом. Все мы рано или поздно становимся похожими на отцов: вот истина, которая вновь и вновь обрушивается на меня с непринужденностью падающего кирпича. Ваш отец подает вам пример си-

<sup>1</sup> Герой популярных во всем мире комиксов, мультфильмов и фильмов обладал невероятной силой, потому что в детстве упал в котел с волшебным зельем.

лы и благородства — я рад за вас. В моем случае все гораздо сложнее.

Тем не менее весьма впечатляющая четвертая глава «Комедии» позволяет предположить, что секрет вашего успеха еще и в мастерском создании *имиджа*. Я впервые оценил значимость общественного мнения в 1998 году. Тогда вездесущий Жером Гарсен вкупе с изворотливым приспешником Фабрисом Плискином задумали сравить меня на страницах своего журнала с Филиппом Соллерсом. Каково же было их разочарование, когда они узнали, что накануне мы с Соллерсом вместе пообедали! «Неужели вы с ним приятели?» У них буквально челюсть отвисла. До сих пор вижу их растерянные лица. А что, нам нельзя общаться по-человечески, придурки? Хитрецы понадеялись в непринужденной обстановке навести Соллерса на разговор о том, как ядовито я над ним посмеялся в «Элементарных частицах». Они не ждали от Филиппа благодушия, а он на меня не сердился. Не сердился, раз я «был на коне». Скажем честно, есть у Соллерса свои недостатки: он флюгер. Стоит мне ослабеть, Филипп на меня набрасывается, а как только я наберусь сил, охотно все прощает. К колебаниям общественного климата он невероятно чувствителен, куда там лягушке-барометру.

Но я сам пошел ему навстречу, заявив (вполне искренне, между прочим), что изобразил не *человека Филиппа Соллерса* — как человека я его не знаю, — а *Филиппа Соллерса, деятеля культуры* — *этот* у всех на виду и на слуху. (Наш дорогой Филипп и вправду переусердствовал, стремясь быть везде и всюду; теперь он, кажется, присмирел, или это я давно не включал телевизор?) Вот кто мгновенно сообразил, что пощечину получил не он, а его общественное лицо. Вот кто надежно защитил свое

*внутреннее существо* от внешнего мира раскрученным имиджем.

Но меня не раз охватывал мистический ужас: что, если ширма существует, а человека за ширмой давно уже нет? Я не шучу, поверьте. Чоран насмешливо замечает, что либертины - аристократы-вольнодумцы XVIII века — не только жили, но даже уходили в мир иной на публике. Толпа зрителей обступала постель умирающего, вольнодумец агонизировал на подмостках, опасаясь, что его последнюю остроу на улышат или что его посетит малодушие и он со слезами на глазах станет звать священника со Святыми Дарами. До какой же степени роль подминает человека, если он и в смертный час боится *провала*, боится разочаровать поклонников?

Филипп Соллерс не настолько сросся со своей маской, мы ведь живем не в XVIII веке и буржуа из Бордо далеко до аристократа эпохи просвещенного абсолютизма. Однако чего он только не вытворяет под софитами, самому Жан-Пьеру Коффу даст фору! Впрочем, Соллерс поступает умно, с телевидением иначе не поладишь. Сначала следует убедить их, что ты именитый гость и ни одна передача без тебя не обойдется, затем отточить свой лучший номер, подходящий для любой аудитории, и повторять его без конца, пока публика кричит «Бис!». *Внутреннее существо* лучше спрятать подальше, пусть станет совсем незаметным (несмотря, повторюсь, на опасность утратить его безвозвратно).

Но это опять-таки не про вас. Всякий раз, как вы появляетесь на экране, вам действительно *есть что сказать*. Либо вы сообщаете о своей новой книге, либо сражаетесь с несправедливостью и ложью. Ваше *внутреннее существо* не всегда вам подчиняется, уж простите, милейший Бернар-Анри. Иногда оно

стропливо вырывается на свет божий. Ложный стыд мешает вам признаться, что, помимо прочего, вы человек с *твердыми убеждениями*, способный на *праведный гнев*.

Заметьте, что и тут вы мне не в помощь. Меня всю жизнь по-настоящему занимала одна лишь литература. Какой уж тут праведный гнев! Впрочем, я встречал умных, добросердечных, разносторонне образованных людей (пишущих отличные критические статьи, умеющих грамотно взять интервью), что так и не достигли *прочного положения* в обществе, не научились влиять и воздействовать на других. Колонки культуры в «Нувель обсерватёр» отданы на откуп Жерому Гарсену, а не Мишке Ассаясу<sup>1</sup>. Ну и что? Подумаешь, «Нувель обсерватёр»! Все это, конечно, пустяки по сравнению с многострадальной Боснией!

По правде сказать, даже если бы эти колонки поручили Ассаясу, он бы, держу пари, месяца через два уволился, хотя вполне справляется с еженедельными обзорами для «Франс-Мюзик». Дело не в лени. (Его «Словарь рока» — основательный и серьезный труд.) Главные недостатки Ассаяса — беспечность и жажда независимости, вот почему он всегда за бортом.

Существуют, конечно, исключения: к примеру, Сильвен Бурмо при необходимости может долгое время настойчиво трудиться изо дня в день. Я бесконечно его уважаю. Горячо надеюсь также, что Фредерик Бегбедер прислушается к моим настойчивым увещаниям и постарается не уходить со следующего места работы хотя бы год. Как бы то ни было, большинство людей, которых я высоко ценю, страдают некоторой

<sup>1</sup> Писатель, журналист, возглавивший работу над трехтомным «Словарем рока» (2002). Ведет по радио передачи по истории рока.

долей безответственности, и я их прекрасно понимаю. В конце концов, я сам многое унаследовал от своего родителя, который основал три предприятия (может, и больше, мне о нем далеко не все известно), но, стоило делу пойти на лад, мгновенно утрачивал к нему интерес. Своими руками он выстроил пять домов (сам готовил раствор, стругал доски), но жить в них не жил.

Ну вот, я снова разоткровенничался. Никак не удастся держать дистанцию. Кто знает, может быть, мне суждено увлечь вас *исповедальным жанром*, — что было бы совсем неплохо. Шопенгауэр с удивлением замечает, что очень трудно лгать, когда пишешь. (Эту мысль с тех пор никто не развил, и мне остается лишь *с изумлением* согласиться: эпистолярный жанр располагает к искренности, правдивости — интересно, в чем причина?)

Не то чтобы я отдавал предпочтение именно исповедям, мне по нраву все литературные формы без изъятия. Я с наслаждением погружался в признания Монтеня и Руссо. Восторженно ахал, читая хлесткий отзыв Паскаля о Монтене: «Его нелепейший замысел нарисовать собственный портрет!»<sup>1</sup> Вместе с тем я до безумия влюблен в полную противоположность исповедальному жанру — в *фэнтези*; сознаюсь, мои дифирамбы Лавкрафту<sup>2</sup> избыточны, но ничего не могу с собой поделать.

Но ближе всего мне классический роман, *срединный путь*, избранный мной самим. Романист, создавая персонажей, использует свой или чужой опыт, выдумывает, сочиняет — не важно. Ему все годится.

<sup>1</sup> «Мысли». I, 76. *Перевод Э. Литецкой.*

<sup>2</sup> *Мишель Уэльбек.* Г. Ф. Лавкрафт: Против человечества, против прогресса. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

Так добавим толику исповедального жанра — он нам не повредит. Здесь я полный профан, совсем не умею открывать душу, не пробовал, вернее, пробовал, но неудачно. И вы, наверное, не умеете. Странно, но человек редко осознает, в чем его призвание (подумать только: Сартр ценил свои теоретические философские произведения гораздо больше «Тошноты» и «Слов»).

Итак, вернемся к исповедальному жанру. Вы согласны?

*16 февраля 2008 года*

Простите, уважаемый Мишель, что не отвечал вам целую неделю.

Во-первых, был день моего «Блокнота»<sup>1</sup>.

Вместе с Филиппом Валем, Лораном Жоффреном и Каролиной Фурэ мы выступили в защиту замечательной одаренной молодой женщины, Аяан Хирси Али, в прошлом депутата парламента Нидерландов. Ее приговорили к смерти исламские фундаменталисты за то, что она не побоялась открыто нападать на ислам. Семь или восемь лет назад за столь же резкие высказывания вы тоже; подверглись преследованиям. (Сам я не сторонник подобной категоричности; абсолютно не согласен, что ислам по самой своей сути враждебен демократии, что во всех мусульманских государствах попирают права человека; но я сражаюсь и буду сражаться за ваше и ее право открыто выражать свои взгляды.)

Во-вторых, мне пришлось по просьбе друга возглавить жюри французского «Золотого глобуса». На это ушел еще один день.

А потом меня одолело множество дел, очень важных или только казавшихся таковыми, поглотила суета, «злоба дня», и я все откладывал, все думал: «Отвечу завтра».

<sup>1</sup> Еженедельная рубрика в журнале «Пуэн», которую ведет Б.-А. Леви.



Скажу честно, больше всего меня смутило слово «исповедальный» — на нем вы особенно настаиваете, а меня оно всегда, даже в юности, повергало в ступор.

Дело в том, дорогой Мишель, что в отличие от большинства писателей моего поколения я неизменно старался, чтобы ни единый персонаж ни в коей мере не походил на меня самого (вы возразите, что я сто лет не пишу романов, — отвечу: мой взгляд на творчество не переменялся).

Вот вы упомянули «Комедию» (роман вышел вскоре после фильма, принятого в штюки; кстати, добро пожаловать в мир кино, удачи вам!). Поймите, эта книга от первой до последней страницы — откровеннейшая Исповедь без малейшего намека на откровенность, я продумал все до мелочей — полная иллюзия души нараспашку, искренности, открытости, а об истинных чувствах — ни слова. Я ненавижу душевный стриптиз, боюсь его. Что поделаешь, фобия. Так что «Комедия» — псевдоисповедь, не выявление, а вытеснение, как любят выражаться психоаналитики, рассуждая о спецификах нашей памяти. Исповедь-хитрость, исповедь-уловка, позволяющая скрыть кровоточащие раны — их, я уверен, нельзя обнаруживать ни в коем случае: именно благодаря этой книге я убедился, что, отказавшись от двойственности, причиняешь себе ущерб.

Раз уж вы заговорили о Соллерсе... Замечу кстати, что, по-моему, вы к нему несправедливы (и к Гарсену тоже: у него редкий по нынешним временам дар писать непредвзято об ушедших друзьях и знаменитых актрисах). Так вот, признаюсь вам, что на протяжении тридцати лет безоблачной дружбы единственное серьезное разногласие возникает у нас с Соллерсом

каждый раз, когда он заявляет, что писатель обязан «рассказывать правду о своей жизни», таков писательский долг (не уверен, следует ли он сам этому правилу). Это требование приводит меня в ужас, вызывает недоумение. И всегда мне хочется сказать Соллерсу, что я убежден как раз в обратном: у писателя прежде всего есть право на свободу, пусть говорит все, что хочет, но только не «правду о своей жизни», его тайны неприкосновенны!

Я совершенно согласен с вами: чтобы выступить на телевидении, необходимо выбрать некую роль, отточить ее, войти в образ и тем самым защитить свое «внутреннее существо», скрыть его от публики. Вы правы: Соллерс достиг тут немалого мастерства. Не спорю, существует опасность заиграться, утратить связь с истинным «я», уподобиться «человеку, потерявшему свою тень», забыть о своей сути — тогда корабль затонет с экипажем и грузом. Однако боюсь, вы ободряетесь на мой счет, полагая, будто в пылу политического диспута, острой полемики, жаркого спора я теряю самообладание и «мое внутреннее существо» выходит наружу. Будто «праведный гнев» — залог моей цельности. К сожалению, здесь даже праведный гнев мне не в помощь. Я возмущен до глубины души, но хладнокровно вырабатываю определенную стратегию; я в ярости, я готовлюсь к бою и потому еще тщательнее взвешиваю каждое слово. Если уж на то пошло, это мой профессиональный долг. В сложных ситуациях — скажем, когда по возвращении из Дарфура или из Сараево, куда я не поленился поехать и откуда привез волнующие свидетельства, я обрушиваюсь на сильных мира сего, равнодушных к локальным войнам, — так вот, даже не в сложных, а в экстремальных ситуациях я патологически боюсь, *особенно* боюсь «исповедальности», непосредственности. Все продумано и выверено: слова, движения,

реакции, в первую очередь мимика (ох уж эти «непроизвольные» проявления гнева или волнения, вроде бы мелочь, но так воздействует...). «Естественность» дорого мне обходится: после каждой передачи я на грани нервного истощения. Вот удивятся те, кто поверил моим громким заявлениям, будто секрет успеха на телевидении — следовать заповеди Батая и думать не больше, чем девушка, снимающая платье.

В прошлом письме я уверял вас, будто равнодушен ко всяким гадостям, что пишут обо мне; конечно же, удары врагов ослабляют меня и ранят.

Говорили, что мой отец разбогател нечестным путем, — я не смог его защитить.

Писали, будто моя дружба с Масудом — выдумка, а на самом деле мы едва знакомы и мои рассказы о его доброте и уме — наглая ложь, — я молчал.

Я сидел сложа руки, когда в магазинах и в интернете появлялись книги, в которых меня изображали законченным негодяем, бездействовал, хотя отлично знал их содержание, пусть иногда утверждал обратное.

И дело не в пренебрежении, не в презрении к обидчикам; не в отсутствии комплексов. Мое закаленное, огнеупорное, неуязвимое эго тут ни при чем. Причина не в «стремлении к всеобщей неприязни», о котором мы рассуждали в первых письмах: и для вас и для меня оно, вероятно, не более чем поза. Нет. Я подозреваю, что не разоблачал и тем более не привлекал к суду авторов всех этих милых измышлений по иным соображениям. Внутренний голос нашептывал, что подобные измышления мне на руку, что лучше пустить публику по ложному следу, что высокое искусство Жида, искусство фальшивомонетчика, знатока окольных путей и мастера прятков куда достойнее бесстыдного душевного стриптиза под лозунгами

«Будь собой!» и «Возлюби себя!», ставшими заповедями нашего времени.

Вот я и сформулировал главный вопрос: «Отчего мне не хочется говорить о себе правду?»

Откуда страх перед откровенностью, упорный отказ от исповеди, твердое решение не выдавать своих тайн? Что кроется за желанием ни в коем случае не раскрывать карты, ловко отводить глаза публике, стать мастером ложных признаний, фокусником-иллюзионистом? Повторяю, я готов молча терпеть неприятные сплетни, лишь бы не обнаруживать свою суть.

Я не солгу, если скажу вам, что таков мой творческий метод. Когда я писал «Последние дни Шарля Бодлера», то нарочно следовал разумной «манере Флобера» в противовес неразумной «манере Стендаля». Мне нравится отстраненный, холодный, застывший чопорный стиль; сторонники «раскованности» и свободы, хотя и обладают обаянием, на мой взгляд, не истинные писатели. Мои вкусы с тех пор не изменились, я по-прежнему ценю эксперименты, попытки изъять собственное «я» из повествования или спрятать его по примеру Пессоа и Гари, — надеюсь, к этой теме мы вернемся еще не раз, — у которых это «я» затаилось, будто Минотавр, в центре лабиринта; уподобилось невидимому дирижеру целого оркестра своих двойников.

Не солгу, если скажу, что таков главный импульс, заставивший меня ввязаться в опасное предприятие: писать. Точнее всего это побуждение выразил Мишель Фуко перед смертью: мы пишем не для того, чтобы узнать, кто мы, а для того, чтобы стать иными. Начиная писать, я делаю ставку не на встречу с собой и вечным ребенком в себе, не на обретение своей истинной сути со всеми ее теневыми сторонами и прочую тому подобную чушь, — я хочу измениться,

оставить позади прежнего себя, ветхого, устаревшего, неинтересного, хочу расти вместе с книгой. Так для чего мы пишем? Чтобы замуровать себя или чтобы освободиться? Чтобы исчезнуть или возникнуть? Завладеть землей или размыть ее и двинуться дальше, нащупывая ветвящееся, трудно уловимое сродство? Ясно, что выбрал я, а потому мне абсолютно наплевать, какие дурацкие «истины» о моих финансах, отношениях с властью, со средствами массовой информации, с полевым командиром Масудом становятся достоянием общественности.

Не солгу, если скажу, что исповедь во всеуслышание, потребность публично выворачивать душу наизнанку вызывают у меня органически непреодолимую брезгливость, что идет мне и во благо, и во вред. Такова моя дань метафизике, нет, феноменологии: вспомним Сартра, антигуманистов Альтюссера и Лакана, вспомним опять-таки Фуко. Для них субъект — всего лишь полая оболочка, пустая форма, сама по себе лишенная содержания; субъект обретает смысл, постоянно изменчивый, не субстанциальный, а преходящий, лишь постольку, поскольку вступает в контакт с внешним миром.

Однако самая суть, сердцевина проблемы, конечно, не в метафизике, не в теории литературы, не в творческом методе (и не мне говорить об этом ницшеанцу Мишелю Уэльбеку). Основной вопрос можно сформулировать так: какие личные переживания, тайные страхи, подсознательные запреты, незалеченные раны, *потайные* семейные драмы скрываются за теоретическими выкладками, обобщающими рассуждениями, слишком уж простыми и гладкими, едва ли искренними? К примеру, что означает предпочтение «модели Флобера» в ущерб «модели Стендаля»? Впрочем, обе эти «модели», скорее всего, — моя нелепая выдумка.

Вы говорили о вашем отце (пользуясь случаем, прошу, расскажите как-нибудь подробнее об этом своенравном необычном человеке — таким я представил его себе с ваших слов).

Я тоже расскажу вам о своем отце (поскольку для меня, пусть и без «эффекта кирпича», он тоже — ключевая фигура).

В нашей семье стыдливость считают основным достоинством, совершенно необходимым качеством. Всякая распущенность, эмоциональная несдержанность, фразерство, велеречивость вызывают отторжение, презрение.

Мой отец был задумчивым и властным, скромным и решительным, трезвым и недоверчивым, одиноким и надменным, загадочным. Он любил играть в шахматы. Скрытность, теперь я в этом уверен, была присуща его натуре, позволяла свободно мыслить и жить по-своему.

У него была еще одна особенность, необычная для человека, не считавшегося так называемым интеллектуалом. Отец до странности бережно, почти суеверно, относился к слову, даже разговорному, обиходному. Он сам тщательно подбирал слова, взвешивал каждое, будто обдумывал шахматный ход, и требовал того же от нас. Иногда неосторожное слово (самое обычное, общепринятое) внезапно приводило отца в холодную, пугающую ярость (какое именно и почему, предугадать было невозможно); казалось, в его душе заделали незажившую рану и он взвивался от обжигающей боли.

Стуток тайн, отголосок далекой бури.

След, оставленный прошлыми потрясениями, не поддающийся истолкованию.

Отец прерывал наш бездумный треп: «Не болтайте попусту! Сами не заметите, как потеряете себя».

И представьте, такой заботливый отец умер в день рождения сына, в мой день рождения. Теперь я ду-

маю, что тем самым он *указал мне путь*. Завещал свою любовь к тайнам, повелел жить скрытно, что я добросовестно исполняю, иногда вопреки рассудку.

От него же я унаследовал мистический ужас перед магической силой слова, ну и любовь к нему, конечно.

Иногда, думая о нем, я в мечтах пишу на мертвом языке, будто такое послание может быть обращено напрямую к мертвым и спрятано от живых. Впрочем, я слишком разоткровенничался. Отец бы меня не одобрил.

20 февраля 2008 года

Уважаемый Бернар-Анри!

Последнее время я постоянно думаю о судьбе Ай-аан Хирси Али. Задаю себе один и тот же вопрос: что бы делал я на ее месте?

Несколько лет назад меня по-настоящему восхитило письмо (открытое письмо) Филиппа Соллерса к бангладешской писательнице Таслиме Насрин — видите, я охотно признаю за стариной Филиппом определенные достоинства... Главную мысль письма можно сформулировать кратко: «Бегите. Выходите из игры. Вас искушают героизмом — не поддавайтесь. Истинной свободе не нужны мученики».

Совет хорош, остается придумать: *куда бежать?* Простите за прямоту, но я не верю, что французская полиция способна обеспечить Айаан безопасность. Не так-то легко спасти человека, которого весь мир знает в лицо, если за ним охотятся убийцы, готовые умереть сами и отправить на тот свет десятки жертв, лишь бы достигнуть цели. У израильской полиции огромный опыт, но и она не всегда успевает вовремя. Англичане в последние годы тоже многому научились. Но вот справятся ли французы? Честно говоря, сомневаюсь.

В большинстве своем иммигранты-мусульмане, проживающие в Западной Европе, — люди безобид-



ные. Беда в том, что в нашей стране, давшей прибежище столь многочисленной мусульманской общине, всегда найдутся негодяи, готовые взяться за дело (опасное и довольно хлопотное, если жертва хоть немного остерегается: нужно узнать все ее привычки, раздобыть оружие). Сознаю, что мои рассуждения не слишком политкорректны, но мне чуждо прекраснодушие. Я честно высказываю свое мнение, поскольку Айаан необходимо срочно принять дельное и конкретное решение.

На ее месте я поступил бы так: поселился бы в Праге или Варшаве, где мусульман почти нет. Само собой, прекратил бы публичные выступления и продолжал борьбу через интернет, заручившись помощью опытного и надежного программиста (скрыть свой реальный IP-адрес вполне возможно). И спокойно дожидался бы, пока европейские страны не сообразоволят защитить меня подобающим образом, мобилизовав силы полиции.

Впрочем, прошу прощения за слишком примитивный приземленный подход. Неловко признаваться, но в некоторых случаях я безнадежный прагматик.

Кстати, понятия не имел, что про вас написано столько гадостей (хотя меня это несколько не удивляет), поскольку не читал ни одной вашей биографии. Я не читал и своей, написанной вопреки моему желанию. По правде сказать, я вообще ни одной биографии не осилил. Все, что мне попадалось, напоминало дешевые шпионские (или запутанные детективные) романы. С самого начала ясно, на чьей стороне автор, все ходы банальны и примитивны, через два десятка страниц ясно, кто убийца, однако расследование продолжается. Иными словами, мне не подалось ни одной биографии без упрощения и *пошлости*.

А вот образцы исповедального жанра я бы сравнил с лучшими шпионскими романами (такие существуют, хотя их мало) или с классическими детективами (их несравненно больше; пользуясь случаем, воздам должное произведениям Агаты Кристи и Артура Конан Дойла: на мой взгляд, это первосортные произведения). Здесь, наоборот, тайна сгущается по мере того, как обнаруживаются новые факты; лишние сведения лишь усугубляют недоумение. Оно растет, ширится, достигает кульминации, оно сродни поэтическому вдохновению. Мы прикасаемся к вечным тайнам, выходим далеко за пределы повествования.

Позволю себе ненадолго вернуться к собственной биографии. Когда ее опубликовали — в то время я еще не прекратил пресловутых вылазок в Гугл, — мне довелось просмотреть «лучшие куски» (если так можно выразиться), вывешенные на сайте «Экспресса». У меня сложилось впечатление, что книга посредственная, коль скоро ее главными героями стали мои отец и мать. Допустим, автор — человек добросовестный и проникательный (хотя кратковременная переписка по интернету с этим журналистом по фамилии Демонпшон заставила меня усомниться в его дарованиях). Но даже будь он семи пядей во лбу (а я сильно сомневаюсь, что это так), разве удалось бы ему добиться *правды*, побеседовав два-три раза с моими родителями (оба они крайне непросты и отличаются изощренной, почти патологической изворотливостью)?

Разве не ясно, что и тот и другая обрадовались возможности выйти на большую арену с лучшим номером программы: почему развалился их брак — новая отшлифованная версия. И обелить себя для них вовсе не главное. Хотя отец любит прикидываться *бедной овечкой*, честным простецким парнем, жертвой опасной соблазнительницы, избалованной и взбал-

мошной. Зато мать, наоборот, любит подлить масла в огонь, сгустить краски, подчеркнуть свое юношеское бунтарство, выдать себя чуть ли не за наркоманку — ей кажется, что так интересней. В детстве я сто раз слышал историю их знакомства, совместной жизни и расставания — от самих участников событий и от более или менее надежных свидетелей. Всякий раз они что-то прибавляли, меняли, оттачивали — их рассказы лучше вписывались в контекст *того времени*, приобретали *местный колорит*. С уверенностью могу сказать лишь одно: раз люди спустя двадцать лет так увлеченно обсуждают друг друга и не находят лучшей темы для разговора, значит, их взаимная страсть неподдельна, значит, эта встреча была самой важной в их жизни.

О моих родителях можно было бы написать неплохой роман, попутно изобразив «тридцать славных лет» — удивительную страницу нашего недавнего прошлого. Однако в «Элементарных частицах» говорится не о них. Если честно, там есть кое-что о моей матери, но малейшего сходства героев с моим: отцом я старательно избегал. Отец Мишеля написан неубедительно. Отец Брюно — моя удача, но он совсем не похож на моего отца. Что лишний раз подтверждает мысль, которая представляется мне все более очевидной, — правдивость, в данном случае автобиографическая достоверность, при создании литературного персонажа не имеет равным счетом никакого значения. Следовательно, пиши что угодно, хоть правду, хоть ложь, придержишься любой точки зрения, той или противоположной, — важно, что в конце концов получится.

Остается понять одно: органичен ли для Бернара-Анри Леви исповедальный жанр, удастся ли ему создать в этом жанре нечто достойное? На мой взгляд, стоит попробовать: теоретически на такой вопрос не

ответишь. Я, например, в своих силах не слишком уверен. В 2005 году, устав от «Возможности острова», я принялся сбрасывать в интернет отдельные воспоминания. И признаться, быстро увял. Хотя я и опубликовал несколько автобиографических очерков в журнале, но собирать разрозненные воспоминания в книгу не хочу. Боюсь, мне не по плечу пространные исповеди — с Руссо и Толстым не потягаешься. Выходит, исповедальный жанр — *не мой*. Однако с эстетической точки зрения (прошу прощения за сочувствие «модели Стендаля») отрывки личных воспоминаний, вкрапленные в художественный текст, довольно интересны; впрочем, это всего лишь эксперимент, и возможно, я ошибаюсь. Остается ответить на ваш основной вопрос: откуда? (Откуда ваш страх перед исповедью, откуда мое желание исповедоваться?)

Итак, моя *естественная склонность* к исповедальному жанру, что время от времени дает о себе знать, сформировалась, как мне кажется, под влиянием двух причин разного свойства. Во-первых, как я уже говорил, мне с рождения присуща несокрушимая уверенность в том, что исповедь ничего не меняет в нашем внутреннем мире и, вопреки мнению психоаналитиков, не лечит и не усугубляет фрустраций; я изначально глубоко убежден в бесполезности исповеди, так же как убежден, что Бога не существует. Во-вторых, меня по временам одолевает *манья величия*, и мне кажется, что самая чистосердечная исповедь не исчерпает моих внутренних богатств, океан моих возможностей беспределен, и лишь наивный, неосведомленный человек может полагать, будто хорошо меня знает.

В такие минуты я солидарен с Ницше: в «Ессе Ното» он не сомневается, что малейшая особенность его естества знаменательна и важна; многозначительны даже его гастрономические пристрастия, скажем,

к «густому, очищенному от масла какао»<sup>1</sup> (стыдно признаться, но эту книгу читаешь с увлечением, и, возможно, она переживет «Так говорил Заратустра»), Вместе с тем я отлично понимаю, какое раздражение может вызвать «модель Стендаля», аристократическое высокомерие, легкомыслие (к Ницше это не относится: легкомыслие ему не свойственно; он боготворил остроумие, но сам оставался серьезным).

Теперь приведу пример из нашей мультимедийной современности. Иногда мне хочется ответить некоторым журналистам так же, как однажды ответил на нескромный вопрос назойливому интервьюеру Курт Кобейн: «Ну да, я наркоман, пидор, трахаю все, что шевелится. Доволен?»

У меня сложилась устойчивая репутация *ненавистника журналистов*, но на самом деле все не так просто. Я действительно встречал самых разных представителей этой профессии. Хороших и дурных. И к Жерому Гарсену я справедлив, поверьте. Он насквозь фальшив, его писания жеманны и безвкусны. Затаенная «взволнованность»: «во время прогулки по ландам нас исхлестал жестокий ветер»... Реклама БМВ, да и только! Зато Харриет Вольф, очень необычная представительница немецкой прессы, произвела на меня самое отрадное впечатление, я далее упомянул ее на первой странице «Возможности острова» (да и журналистка ли она, точно не знаю, кажется, она называла какую-то газету, но удостоверения я не видал). Жаль, что ничего не изменилось с годами в банальной истине: с одними людьми стоит иметь дело, с другими - нет.

Жаль, что с годами презрение к людям все возрастает.

С возрастом удержаться от презрения все труднее, оно свидетельство слабости, а не превосходства.

<sup>1</sup> Перевод Ю. Антоновского.

Если презираешь врага, значит, не надеешься его одолеть. К примеру, у тебя завелся солитер. Имеет ли смысл презирать его? (Наверное, мне вспомнился Пьер Ассулин, раз я заговорил о паразитах.) Давно знаю, что презрение губительно, и тем не менее все чаще поддаюсь ему.

В конце концов оно разъест меня окончательно. Отчетливо помню, с каким выражением лица мой отец (вы просили рассказать о нем подробнее, я охотно откликаюсь на вашу просьбу) подъезжал к стоянке, когда мы с ним путешествовали на машине с прицепом во время каникул. Я за ним внимательно наблюдал. Сколько на нем отражалось чувств — и печальная растерянность при виде всеобщего веселья, и зависть к беспечным людям, и глубокое необъяснимое презрение к ним. Всякий раз, затормозив, он некоторое время сидел в машине. Не спешил присоединиться к беззаботным семействам, к шумной веселой молодежи, что выстроились в длинную очередь за неизбежными «сыром-ветчиной». Он всегда выдерживал паузу, прежде чем смешаться с толпой *себе подобных*, — и пауза казалась мне бесконечной! Мало кто из взрослых замечает, как напряженно ребенок ловит малейшую реакцию родителей, стараясь уяснить правила взаимодействия с внешним миром. Пока не обрушилась катастрофа полового созревания (до зрелости еще далеко!), детский ум удивительно восприимчив, наблюдательность обострена; дети способны обобщать и делать выводы. Мало кто из взрослых догадывается, что ребенок по своей природе — *философ*, причем философия дается ему легко, без усилий. Вся жизнь я только и делаю, что пытаюсь средствами искусства передать впечатление от той паузы, *попытки отстраниться*, подмеченной в детстве у отца, — так, по крайней мере, мне кажется.

Уже неплохо, замечу мимоходом. Не будь меня, кто бы еще сберег эти едва заметные, почти неуловимые, но такие многозначительные движения его души? Его нелепый, почти оскорбительный, но благородный «красивый жест» — вопреки рассудку и опыту он любезно предлагал окружающим осознать собственную ничтожность и пошлость, абсурдно надеясь на такую возможность, давая им последний шанс. Позднее я узнал, что в молодости мой отец совершал чудеса героизма: *с риском для жизни* спасал людей в горах, работая проводником (он приводил в порядок «ненавистные бумажки», и я увидел среди них наурадные листы, но не решился сказать ему, что заметил). Странная участь — спасать тех, кого презираешь. Не менее странно, что отец, скептически относившийся к буржуа, долгие годы поневоле имел с ними дело, выбрав профессию инструктора по горным лыжам. Я новел себя более последовательно и сделал выбор с сокрушающей прямолинейностью: всегда любил книги, стал их писать. Даже неловко, что так гладко.

*23 февраля 2008 года*

Напрасно вы обмолвились о «солитере», уважаемый Мишель.

«Солитером» Селин назвал Сартра в памфлете «Буря в стакане»<sup>1</sup>.

Так что вы разом убили двух зайцев (не тех зайцев, прошу заметить). Во-первых, оказали слишком много чести тому паразиту, которого по аналогии уподобили Сартру: когда нашу переписку опубликуют, этот тип непременно задерет нос. Во-вторых, унизили себя, нарушив святое правило риторической и полемической гигиены (именно Сартр сформулировал его в предисловии к книге Франца Фанона «Проклятьем заклейменные»: никогда не сравнивать противника с насекомыми, зверями и прочими тварями).

Зато вы чудесно написали о вашем отце.

Отцы у нас были совсем не похожие.

И относились мы к ним по-разному. Я обожал отца, глубоко уважал его, всегда восхищался, даже когда он стал стариком.

<sup>1</sup> Л.-Ф. Селина, обвиненного в сотрудничестве с оккупационными властями и после высадки союзников бежавшего из Франции, уязвило предположение, что он поддерживал идеи национал-социалистов не безвозмездно, выдвинутое Сартром в статье «Портрет антисемита» в 1945 г., то есть в то время, когда сам Селин сидел в тюрьме в Дании, «рискуя виселицей». В ответ на эту статью Селин в 1948 г. и разразился полным грязных оскорблений памфлетом «Буря в стакане».



Но мне понравилось ваше описание, вы нашли верный тон.

Особенно живой отклик вызывают слова «презрение» и «попытка отстраниться» — они послужат отправной точкой моим дальнейшим рассуждениям, хотя, возможно, мы с вами вкладываем в них неодинаковый смысл...

Для начала внесу некоторую ясность: мой отец родился в бедной семье в Маскаре, захолустном городишке на западе Алжира. На крутых каменистых улочках летом жители задыхались от жары, зимой загибались от холода. Оживляли городок солдаты Иностранного легиона.

Его отец, стало быть, мой дед, был фотографом, нищим провинциальным фотографом. Снимал он одних «туземцев», потому что «белые», убежденные антисемиты, приглашали на свои свадьбы и крестины только «истинных французов», так что зарабатывал он жалкие гроши.

Я видел дом, где жила их семья, — обнаружил совершенно случайно, когда собирал материал для статьи о молодости Камю, — одноэтажный, кое-как сложенный из грубого камня, без электричества и водопровода, с глинобитным полом, — такие теперь увидишь разве что в африканских бидонвилях или бразильских фавелах.

Отец никогда не рассказывал мне о своем детстве; в начале 1938 года он бежал в Испанию, ему было семнадцать лет. Но, сопоставляя факты, догадываюсь, что детство было голодным и безрадостным. Нужда и тяжелый труд. Мальчишкой вставал затемно и шел, досыпая на ходу, на край города, к далекому колодезю, чтобы натаскать воды на целый день. Подростком мечтал о полке, простой деревянной полке, чтобы расставить книги Ромена Ролдана

и Анатоля Франса, украденные в школьной библиотеке. Единственное развлечение — футбол. Единственное увлечение — коммунизм. Революция — «опиум» для молодежи, универсальное средство, одновременно возбуждающее и усыпляющее.

Итак, он рос в нищете, ужасающей нищете, безнадёжной и неизбежной, как преисподняя. Молоко разводили водой, варили похлёбку из кореньев и чертополоха. Если ребенок стащит кусок свежего хлеба, пока не доеден черствый, его побьют. Ни один нынешний француз, даже из самого глухого угла, не способен вообразить такого.

Отец совершенно изменил свою жизнь, когда ему было двадцать с небольшим. После войны благодаря деловой хватке, дикой работоспособности и необычайной властности он создал успешное предприятие и быстро пошел в гору. Отчасти ему помогли друзья, сторонники де Голля и бывшие борцы коммунистического Сопrotивления.

Но вот что знаменательно (к чему я, собственно, и веду): отец, сколько я его помню, не любил свою родину: Алжир был для него воплощением беды. Вместе с тем и метрополия не вызывала у него доверия, хотя именно во Франции он преуспел.

Он ненавидел бедность, унижительную, убийственную, жестокую, не желал ее ни себе, ни другим. И в той же мере, нет, еще сильнее ненавидел богатство — все условности, унижения, подлости ради денег, — не терпел богатых, хотя сам стал богатым.

Он стал буржуа и презирал буржуа.

Стал воротилой и не снисходил до воротил.

Юношеское увлечение коммунизмом осталось в прошлом, однако за столом отец по-прежнему называл консерватизм и национализм порочными и опасными заблуждениями.

Он занимался международной торговлей деревом и деревообрабатывающей промышленностью. Но подобно «красному» миллиардеру Фельтринелли или герою романа Алена Роб-Грийе «Резинки» Валласу (сходство с ним отца подметила моя начитанная мама: в детстве — та же среда, та же нищета, разве что с книжной полкой Валласу повезло больше) не желал иметь ничего общего с «собратьями», в данном случае промышленниками, представлявшими Лесную федерацию частного сектора. Он осуждал их всех вместе и каждого по отдельности, беспощадно, последовательно, непримиримо (за единственным исключением: молодого Франсуа П., своего главного конкурента, непохожего на других, презиравшего истеблишмент, непроницаемого, пришедшего издалека и державшегося поодаль, отец, безусловно, уважал как родственную душу).

Мы жили в фешенебельном пригороде Нейи, да, именно там. Видимо, оп считал, что под крылом у мэра Ахилла Перетти, в роскошном доме, знакомом каждому почтальону — дзынь-дзынь, вам письмо, — у его детей бесследно изгладится бессознательная наследственная память о чудовищной нужде, пережитой им в первые годы: пусть знают о ней не знают, ведать не ведают. Итак, нас окружали одни богачи, хуже того, нувориши (в нашей семье их считали чудовищами, лишенными вкуса и такта, над их смешными выходками и привычками издевались при всякой возможности), и я не помню, чтобы отец или мама поддерживали с соседями дружеские отношения. Разве что к торжественному новогоднему ужину приглашали нескольких учителей — теперь эта традиция кажется мне безнадежно устаревшей и такой же странной, как церемония вручения школьных наград в кинотеатре «Ле Шези». Зато отлично помню: отец пришел в ярость, когда я объявил

по возвращении из лица, что мне нужен смокинг, иначе меня не примут в клуб, где собиралась золотая, как тогда говорили, молодежь; мне было пятнадцать.

В новой среде он оставался чужаком.

Но и от корней оторвался.

Был нищим, стал богатым — ни то ни другое не повлияло на его суть.

В окружении отца не было свидетелей его прошлого, преодоленных страданий, трудностей, неудач. Но, в отличие от богачей, что выбрасывают одно и немедленно покупают другое, поновей, не стремился заменить их свидетелями благоденствия и процветания (такие были, конечно, однако он держал их на расстоянии).

Друзей у него не было.

Он ни с кем не общался.

Подростком я строил догадки о молодости отца, подозревая, что он был прожигателем жизни, денди, любимцем женщин, обаятельным красавцем, героем ночной жизни Сен-Жермен-де-Пре. И удивлялся, отчего теперь он предпочитает светским развлечениям совет директоров. Встречается лишь с заурядными, как мне казалось, лишенными обаяния людьми: начальниками, заведующими, помощниками, консультантами, — «полководами» и «сатрапами» своей растущей «империи», — когда отец говорил о ней, у него загорались глаза.

Отец был монархом-отшельником.

Я уже упоминал о его любви к шахматам. Он играл сам с собой. Или со мной. На худой конец, с компьютером.

Человек яркий, он, как ни странно, не извлекал пользы из своих дарований. Другие грелись в лучах его славы — он сознательно оставался в тени, наслаждался одиночеством, тишиной, покоем,

научившись с годами ценить строгую отрешенную жизнь.

Истинный *self made man*, образец, эталон. Он сам изменил свою жизнь, отсек прошлое, не был обязан никому и ничему и память держал, как говорится, на коротком поводке. Он патологически боялся отступить *хотя бы на шаг*, сдать, «перейти на сторону противника с оружием и снаряжением», то есть воспользоваться большими и малыми преимуществами своего нового социального положения. Гордость, граничащая с высокомерием, помогла ему выстоять, не уступить.

Когда я рассказал о странной отцовской отчужденности моему дорогому другу Бенни Леви, он покачал головой и заметил, что такова общая черта определенного рода евреев, по его терминологии — «евреев отречения».

Альбер Коэн, создавший образ Солаля, иудейского князя, что корчит из себя шута перед христианами, а в душе потешается над ними, не обнаруживая своего истинного лица; что прячет в подвалах золотую братию и тайно по ночам приходит беседовать с ней, назвал тип евреев, к которому принадлежал мой отец, иначе: «неомарранами»<sup>1</sup>.

Сам я считаю отца идеалистом: он мужественно отрекся от прошлого и нигде не пустил корни; ни с кем не отождествился и не объединился; не нашел и не искал пристанища; предпочел мечту реальности и стремился к звездам, а не дорожил кровом национальной общности, опасность которого я философски обосновал впоследствии в

<sup>1</sup> В средневековой Испании и Португалии марраны — евреи, насильно обращенные в христианство и, как правило, продолжавшие исповедовать свою веру тайно.

своих книгах, прежде всего во «Французской идеологии»

А сейчас, в письме, хочу подчеркнуть, что позиция отца — прекрасный пример «попытки отстраниться», о которой вы мне писали. В данном случае — последовательной и успешной, близкой к героизму. Человек окружил себя плотной непроницаемой завесой тайны, воздвиг пирамиду своей души, гигантскую усыпальницу. У таких людей, вопреки мнению философов, не тело, а именно душа — усыпальница. Они безмятежно покоятся в ней, и только исключительное событие, знаменательная встреча или ранящее слово, как я уже упоминал, нарушают их умиротворение, вздымая прах ненужных воспоминаний.

Мою теорию несложно доказать.

Я рассказывал вам о нашей взаимной привязанности.

Задыхаясь в добровольном заточении, он мог бы без опаски довериться мне, я был ему ближе других.

Тем не менее отец упрямо хранил молчание, приговорив себя к одиночному заключению, запретив себе постыдно наслаждаться достигнутым благополучием и упиваться страданиями детства. Не выходил на свет из густой тени тайны, отдалившись от собственных чувств и окружающих людей. Я так и не узнал самого главного о нем.

Не знаю, кого он любил и был ли счастлив.

Не знаю, что думал о Боге и верил ли в Него.

Не знаю, боялся ли смерти, принимал ли ее со смирением или не думал о ней вовсе.

<sup>1</sup> Во «Французской идеологии» (1981) Леви утверждал, что во Франции, уходя корнями в глубь веков, на основе «культы земли» и особого местного национализма зародился европейский фашизм.

Повторюсь: трудно описать его стыдливость, иными словами, трепет перед могуществом слова. В последние часы, сознавая уже, что конец близок, вместо благословения и напутствия он протянул мне дурацкую визитную карточку, где нацарапал очередной (было бесчисленное множество вариантов) проект финансирования моего будущего фильма «День и ночь» — роль продюсера доставляла отцу детскую радость, прежде ему несвойственную.

Скрытность пересилила даже доверие к сыну. Отец уважал мои взгляды, но не рассказал мне о том, что произошло в знаменательный июньский день 1977 года, когда я, участвуя в движении «новых философов»<sup>1</sup>, организовал митинг протеста против визита Брежнева во Францию. Митинг проходил у советского посольства, где по иронии судьбы как раз находился мой отец. Он прибыл с делегацией, ведущей переговоры о тех самых государственных соглашениях, против которых я восставал. Человеческая жизнь — айсберг, нам видна ничтожная часть, а главное скрыто от глаз. Лишь в период горбачевской «гласности», когда многое всплыло на поверхность, я узнал, что в тот день отец, к величайшему удивлению своих коллег, само собой, не сообщая отчего, резко переменил решение и вдруг выдвинул невыполнимые предварительные условия, создав столько трудностей, что большинство контрактов не удалось подписать. Расторг контракты, двадцать лет подряд приносившие ему доход... Меня поразил его поступок.

<sup>1</sup> Леви был лидером этого движения, стремившегося порвать с прежней, «слепой и равнодушной», философией. «Новые философы» прежде всего выступают против проявлений человеческого варварства, которые порождает и коммунистическая и фашистская идеология.

Точно так же отец молчал о своем участии в боевых действиях. А ведь он побывал в Испании, служил в вооруженных силах «Свободной Франции». Лишь через много лет после его смерти я обнаружил потертый черный портфельчик с наградами, пожелтевшими фотографиями, письмами, отправленными из Барселоны моей маме. Тогда ей было четырнадцать, потом они на восемь лет потеряли друг друга из виду и поженились после войны. Наградной лист за подписью генерала Диего Боссе за бои при Монте-Кассино я упомянул в своей последней книге. У меня и сейчас наворачиваются слезы: «Доблестному санитару, добровольно исполнявшему свой долг без отдыха, днем и ночью, выносившему раненых с передовой линии под шквальным огнем неприятеля и обеспечившему их эвакуацию, несмотря на минометный обстрел, с явной опасностью для жизни».

Недавно я побывал на улице Сен-Фердинан. Здесь, возле дома, где покончил с собой Дриё ла Рошель, находился отцовский офис.

По этой мостовой он проходил ежедневно, неторопливо и величаво. Такой же неторопливой была его речь. Всегда весомая и значимая.

Явственно слышу его низкий, глуховатый, как у всех неразговорчивых людей, голос, вместе с тем очень приятный, благозвучный, к нему невольно прислушивались. Я завидовал отцовскому голосу.

Вот тут был некогда бар, в нем продавали сигареты. Здесь за кофе мы обсуждали сценарий моего первого фильма о войне в Боснии.

А в ресторанчике на проспекте Терн он мне рассказывал о своем детище. Втайне он им гордился; пытался увлечь и меня, хотя не слишком надеялся на успех.

Ни кафе, ни ресторанчика больше нет.



Париж изменился. Не осталось и следа от тех мест, тех лет. Любимое детище отца тоже стерто с лица земли. Исчезла даже табличка, исчезли серые жалюзи, магнолия в кадке, а казалось, она будет стоять у решетчатой двери вечно. Так в древности победители разрушали города и посыпали развалины солью — для верности, чтобы они уже никогда не поднялись вновь.

Я рад, что благодаря вам, дорогой Мишель, благодаря точно найденному вами слову в нашей переписке сохранится хотя бы отзвук, слабый отзвук шагов моего отца, величавого отстраненного прохожего.

1 марта 2008 года

Уважаемый Бернар-Анри!

Как ни странно, «Буря в стакане» — мой любимый памфлет Селина. Я забыл вам сказать об этом.

Вообще-то, на мой взгляд, Селин — дутая величина. После «Путешествия на край ночи» он писал все хуже; по сути, остальное — броская безвкусица, дешевка. Да, его текст ритмичен, музыкален. Впрочем, это даже не музыка, а так, навязчивый мотивчик. Нечто среднее между джазом (ох уж эти совместные импровизации, нескончаемые прыжки из тональности в тональность: музыкантам весело, а слушателям скучно!) и французскими шлягерами начала XX века (сейчас их слушать невозможно, я недавно проверил). Ничего общего с разнообразием вариаций, с изысканной разработкой музыкальной темы у Пруста (не скажу, что Пруст — мой любимый писатель, тем не менее людей, ставящих Селина на одну доску с Прустом, я всегда считал невеждами: у них явно нет слуха, они недостаточно *компетентны*). Селину также далеко до Паскаля; «Мысли» инструментованы предельно строго и вместе с тем обладают энергетической насыщенностью рок-н-ролла (произведение Паскаля вообще не соотносится с музыкой его времени, впрочем, Паскаль едва ли заботился о ритмической организации текста). И совершенно недостижимы для Селина высоты

симфонического искусства (именно это направление нашей великой литературы неизменно внушает мне восхищение): скажем, гениальность Шатобриана или Лотремона я ощущаю всей кожей, как гениальность Бетховена.

Мне кажется, забота Селина о музыкальности прозы в ущерб ненавистному ему смыслу втайне преследует две конкретные цели. Во-первых, создает у читателя иллюзию, будто Селин — самобытный одаренный композитор, тогда как в действительности он всего лишь эпигон современной ему популярной музыки, достаточно примитивной. Во-вторых, заставляет забыть, что собственных мыслей у него нет, а убеждения отдают подлость: взять хотя бы антисемитизм.

Тем не менее Селин — талантливый прозаик, пусть и не гений. Его конек — памфлет, наилучшее выражение подлой и мстительной природы. «Буря в стакане» и некоторые антисемитские тексты поражают людоедским остроумием, неумной агрессией и задором. Мне никогда не удавалось и не удастся написать что-нибудь подобное. Не могу разозлиться как следует. Мечу громы и молнии, но как-то неубедительно, потому что в сущности равнодушен к своим противникам (разве это противники?). С годами я все отчетливей осознаю, что ненависть и презрение — взаимоисключающие чувства.

Лично я не верю ни в злокозненность, ни в избранность евреев. Как-то не задумываюсь об этом. Точнее, ничего тут не смыслю. Поэтому благоразумно воздержусь от рассуждений о «евреях отречения» и «неомарранах», о теориях Бенни Леви и Альбера Коэна. Зато с полнейшим сочувствием и пониманием откликаюсь на вашу незамысловатую фразу об отце: «В новой среде он оставался чужаком, как и в прежней».

Поверьте, такое самоощущение свойственно не только евреям. Оно присуще всем, кому было двадцать с небольшим во время войны.

Мой отец родился в семье простых рабочих, пролетариев до мозга костей, третьим ребенком из четырех. Нет-нет, нищими они не были (нищий не знает, что с ним случится завтра, удастся ли ему поесть, обогреться, найдется ли хоть какая-то крыша над головой, а бедняк знает, точно знает, во всех подробностях). Они жили трудно и честно, по-рабочему (*незапятнанную честь рабочего класса* в период полной занятости имел в виду Оруэлл, когда писал о *common decency*<sup>1</sup>, Пол Маккартни говорит о ней, вспоминая детство, так что это не вымысел журналистов). Работали не покладая рук, *подачек* ни у кого не выпрашивали.

*Честная*, но до чего же *скудная* жизнь! Лучшее свидетельство тому — невероятно трогательные фотографии «тридцать шестого переломного»: в первый свой оплаченный отпуск люди на велосипедах и трехколесных мотороллерах уезжают с заводских окраин, чтобы наконец-то увидеть море.

Правда, моей бабушке, родившейся на севере полуострова Котентен, и крестьянке, и рыбачке, море было не в диковинку. Зато с каким восторгом она увидела Мер-де-Глас, «Ледяное море» — знаменитый ледник в Альпах! Ее привез туда сын, когда ей исполнилось пятьдесят. Сохранился снимок. Вы не смогли бы без слез смотреть на ее детскую улыбку.

Мой отец с юности ненавидел своего отца (деда в живых я не застал). Называл его не иначе как «старым ослом». А все потому, что дед определил четырнадцатилетнего сына в железнодорожное депо, а он блестяще окончил среднюю школу и мог бы продол-

<sup>1</sup> Благоприличие (*англ.*).

жать учиться. Не знаю, правда ли это, история давняя, почти легенда, но весьма поучительная для нынешней молодежи. Дед мог бы сообразить, что образование — залог успеха, возможность подняться по социальной лестнице, однако предпочел железную дорогу: дело надежное, без работы не останешься. Вероятно, он и был «старым ослом», сын оценил его по справедливости.

Из депо отец ушел, не приобретя профессии; потом началась война. Поучаствовав в разных молодежных организациях (Национальном союзе спортивных центров, Французском клубе альпинистов), он через несколько лет стал членом престижного Общества горных проводников Шамони. Неплохо для парня из Кламара.

Отец страстно любил горы. По-настоящему любил. Любил, хотя сам вырос в долине и никто из его предков не жил в горах. Самоотверженно любил: стремился к снежным вершинам и боготворил товарищей, которые пострадали — им ампутировали отмороженные пальцы.

Позднее он перебрался из Шамони в Валь-д'Изер. Купил участок земли, выстроил большой дом в самом центре городка (Валь-д'Изер в те времена был обыкновенной лыжной базой для иностранцев, а вовсе не престижным высокогорным курортом, да и будущий чемпион Жан-Клод Килли — безусым юнцом).

Другой на месте отца выгодно использовал бы свое первое капиталовложение: продал бы эту землю, когда она баснословно вздорожала, и здорово разбогател.

Но мой отец не стремился разбогатеть. Он все еще был *независимым инструктором по лыжному спорту*, то есть не имел сертификата французской высшей горнолыжной школы, когда мы с ним наконец познакомились. (Да, в детстве я вместе с ним исколесил на «джипе» половину Франции, однако не будем

обольщаться, тогда он знать меня не хотел, и при каждой остановке я боялся, что он бросит меня посреди дороги на произвол судьбы.) Его нанимали люди (богатые, зачастую очень богатые), не любившие общеизвестных лыжных трасс и толп туристов. Вертолет поднимал их на вершину ледника, оттуда они в гордом одиночестве спускались, взметая снег, — словом, катались не по-дилетантски. Но для такого опасного удовольствия требовался горный проводник, дипломированный инструктор по горнолыжному спорту: иначе нельзя, с горами шутки плохи.

Самым известным из нанимателей отца был Валери Жискар д'Эстен. Но с ним отец поднимался в горы всего раз или два. Зато с Антуаном Рибу, заядлым горнолыжником, совершил с десятков восхождений, в одном участвовал даже я. О знаменитом главе молочной империи «Данон» у меня сохранилось единственное воспоминание. Высоко в горах за обедом его спутники никак не могли выбрать гарнир, время шло. Помню, с каким раздражением он взглянул на них и грубо приказал официанту: «Подать всем зеленый салат!» Вполне разумный выбор: глупо перед спуском набивать живот картошкой или рисом. Так что я навсегда усвоил — главой крупного предприятия может стать только тот, кто способен в нужный момент скомандовать: «Подать всем салат!»

У отца было много нанимателей, менее известных, но не менее богатых. В горах социальные барьеры теряют значение, и я был вхож повсюду. Десятилетним играл в «монополию» с ровесниками, что жили в Париже в *особняке на улице Фезандери*. А после каникул возвращался к бабушке в дом, где *не было ванной* (мы умывались над раковиной в кухне и периодически нагревали на плите бак с водой). Подобные контрасты меня не смущали. Дети — странный народ.

Мое самое жестокое воспоминание — Сильви. Не знаю, как вышло, что она больше недели прожила с нами в горном шале — отец взял с собой и меня. Должно быть, он очаровал родителей Сильви, раз они доверили ему дочь. Нам с ней было лег по двенадцать-тринадцать. Однажды мы остались одни, она поставила пластинку и пригласила меня танцевать медленный фокстрот. Я ответил: «Я не умею». До чего же она была хороша, особенно волосы — пышные каштановые кудри. Два чистых, невинных ребенка. Добрая девочка, лань. Доверчивый мальчик, олененок. У меня болезненно сжимается сердце при одной мысли о той поре.

Теперь я иногда вижу по телевизору ее родственников.

И сам иногда появляюсь па экране.

Так что же делал мой отец, пока я в качестве пешки совершал первые неловкие ходы на социальной шахматной доске? Честно говоря, в социальном плане и он не продвинулся ни на шаг. Независимому инструктору по горнолыжному спорту невозможно подружиться с обычными инструкторами: кивнут друг другу возле вагончика канатной дороги — вот и все общение. Отец был не только инструктором, но и опытным альпинистом, *равные уважали его* (не все его коллеги удостоивались престижных наград, а отец принимал участие в экспедициях в Анды, на Гималаи). Да, его уважали, но не любили. Он не был уроженцем гор. Коллеги считали его столичным жителем, «*парижанином*» (я уже говорил, что на самом деле он родился в рабочем Клармаре; для него это была большая разница, а для них — одно и то же). Отец умудрялся поддерживать отношения с родней, хотя год от года они отдалялись друг от друга все больше и больше. Обе его сестры вышли замуж за простых рабочих, пролетариев, свою ровню.

Обе жили в собственных крошечных домиках под Парижем в Ганьи (Сена-Сен-Дени). Он навещал их раз в год, и мне как-то неловко вспоминать о визитах к теткам. Вот отец с торжественным видом садится за стол в маленькой гостиной: гостиная — предел их мечтаний. Говорит о политике генерала де Голля и прочих столь же безобидных предметах. И наконец уходит с видимым облегчением (на самом деле он искренне любил сестер и поэтому ежегодно принуждал себя пови-даться с ними).

Или он, может, дружил со своими богатыми на-нимателями? Едва ли. Родители Сильви, наверное, были к нему расположены (повторяю: иначе не до-верили бы ему свою дочь, впрочем, их я не помню, помню только Сильви). Однако думаю, и тут симпа-тия была поверхностная. Я видел, как отец общался с какими-то не внушавшими доверия типами, похо-жими на *провинциальных строительных подрядчиков*, вел с ними бессмысленные бесконечные разговоры, но чаще бывал один.

Он тоже играл в шахматы.

Неизменно меня обыгрывал и отбил охоту играть навсегда.

Он тщательно обдумывал свои многочисленные проекты и далее принимался осуществлять их, а по-том утрачивал к ним интерес. В молодости у него бы-ли *начальники* (в то время он работал на стройках по вольному найму). Позднее — *подчиненные* (вскоре он отошел от руководства предприятием и продал свою часть акций). Ему было неуютно и с теми и с другими.

Можно сказать, что человек пожертвовал всем, ре-шительно всем ради единственной цели: *ни от кого не зависеть*. Если вдуматься, довольно нелепая цель, от-рицающая первооснову социума. Сколько раз он при мне поносил монополию государства на электричест-во, жаловался, как невероятно трудно получить право



на установку электрогенератора на своей земле. Таким людям душно в Западной Европе, их место в Аргентине или в Монтане. Мне и политические взгляды отца представляются сродни либертарианским, хотя эта партия появилась значительно позже; во всяком случае, с американцами он бы нашел общий язык.

Меня потрясают не столько различия и сходство между нашими отцами, сколько время их молодости — удивительная, необычайная эпоха. «Тридцать славных лет» в истории Франции, начиная где-то с 1946, 1947 года (объем промышленного производства тогда стремительно увеличился), кончая примерно 1973 (годом первого нефтяного кризиса). Почти тридцать лет уверенного экономического подъема и безграничного оптимизма. А также непрерывного *бэби-бума*, который без видимых причин прекратился в 1964 году, закончившись раньше, чем все остальное. Впрочем, некоторые причины я мог бы назвать: наступил гедонистический период потребительского капитализма — на смену стиральной машине пришел транзистор.

Вернемся к волнующей меня тайне: к Франции пятидесятых, радостной, деятельной, смело глядящей в будущее, глуповатой, само собой. Сейчас она кажется бесконечно далекой: мне легче представить себе Францию 1890-х или 1930-х годов. Хотя сам я родился в конце пятидесятых, я сам результат *бэби-бума*.

Можно тосковать по чужому прошлому, по времени, которое не застал, видя его только по телевизору. Я смотрю хронику тех лет, люблюсь юношами и девушками (похожими на моих родителей в молодости, точно так же одетыми) — энергичные, жизнерадостные, они упоенно танцуют *твист*, - ис горечью осознаю, что не я один *депрессионист*, вся Франция переживает период *депрессиионизма* (но сейчас упорно отрицает этот факт).

С полмесяца назад я прочел в иллюстрированном приложении к «Фигаро» (не пугайтесь, оправдание классическое — разумеется, оно попало мне в руки в приемной зубного врача. Я, конечно, шучу, знаю, что вы человек без предрассудков, однако хочу подчеркнуть, что действительно не покупаю эту мерзость: я не простил им полицейского досье, которое они опубликовали после выхода «Возможности острова»). Так о чем бишь я? Ах да, я читал критическую статью: автора новой книги хвалили за отсутствие «штампов экспериментального романа». Нежелательные штампы были перечислены, и внезапно я осознал, что это мои находки, изобретения пятнадцатилетней давности из «Расширения пространства борьбы». Красноречивая деталь! Какой же я старей...

Франция (да и не только она — вся Западная Европа) впала в глубокую депрессию после «тридцати славных лет», и, по-моему, это вполне закономерно. После чрезмерного оптимизма, наивной безоглядной веры в прогресс, больших всеобщих надежд неизбежно наступает спад. Мне кажется, что «Расширение пространства борьбы» — полезная книга, но сейчас я не смог бы ее опубликовать. Потому что наше общество достигло последней стадии распада, оно и знать не хочет о своем неблагополучии, ему подавай иллюзию беззаботности, сладкий сон, мечту; оно утратило мужество и не может посмотреть правде в глаза. Неблагополучие не уменьшилось, оно разрослось и проникло глубже; обратите внимание, как напивается молодежь: до одури, до беспамьятства, до скотского состояния. Или выкуривает с десятков «косячков», пока душевная боль не стихнет. Не говоря уж о более сильных средствах.

Несколько месяцев назад я к великой своей радости побывал в Москве. Мы там встретились с Фредери-

ком Бегбедером (совершенно случайно, мы приехали по разным причинам, с разными целями). Нам довелось пару раз быть диджеями в ночных клубах, раз-рекламированных журналами, где полно соблазнительных роскошных блондинок. И мы с Фредериком оба заметили: молодые русские любят «Beatles», при первых же тактах оживляются, приходят в полный восторг (уверен, что «Beatles» они совсем не знали, западная музыка пришла к ним поздно, в восьмидесятих слушали «U2» и «A-ha»). Больше всего им нравятся ранние песни вроде «Ticket to Ride» или «Love Me Do», бессмертные, гениальные, насыщенные энергией, жизнерадостные. Песни юности, песни первого дня каникул (музыка эпохи экономического роста и полной занятости).

Когда я вернулся во Францию, во всех журналах обсуждалась ошеломляющая новость: начало экономического спада. Атмосфера полностью переменялась.

Разумеется, правы экологи. Проблемы человечества невозможно решить, если не удастся стабилизировать количество населения на Земле, если не будет разумного управления невозполнимыми природными ресурсами, если не учитывать опасных изменений климата.

Все это так, но, вернувшись в Западную Европу, я ощутил, что нахожусь среди мертвецов. Да, в России тяжелые, подчас невыносимые условия, там много насилия, но русские щедро одарены вкусом к жизни, жаждой жизни, которая у нас расточилась. Как же мне захотелось быть юным и русским! И наплевать на все экологические катастрофы!

Захотелось стать идеалистом (признаю, сейчас их и в России немного). Вернуться в прошлое: тогда боготворили Гагарина и «Beatles», вся Франция

смеялась над Луи де Фюнесом, Жан Ферра пел песни на стихи Арагона.

Я снова стал размышлять о тех временах, когда мои родители были молоды.

Простите великодушно, письмо изобилует «музыкальным» материалом, но вы знаете, как много значила популярная музыка для моего поколения. Наверное, анализ положения в литературе позволил бы быстрее прийти к определенным выводам. Если общество здорово и уверено в своих силах, оно не поморщившись проглотит любую горькую истину, что преподнесет ему литература. Франция пятидесятих годов XX века беспрекословно выслушивала Камю, Сартра, Ионеско и Беккета. Франция XXI века уже не желает слушать таких, как я.

Что поделаешь... Я старею, слабею, мне хочется быть счастливым, пока я еще жив. И я мечтаю вернуться в Россию.

12 марта 2008 года

Уважаемый Мишель, хотя именно вы заслуженный депрессионист, пришел мой черед брюзжать и остужать ваш пыл.

В противоположность вам я не хочу, слышите, ни в коей мере не хочу стать русским или вернуться в Россию.

Раньше я чтил русскую духовность.

Защищал и любил русскую культуру. В семидесятые-восемидесятые годы ее символами были Солженицын и Сахаров, славянофилы и западники, последователи Достоевского и Пушкина, диссиденты правого и левого толка, а также те, кто, по выражению знаменитого математика Леонида Плюща, не принадлежал ни к одному лагерю, но оказался в лагере за колючей проволокой. Ради них я вышел к советскому посольству с протестом в тот день, когда мой отец должен был подписать деловые соглашения с представителями Госплана. Должен был, но не подписал, тоже стал *неподписантом*. Я вам об этом уже рассказывал.

Теперь коммунизм *сошел* со сцены окончательно, ваш отец-альпинист сравнил бы этот процесс с *оползнем* в горах, река вскрылась, *лед сошел*. И что случилось с Россией? Что обнаружилось? Что узнал о России мир, что узнала Россия о себе самой? Россия Путина воюет в Чечне. Убивает. Анну Политковскую в подьезде ее дома; незадолго до гибели Анна написала

о своей страдающей родине прекрасную книгу «Путинская Россия». Науськивает своры националистов на «неэтнических» русских: банды расистов разгуливают по Москве. Избивает китайцев в Иркутске, дагестанцев в Ростове, «черных», как здесь называют людей со смуглой кожей. И нагло заявляет, что плевать ей на демократию и права человека: у нее своя демократия, особая, доморощенная, не имеющая ничего общего с западной. Чего стоит хотя бы партия под названием «Наши» — сборище сталинистов и фашистов, если говорить откровенно. Россия воспитала достойную смену европейским памфлетистам-антисемитам XIX—XX веков и читает запоем мерзкую брошюру «Список замаскированных евреев», где свалены в одну кучу Сахаров, Троцкий, де Голль, Саркози и Юлия Тимошенко, деятельница украинской Оранжевой революции. Вы рассуждали о музыке — извольте: русская поп-звезда Ирина Аллегрова снялась для модного журнала<sup>1</sup> в форме надзирательницы лагеря смерти, с овчаркой на поводке. Россия, если не брать в расчет ее идиотские мании и суеверия, не верит сейчас ни во что, начисто лишена общей идеи, там царит лишь потребление, нажива, ценится только престижный бренд. Когда я был в России в последний раз, меня поразило тотальное невежество и бескультурие. Несчастливая Анна Политковская сокрушалась, что население России, в большинстве своем пассивное, вялое, приспосабливается к любым условиям: к примеру, теперь там фактически нет законов об охране труда, с рабочими обращаются абсолютно бесчеловечно, а народ все терпит. Россию разъедает страшная нищета, многие ли посещают ночные клубы, где вы с Фредериком резвились и наслаждались жизнью? В России, как при комму-

<sup>1</sup> Журнал «Караван историй».

изме, за грош отца и мать продадут, стащат все, что под руку подвернется, веник, лохань, плохо прикрученный кран — помните, у Брехта в «Покупке меди», — любую железяку на заброшенных строительных площадках, благо хозяев нет: олигархи кто в бегах, кто в тюрьме. Такая Россия, признаюсь честно, вызывает у меня не зависть, а ужас и отвращение. Больше того, я всерьез боюсь ее, боюсь, что подобная участь может постигнуть и европейское развитое капиталистическое общество. В эпоху ваших любимых «тридцати славных лет» буржуазию пугали, предвещая, что коммунизм Брежнева — не отживший строй отсталой страны, а будущее Европы. Так вот, поздравим себя, мы ошиблись: нас подстерегает не коммунистическая угроза, а коммунистическая отрыжка, «путинизм». Возможно, вполне возможно, что и нам придется пройти это испытание.

Однако вы ведь прекрасно все знаете.

Знаете не хуже меня.

Не зря же вы пишете, что Селину, «дутой величине», удавались одни памфлеты.

Мне как-то неловко разыгрывать перед вами благонамеренного поборника прогрессивных идей и нравственности, борца с одиозными заблуждениями, напоминать в ответ на ваши прекраснородушные рассуждения о любви русских к «Beatles»: «Там плохо, там страшно, прежней России не существует, грех плясать и веселиться, когда людей запугивают и убивают!»

Речь не о том. Мы оба достаточно осведомлены об истинном положении дел, но по-разному освещаем факты. Вот что самое интересное. Важно установить, отчего при равной осведомленности один человек делает вид, будто ничего не происходит, лишь бы ему не мешали слушать ностальгическую «Ticket to Ride» в компании пышных блондинок, а другой бьет

во все колокола: «Так нельзя, мы не вправе умыть руки и отступить. Россия бедствует духовно и материально, от нее веет смертью!» Важно разобраться (простите за *патетику*, я захотел разобраться, и именно вы навели меня на эту мысль), из каких соображений писатель решает, вернее, провозглашает, что судьба человечества ему безразлична, или, наоборот, заявляет, что людские страдания его ранят, что он ощущает свою причастность к общим проблемам, более того, личную ответственность за все, что происходит в мире, будь то безвестные войны в Африке, резня в Сараеве, медресе Пакистана, где ученикам внушают, что джихад угоден Аллаху, Алжир, истерзанный терроризмом, Россия, уничтожающая Чечню, — он, чтобы действительно чувствовать себя «человеком», должен хоть отчасти разделить с другими их боль.

Вы правы, у нашего невероятного диалога есть одно бесспорное (возможно, единственное) достоинство: попытка освоить «исповедальный жанр», который, сошлюсь на ваше признание, и вам дается нелегко (ясно вижу биографов, веб-дизайнеров, охотников до престижных премий, шпиков и ищеек от литературы — они ведь и вас преследуют по пятам, распространяя всякий бред насчет дня вашего рождения, образа жизни, бегства в Ирландию, вашей собаки, отношения к женщинам и к себе самому, — которые будут с жадностью читать откровения о необычном, фантастическом образе мыслей вашего отца, его отчужденности, замкнутости, о богатстве его нанимателей; представляю их лица и смеюсь от души, прямо сейчас, пока пишу вам).

Признаюсь, я буду счастлив, если он — подразумеваю опять-таки наш диалог — заставит нас обоих ясно обозначить свою позицию, к примеру, в том, что касается «равнодушия к миру или участия в его судьбах». Заставит нас или, по крайней мере, меня без обмана,



без жульничества, честно и откровенно признаться в истинных причинах моего выбора: отчего я вдруг почувствовал себя «обязанным вступиться», «защитником» ближнего; Эмманюэль Левинас<sup>1</sup> назвал бы это «субституцией», «подстановкой». Поможет до конца осознать и высказать правду: зачем благополучному человеку вроде меня без конца носиться по свету, разоблачать преступления, бороться с несправедливостью, с беспорядками, изо дня в день упорно предлагать всевозможные средства от существующих болезней общества, хотя никто не спрашивает его мнения, вместо того чтобы сидеть дома, наслаждаться жизнью и спокойно писать романы.

Все прекрасно без меня обойдется, я это знаю, но дело не только в моей назойливости, поверьте.

Дело не в деньгах. В отличие от профессиональных репортеров, я мог бы зарабатывать на жизнь без хлопот и мучений.

Дело не в темпераменте. Поразмыслив, я пришел к странному выводу: в душе я такой же, как вы, скептик, фаталист и флегматик.

Хуже того, я пессимист.

Если говорить о мировоззрении, то я вовсе не «прогрессивный деятель» в общепринятом понимании этого расхожего выражения.

<sup>1</sup> Один из самых самобытных мыслителей XX в., Эмманюэль Левинас родился в Литве, воспитывался в традициях иудаизма, затем поступил в русскую гимназию в Харькове, изучал философию в Германии, в 1931 г. получил французское гражданство, в 1939-м был мобилизован, а в 1940-м попал в плен и пять лет провел в трудовом лагере близ Ганновера, предназначенном для евреев-военнопленных и католических священников, где написал основную часть «От существования к существующему». Нацизм, концлагерь, гибель родственников оказали сильное влияние на гуманистическую философию Левинаса.

Напротив, я считаю людей, которые принимают слишком активное участие в жизни других, стремятся исправить род людской и указать ему путь истинный, опасными сумасшедшими или отъявленными мерзавцами, а иногда мерзавцами и сумасшедшими одновременно.

Из-за этого убеждения, между прочим, я лишился Гонкуровской премии. Раз в жизни у меня была возможность ее получить: за «Последние дни Бодлера». Но автор «Цветов зла» говорит у меня, что жестокий Марат не случайно назвал свою газету «Друг народа», а кровожадный Робеспьер вполне искренне считал себя благодетелем человечества. В жюри заседали ныне покойный Андре Стиль, поклонявшийся двум святыням, вернее, трем: Коммунистической партии (единственный из французов, он получил и Сталинскую премию, и премию «Пошоллист»), издательству «Грассе» (за всю историю Гонкуровской премии он был единственным членом жюри, который мог похвастаться тем, что пятнадцать или даже двадцать лет хранил верность своему издателю и, не мудрствуя лукаво, неизменно голосовал за него) и Робеспьеру Неподкупному (его он боготворил с юности и не сомневался, что партия большевиков — возродившийся Комитет общественного спасения, а ее основная линия — святая революционная непримиримость к врагам). Нетрудно догадаться, что из этого вышло. Поклонник Робеспьера и Сталина был глубоко оскорблен. Верность Партии поборола даже верность издательству. Таким образом, с перевесом в один голос — голос Стиля — премия досталась бесспорному гуманисту, моему товарищу Эрику Орсенна...

Рассказал это, чтобы вы знали: я не так уж прост и наивен.

И по определению враг всякой партийности и предвзятости.

Однако, несмотря на пессимизм, несмотря на нелюбовь к предвзятости — повторяю, я ведь отлично вижу, что жалость опасна, что гуманиста подстерегает множество ловушек, что великий интеллектуал, поднимающий знамя Борьбы и Просвещения посреди хаоса массового сознания и путаницы мировой истории, по меньшей мере смешон, а по сути гадок и неубедителен (хотя, как вы помните, в «В поисках утраченного времени» маркиз де Норпуа призывал всех современных ему Уэльбеков и Бернаров-Анри Леви противостоять надвигающемуся «варварству», иначе-де они не писатели, а «флейтисты»)<sup>1</sup>. Так вот, я, вместо того чтобы писать романы и выяснять истину в философских трактатах, странствую всю жизнь в поисках правды, сражаюсь со злом и заступаюсь за обиженных потому, что стремлюсь противостоять варварству.

Зачем мне это понадобилось?

Не стану повторять общеизвестные, всеми чтимые доводы насчет благородных побуждений и призывания, хотя доля правды в них есть.

Не стану высокопарно рассуждать о праведном гневе, искреннем возмущении при виде невыносимых человеческих страданий, мгновенном *бессознательном* и *безрассудном* сострадании к невинным жертвам Истории, неисчислимым, обреченным, брошенным, хотя для меня это не просто слова.

Мне хочется быть честным с самим собой, я ответственно отношусь к нашему с вами решению вместе вступить на путь освоения «исповедального жанра», а потому попробую, хотя не так просто отважиться на

<sup>1</sup> В романе «Под сенью девушек в цвету» маркиз де Норпуа так отзываясь о писателе Берготе, кумире Марселя, героя «В поисках утраченного времени»: «Бергот, по-моему, флейтист... Его творчество не мускулисто, в его произведениях нет, если можно так выразиться, костяка». *Перевод Н. Любимова.*

подобную откровенность, назвать еще три причины, не такие значительные, сугубо личные, но не менее веские.

Во-первых, я одержим жаждой приключений, пусть это прозвучит глупо и легкомысленно. Что подделаешь, я не кривлю душой: именно авантюризм заставляет меня мчаться на край света, искать события, достойные описания и активного вмешательства, начиная с боевых действий в Бангладеш. Мне не сидится на месте. Я люблю путешествовать, перемещаться, погружаться душой и телом в чуждую мне атмосферу, непохожую на повседневность, соприкасаться с иными мировоззрениями, иными системами ценностей. Люблю напряжение всех жизненных сил, интенсивность, разнообразие чувств и ощущений; люблю но-новому взглянуть на себя и на окружающих. В мире благополучия не поймешь по-настоящему, что значит смерть и страх, что значит радость и полнота жизни. В Сараеве мне выпали и минуты счастья. Я сохранил светлые воспоминания о городах Анголы — Уамбо и Луанде. На озере Танганьика, в пригороде столицы Бурунди Бужумбура, мы попали в перестрелку (я описал ее в одной своей книге) — это воспоминание приятным не назовешь, зато за один день я узнал о своих реакциях, глубинных инстинктах, тайных желаниях больше, чем за годы пристального самонаблюдения и дотошного самоанализа. В этом году, посылая репортажи из Дарфура, с разоренных равнин, чьи уцелевшие жители живут в постоянном страхе перед нападением «Джанджавида», из этой пустыни, опустошенной безжалостно, методично — можно ехать по ней неделями и не встретить ни единого человека, даже развалин нет, лишь мелькнет антилопа с детскими глазами, — я ощущал не только боль, но и неожиданную, я сказал бы, утешительную отрешенность, размышлял о времени, памяти и забвении, разрушении, полном

исчезновении, немом крике тела и его освобождении. Согласен, такие признания не делают мне чести. Туристический маршрут по горячим точкам планеты, любопытство к чужому горю. Зато я говорю правду.

Во-вторых, я во всем хочу добиться совершенства, стать самым лучшим. И всегда хотел. Меня с детства преследовало искушение (неуместное, постыдное, непристойное свидетельство дешевого тщеславия — честно говорю вам об этом) научиться чему-то, чего не умеет никто другой, а если и умеет, то все равно не так, как я. Вот почему в 1971 году я отправился в охваченный мятежом Бангладеш, хотя все мои друзья свято верили, что настоящая революция — в Париже. Вот почему тридцать лет спустя я написал предисловие к книге о Чезаре Баттисти<sup>1</sup>, несмотря на то что все без исключения итальянские и французские газеты называли его отщепенцем, ничтожеством, убийцей, бандитом. Вот почему я первым начал расследование обстоятельств похищения и гибели Дэниела Перла<sup>2</sup>, до меня о нем почему-то никто не вспомнил. Вот почему я убеждаю французов, что защитить Хирси Али — дело чести всего народа: прежде у нас о ней и не слышали. Я горжусь, что попал в Сараево раньше других журналистов, когда там еще шли бои. Горжусь, что мои

<sup>1</sup> Чезаре Баттисти, активиста леворадикального движения «Вооруженные пролетарии за коммунизм», в 70-е гг. за терроризм приговорили к пожизненному заключению, но ему удалось бежать и покинуть Италию. Впоследствии он долго жил во Франции, где опубликовал два десятка детективов. Когда в 2004 г. парижский суд утвердил решение о его экстрадиции, Чезаре Баттисти перебрался в Латинскую Америку. В 2007 г. он был арестован в Рио-де-Жанейро, но бразильские власти отказались выдать его Италии.

<sup>2</sup> Начальник южноазиатского бюро «Уолл-стрит джорнэл», коварно похищенный и обезглавленный в 2002 г. в Пакистане. Книга Б.-А. Леви «Кто убил Дэниела Перла?» стала мировым бестселлером.

репортажи из Дарфура далеки от официальной версии событий, принятой повсюду, повторяемой на все лады. Я вернулся оттуда и ненавязчиво, как бы невзначай, а на самом деле с несказанным удовольствием, вне себя от гордости, даю понять, что у меня нет ничего общего с американскими олухами, которые похваляются, будто побывали «там», хотя в действительности всего лишь обошли три лагеря беженцев в сопровождении представителей суданских властей. Горжусь, что сегодня в рубрике «Блокнот», вспоминая свои безвестные войны, рассказал о дне, проведенном с Иваном Риосом, лидером боевиков группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», впоследствии убитым его же телохранителем, — отрезанную руку полевого командира предатель отвез начальнику гарнизона в Сан-Матео. Горжусь, что на допотопном самолетике-этажерке летал в самое сердце джунглей в горах Кордофана, где со времен Лени Рифеншталь<sup>1</sup> не ступала нога европейца, и добыл уникальнейший материал. Повторю еще раз: мне неловко признаваться вам в моих тайных побуждениях. Знаю: теперь мне не светит слава бескорыстного гуманиста, борца за идею; человечество не вспомнит о Бернаре-Анри Леви с благодарностью. Но от правды не уйдешь: я человек тщеславный. Жан-Мари Коломбани и Эдви Пленель тому свидетели. Это они предложили мне писать репортажи для «Монд». И помнят, что я согласился при одном непременном условии: я изучаю все выпуски газеты за последние пятнадцать лет и езжу только туда, заметьте, где не бывало или почти не бывало других корреспондентов (естественно, я ни словом не обмолвился о

<sup>1</sup> В 1956 г. пятидесятидвулетняя Рифеншталь впервые совершила поездку в Африку. Позднее, в 1962—1977 гг., она с фотоаппаратом не один раз пересекла нубийскую пустыню, чтобы запечатлеть естественную жизнь нубийских племен.

своей страсти быть первым и самым лучшим, в ней я признаюсь только вам; речь шла исключительно о пользе дела и холодном расчете профессионала).

И наконец, в-третьих... Не знаю, как и сказать, боюсь показаться глупым и смешным. В-третьих, я всегда мечтал превзойти самого себя, прыгнуть выше головы. То есть в буквальном смысле выйти за пределы своих возможностей. Или, если хотите, вырваться за пределы обыденности, почувствовать могучую силу подлинной жизни. Допустим, все наши усилия тщетны, наши свершения забудутся, от нас ничего не останется, но ради таких вот мгновений полноты, бытия нам всем, мужчинам и женщинам, все-таки стоило жить. Подлинная жизнь... О ней писал Мальро. О ней писал и Мальбранш в «Письмах к Жан-Жаку Дорту де Мераиу»: «Человек велик только преданностью Великому». Мне нравятся эти слова. Нравится мысль — хотя многие сочтут ее старомодной, бесполезной, невнятной, — что каждый может жить с максимальной отдачей, каждый внутренне способен вырасти, хотя бы чуть-чуть (вспомним опять-таки Мальро: в предпоследней части «Антимемуаров» Клаппик встречает состарившегося Мери, дни его сочтены, но он «перерос сам себя»)<sup>1</sup>. Мне хочется выкарабкаться из своей оболочки, своей среды, своей судьбы. Перерасти все это. И не важно, за что уцепишься, взбираясь повыше: за великие катаклизмы или безвестные конфликты, забытые историей, не упомянутые в документах, — именно о них я писал чаще всего. Все мы следуем за своей путеводной звездой, не так ли? Так вот, есть злоторные звезды — римляне называли их «sidera», железные, — они толкают нас в пропасть, увлекают в бездну, уводят во тьму —

<sup>1</sup> Барон де Клаппик — персонаж романа Мальро «Удел человеческий» (1933), Мери — персонаж «Антимемуаров», вымышленный собеседник Мальро.

тзму нашей изменчивой природы: от черных дыр подсознания кружится голова, железный прут низких истин сражает наповал, — мой отец смертельно боялся такого помрачения и мне завещал этот страх. И есть звезды благие — их римляне величали «astra», светила, — они, наоборот, помогают нам воспарить, обратиться к горным высям, духовности, идеалу. Светлая звезда направляла простых бретонцев, моряков с острова Сен и рыбаков из Сен-Мало и Бреста, когда они без промедления присоединились к движению «Свободная Франция» \*. Она вела самоотверженных бойцов при Монте-Кассино, что шли в атаку под шквальным огнем, презирая смерть. Она светила французским летчикам, что сражались вместе с англичанами против нацистов, не подчинившись «железной» логике капитуляции, «страшной пустоте отступничества»<sup>2</sup>, как сказал де Голль. Я тоскую по ее свету. Все мое поколение тоскует по ярким лучам благих звезд, ныне отделившихся от нас, а когда-то вдохновлявших лучших людей эпохи. Правдивые легенды об их невероятных подвигах, живой пример мифических побед силы плоти и силы духа, живой, хотя поверить в эти победы теперь трудно, почти невозможно, — вот что не дает мне успокоиться.

Как видите, работает связь с отцом, его устремлениями, его убеждениями...

<sup>1</sup> 18 июня 1940 г. Шарль де Голль обратился к французам из Лондона по радио с призывом сражаться за освобождение Франции. Так возникло движение «Свободная Франция» (с 1942 г. — «Сражающаяся Франция»). Французы принимали участие во многих сражениях, в том числе в битве при Монте-Кассино (1944) и воздушных боях.

<sup>2</sup> Шарль де Голль. «Военные мемуары».



16 марта 2008 года

Искренне рад, что вы сами заговорили о причинах, побудивших вас заняться общественной деятельностью, сделаться «идейным интеллектуалом». Я едва ли решился бы спросить напрямик: «Уважаемый Бернар-Анри, положи руку на сердце, вам-то это зачем?»

Волею судеб последние двадцать—тридцать лет люди со мной до странности откровенны, причем без малейшего повода с моей стороны: они рассказывают мне о том, о чем никому и никогда не говорили, о чем и сами раньше *не подозревали*, то есть впервые отчетливо формулируют сокровенную мысль по ходу разговора. Вот почему, собственно, я стал писателем (нет, выразимся корректнее: вот почему я написал несколько романов). А иначе бы не взялся за прозу: я всегда предпочитал поэзию и терпеть не мог нудных повествований. Но как только выслушал первую исповедь, ощутил (да и сейчас ощущаю), что писать — мой *долг* (слово для меня странное, но другого в данный момент не подберу). На меня возложили тяжкую обязанность: сберечь для истории любопытные феномены, зафиксировать с максимальной точностью неожиданно доверенные мне тайны человеческой природы.

Разве вы обычный собеседник? Вы же не состарившийся коммивояжер, что разглагольствует в стрип-баре тайского курорта Паттайя, не медсестра, готовая

участвовать в групповухе, лишь бы придать новый импульс чахнущему браку. Вы и без моей помощи, да что там, гораздо лучше меня способны описать феномен собственного существования, вам не нужен сторонний наблюдатель-стенограф. Однако льщу себя надеждой, что и вы вслед за другими не остались равнодушным к некоторым моим качествам, позволяющим мне перевоплощаться в совершенное *записывающее устройство*.

Мое главное достоинство — отсутствие сарказма. Вы, наверное, почувствовали, что я отношусь к «ангажированным интеллектуалам» с полным уважением, они не кажутся мне *смешными*. Вполне допускаю, что некоторые за глаза потихоньку подшучивают над ними, даже издеваются, но сам не нахожу в ангажированном интеллектуале ничего забавного. Вообще мало что на этом свете представляется мне забавным. Возможно, я лишен сарказма лишь потому, что не принадлежу ни к одной из социальных групп и вообще далек от любых человеческих сообществ (впрочем, не будем забегать вперед).

Вы почувствовали также, что я не собираюсь осуждать вас за туризм по горячим точкам планеты (естественно, вы в некотором смысле турист, коль скоро приезжаете издалека без каких-либо полномочий). В целом я редко прибегаю к этому средству морального воздействия. Хотя отчетливо различаю добро и зло, на удивление отчетливо, когда вижу их крайние проявления (ни в коем случае не оправдываю жестокость, ни в коем случае не презираю милосердие). Но крайние проявления добра и зла встречаются редко, *a minima*. К счастью, мы живем в нейтральном спокойном мире, где душевные силы человека не часто подвергаются испытаниям, а поступки по большей части не требуют решения нравственной дилеммы.

Полноте, не пугайтесь, я тоже намерен откровенно рассказать о подспудных причинах своего выбора. Следуя вашему примеру, назову сначала те из них, что достойны уважения, затем перейду к малопочтенным, затем к постыдным и гак, мало-помалу, выяснится, отчего я *не стал* ангажированным интеллектуалом.

(Оставим в стороне вопрос о том, что я и вовсе не «интеллектуал»; иначе мне пришлось бы объяснять, почему я пошел не на подготовительное отделение Эколь Нормаль, а в Агрономический институт, почему получил техническое, а не гуманитарное образование, — все это к нашей теме не относится.)

Проблема политической активности заставляет меня вновь заговорить о России. Я был там дважды: в 2000 и 2007 годах. Во время первого визита мне открылась довольно мрачная картина. Пустые московские улицы, и по ним проносятся джипы с тонированными стеклами. В ресторанах и кафе — одни иностранцы; молодежь пьет пиво и водку в подворотнях (в ресторанах бешеные цены, таких денег у москвичей не было). Попадались девицы, одетые как проститутки, остальные женщины — слегка модернизированные «бабушки».

Теперь по Москве не проедешь — повсюду пробки. Машины — сплошные «ниссан микра» и «фольксваген гольф». В ресторанах и кафе полно русских, каждый наслаждается в соответствии со своими финансовыми возможностями. Девушки одеты по моде. Сформировался средний класс, это очевидно. Даже поверхностный наблюдатель заметит: «страшная нищета» не бросается в глаза; *средний класс западноевропейского уровня* (или именуемый так по привычке) возник из небытия как по мановению волшебной палочки.

Именно средний класс голосовал за Путина, единодушно поддержал Медведева; другие политические

деятели не внушают ему доверия. Все поучения Запада (касательно Чечни и всего остального) средний класс решительно отвергает как *недопустимое вмешательство* во внутренние дела России, в полном согласии со своим президентом. Обратите внимание: в отношении внешней политики российское население всецело одобряет действия правительства.

Что же касается «тотального невежества и бескультурья», тут я с вами абсолютно не согласен. В многочисленных книжных магазинах свободно продается вся мировая литература. Книги прекрасно изданы, красиво оформлены и, заметьте, стоят недорого, вполне доступны россиянам. Так что русские постоянно покупают книги, в отличие от бразильцев или даже итальянцев и испанцев.

Вот Солженицына они не любят, что правда, то правда, считают ортодоксальным занудой. Он разочарован в современной России, твердит, что она оторвалась от своей души, не принимает нынешних перемен; признаю: у него для этого есть веские основания. Сомневаюсь, что ночные клубы *поправились бы* Достоевскому, хотя... Мне и самому они не слишком *правятся*, но я с удовольствием провел время с Фредериком. Плюс *пышные блондинки*, корень уравнения вам известен, я немало написал об этом.

В мой последний приезд в Москве у меня был довольно любопытный разговор с представителем Министерства иностранных дел (необычная жизнь у этих людей: проведут несколько лет в одной стране - их перемещают в другую: некогда пустить корни, подружиться с людьми, все дано лишь на время; их интересно послушать). Я напомнил ему, что в послевоенной Франции, несмотря на безвластие — министерскую чехарду Четвертой Республики, — несмотря на безответственность и безволие правительства, эко-

номика развивалась бешеными темпами и достигла небывалого расцвета. Он ответил, что Россию при Путине можно винить в каких угодно грехах, но одного у нее не отнимешь — «стабильности», «однородности властных структур»; и она идет в гору не хуже послевоенной Франции (средний класс набирает силу, идет становление потребительского капитализма).

Он помедлил, а потом прибавил примерно следующее: «В действительности этот процесс свидетельствует о здоровье страны; народ обладает достаточной силой, чтобы выжить вопреки давлению сверху, постоянной регламентации, разрастанию чиновничьего аппарата, по сути паразитарного».

Тут он несколько смутился, сообразив, что и сам принадлежит к чиновникам и официально представляет Министерство иностранных дел. Повисло неловкое молчание, которое я поспешил рассеять: сказал какую-то глупость, засмеялся, заказал еще водки. Прикинулся дураком. Вот вам очередной пример моей странной способности вызывать незнакомых людей на откровенность: ведь он сболтнул *такое* невольно, неожиданно для себя. Мы сменили тему и больше к этому разговору не возвращались.

Итак, уважаемый Бернар-Анри, вот первая причина (на мой взгляд, достойная) моего *отказа* присоединиться к тому или иному лагерю: умеренность позиции, отсутствие убеждений, полнейшая аполитичность. Да, русские едва ли ощущают, что *живут в демократической стране*, боюсь, большинству из них на это наплевать, но кто я такой, чтобы бросить в них камень? Долгие годы я прожил в демократической стране (во Франции) и обладал избирательным правом, которым предпочитал не пользоваться. Несмотря на мое безграничное возмущение, был принят целый ряд отвратительных законов, особенно в области

здравоохранения, но я не мог повлиять на этот процесс. Перечислю все подряд: дурацкий запрет на препараты, якобы содержащие «наркотические» вещества; постоянные, всем надоевшие кампании против алкоголизма; навязывание презервативов всем и каждому; борьба с кокаином, калориями, чем еще? Даже самое ходовое лекарство не купишь без рецепта. А как вам правится апогей государственной глупости, ее наглядное воплощение — многолетняя последовательная безжалостная травля *курильщиков*: теперь их окончательно загнали в угол. Эти общественно полезные меры заставили меня усомниться в том, что я *полноправный гражданин*, затаиться, спрятаться от людей. К сожалению, я ничуть не преувеличиваю, говоря, что понемногу свыкся с печальной истиной: внешний мир враждебен, чужд, пронизан сквозняками нелепых и унижительных предрассудков и ограничений, мне там не место, я незванный гость, меня не ждет ничего хорошего, ничего занимательного. И я стараюсь, выйдя из *своего уютного* дома, поскорей пересечь открытое пространство и скрыться в другом *уютном* доме.

Перед очередными выборами я наводил справки, и всякий раз выяснялось, что кандидаты от разных партий единогласно поддерживают ненавистные мне общественно полезные оздоровительные меры: в *данном вопросе у них полное единодушие*. С какими же мыслями я подходил к избирательной урне? Сам теперь удивляюсь прежней моей добросовестности: я мучительно пытался принять решение, часами читал программы и воззвания; хотел проголосовать за достойнейшего и не мог — неизменно воздерживался. Видите ли, я не ощущал, что живу в *демократическом обществе*. Мне казалось, что это скорее технократия. Нет, я вовсе не считаю технократию злом; вполне возможно, наши правители — люди мудрые

и справедливые. Вполне возможно, мне не следует пить, может даже, мой долг — *бросить курить*.

По большому счету, я совершенно напрасно нападаю на наших славных технократов. Они наверняка получили образование, позволяющее им взвалить на себя тяжкий труд разработки законопроектов. Не сомневаюсь, что *подавляющее* большинство наших соотечественников приветствует предлагаемые ими оздоровительные меры. Меня это *подавляет* в буквальном смысле слова. Приходится признать, что в современном мире действительно мнение большинства превалирует над мнением единиц. Впрочем, никто не мешает мне забиться в нору и там спокойно умереть. В каком-нибудь глухом углу я могу в одиночестве без помех предаваться своим нехитрым порокам.

Кстати, я несколько лет прожил в Ирландии и, надо сказать, чувствую себя намного лучше. Само собой, оздоровительные меры здесь те же, что и повсюду в Европе; ирландцы следят за своим здоровьем ревностней, чем любой другой народ. Зато существенно изменилось мое собственное положение. Ирландские власти ни разу не предложили мне *участвовать в выборах*, не внушали мне иллюзий, будто от меня зависят политические изменения в стране. А главное, налоги я плачу минимальные. В Ирландии приезжие писатели и художники платят в казну на удивление мало, да и коренное население — не намного больше: государственное налогообложение вообще крайне умеренное. Низкий процент налога означает, что собранные у жителей средства идут на самые насущные нужды, бесспорно необходимые: к примеру, на службу общественной безопасности, транспорт, ремонт дорог. Правительство не изобретает экстренных мер, не заставляет народ высказываться по поводу

каких-либо дерзких планов и непременно их одобрять и поддерживать. Его нетребовательность меня успокаивает, избавляет от головолomных вопросов, сомнений и ответственности, одним словом, не мешает быть *аполитичным*. По-моему, государству не следует превышать меру *психологического воздействия* на граждан. Один любопытный факт подтверждает мою теорию: самые разные Церкви, вне зависимости от истории развития и распространения, пришли к единому мнению: с верующих можно брать не более десяти процентов от их доходов.

Несколько лет назад мы говорили об этом: с Сильвенем Бурмо. Упомяну, раз уж к слову пришлось, еще одну достойную причину своего отказа поддерживать ту или иную партию. На мое уважение и расположение к человеку ни в коей мере не влияют его политические убеждения. Я прекрасно знаю, что Сильвен Бурмо — сторонник социалистической морали и справедливости, помешанный на проблемах нравственности, которые лично меня вгоняют в тоску. Тем не менее я ценю его критические статьи о литературе, ценю его честность и проницательность. Он один из немногих французских критиков, к чьему мнению я прислушиваюсь как писатель. Его неодобрение меня огорчает, похвала берет за душу. А главное, он хороший, порядочный человек.

Так вот, в разговоре с Сильвенем я обмолвился, что ничуть не возражаю, чтобы во Франции иммигрантам предоставили самые широкие избирательные права, но решительно протестую против участия в выборах французов, живущих за границей. С чего вдруг, скажите на милость, человек, добровольно покинувший страну, например я, должен участвовать в ее политической жизни? Он задумался, а потом ответил даже не мне, а себе самому, как бы размышляя вслух: «Ну да... Голосовать должны только потребители».



Позднее, вспоминая о той беседе, я вдруг уразумел, что в отношении родного государства, да и любого другого, представляю собой всего лишь потребителя. И хотя это подлое словцо, и Режис Дебрэ<sup>1</sup> огорчился бы, его услышав, во Франции и во всякой стране, где мне вздумалось бы поселиться, я не чувствую себя *гражданином* (откровенно говоря, не чувствовал раньше и едва ли почувствую когда-нибудь в будущем). Я заурядный *обыватель*. Хотя печально осознавать, что принадлежишь к самой что ни на есть презренной и безнадежной категории. Но ведь мы условились говорить правду по мере сил, не так ли?

Теперь остановимся на аморальных причинах моей аполитичности. Вполне естественно, что вы обеспокоены. Не пугайтесь: их перечисление не займет много времени. Я вполне понимаю вас: поездки в Дарфур, опасности, экстремальные ситуации, несомненно, помогли вам лучше узнать себя. Однако и в обычной жизни никто, за редким исключением, не уберется от испытаний, заставляющих подвергнуть собственную персону моральной оценке. Не беспокойтесь: никакого углубленного самоанализа; простой житейский опыт раскрыл мне мою истинную сущность.

Я совершенно не приспособлен к драке и даже в тех редчайших случаях, когда брал верх, не получал от этого удовольствия. На мой взгляд, едва ли не единственное преимущество взрослых перед детьми заключается в том, что их конфликты не обязательно

<sup>1</sup> Леворадикальный философ, журналист и писатель. В 1967 г. как соратник Че Гевары был приговорен боливийскими властями к тридцатилетнему заключению, но через три года отпущен благодаря мощной международной кампании в его защиту.

разрешать насилеи. Меня никогда не завораживало оружие, тем более мне не по вкусу игры-стратегии.

К тому же я органически, физиологически не способен *подчиняться приказам*. Услышав приказ, я внутренне сжимаюсь, цепенею, в моей психике образуется болезненный узелок — к нему не притронешься. Зачастую я трушу и не сопротивляюсь в открытую, а увиливаю, уклоняюсь, делаю вид, что все исполню, когда будет нужно. Однако в последний момент бессознательно, инстинктивно, помимо воли отказываюсь повиноваться и ничего не могу с собой поделать.

Я не умею слушаться и не люблю командовать. Роль начальника играю неохотно, в самом крайнем случае, только если это действительно необходимо.

Вот и представьте себе, какой из меня бы вышел вояка. Нет, уважаемый Бернар-Анри, я не заблуждаюсь на свой счет. В случае настоящей войны (в конечном счете любая идеологическая борьба приводит к войне) от меня будет больше вреда, чем пользы. Ну, пару раз я ударю или выстрелю, смотря по ситуации (хорошо бы это происходило не в реальности, а на экране монитора). Но мгновенно опомнюсь и пойму, что не мое это дело. Боевой пыл и возбуждение быстро угаснут (само собой, сколько-то адреналина может выработать и мой организм). При первой же возможности я *слиняю*, только меня и видели. Нас, дезертиров, сражавшихся недолго и скверно, наберется великое множество. Мы будем робко, молча пережидать в сторонке, пока другим *не надоест валять дурака*. Нам безразлична демократия, свободная Франция, Чечня, будущность басков. Де Голль совершенно прав: «страшная пустота отступничества» неодолимо притягивает нас. Я принадлежу к породе отступников. Никакие глобальные великие проблемы (равно как и локальные и мелкие) для нас не существуют. Большинство людей с покорностью

переносит превратности Истории, но затрагивает их по-настоящему лишь собственная участь и судьбы близких.

Мне в высшей степени неприятно предположить, что избранное мной амплуа эгоиста и жалкого труса вызовет у современного читателя *больше симпатии*, чем ваш хваленый героизм. Но я знаю своих современников. Именно так и случится.

Я бы тоже хотел уподобиться настоящим героям, например далай-ламе. В книге одного тибетского монаха меня потрясло описание некоего духовного опыта. Во время медитации ему представилось, будто он лежит на рельсах, а прямо на него несется поезд. По его словам, истинный буддийский монах должен бестрепетно созерцать, как режут на куски его тело, ведь все переживания иллюзорны. Поверьте, он не шутил и не лукавил: таков его уровень сознания.

Мне до него далеко: мои представления не стоят выеденного яйца. Что-то туманное относительно прогресса то ли научного, то ли технического. Единственное, в чем я твердо убежден с детства, со школьной скамьи: все войны (гражданские, религиозные, захватнические или освободительные) — *пустая трата времени*. Создать паровой двигатель, наладить промышленное производство, справиться с изменениями климата — полезные свершения, не так ли? Я не сам пришел к этому убеждению, меня так воспитали, тут уж ничего не поделаешь.

Мне внушали, что есть хорошие мальчики, которые после школы спешат домой и добросовестно делают уроки на завтра, решают задачи и примеры. А есть плохие, скверные хулиганы, что шляются по улицам, пакостят и затевают драки.

Из одних вырастают честные, трудолюбивые инженеры, которые прокладывают железные дороги

и строят нужные людям здания, а из других — кровопийцы-бездельники, готовые все это разрушить, оправдываясь разными идеями и верованиями.

Неужели я мыслю так примитивно? И настолько все упрощаю? К сожалению, да. До сих пор с глубоким недоверием отношусь к любому, кто защищает истину *с оружием в руках*, какой бы ни была эта истина. Поджигатели войн, революций, зачинщики беспорядков кажутся мне извращенцами. Ведь по существу любая война и революция — разгул насилия, ненависти, разве не так? Жестокое кровавое действо.

Я мучился, сострадал и тем и другим, пока меня наконец не успокоило всем известное изречение старика Гёте: «Лучше несправедливость, чем беспорядок».

Еще больше мне пришлось по душе загадочное в своей крайней обобщенности определение прогресса у Огюста Конта: «Прогресс есть развитие порядка»<sup>1</sup>.

Что ж, теперь и философия примет участие в нашей беседе? Одна беда: пригласить ее мне не под силу, я по-прежнему вдали от своих книг. Не будем беспокоить престарелую мамашу, пусть мирно дремлет. Лучше поговорим об отцах. Вы повторили снова, что следуете благородному примеру своего отца, расскажу и я кое-что о моем, правда, не столь апологетическое.

Сразу оговорюсь: он был слишком молод, чтобы вступить в так называемое Соппротивление. Конечно, бывали исключения, даже пятнадцатилетних, я слышал, расстреливали. Скажем так: он мог бы вступить туда мальчишкой, но не вступил. Случись с ним такое, он не стал бы мне хвастаться, это правда. Но

<sup>1</sup> Из книги «Рассуждение о позитивизме в целом» (1848).

я все равно узнал бы о его геройстве от теток. Это уж точно. Они так гордились братом, даже вырезали из газет все заметки о его экспедициях в Гималаи. В общем, они бы не утаили ни единой мелочи. Так что я знаю точно: подвигов он не совершал.

Разумеется, не был и предателем-коллаборационистом. Не служил ни в нацистской милиции, не состоял ни в одной молодежной организации. Во всяком случае, ничего такого мне не рассказывал. И никогда не обсуждал деятельность генерала де Голля во время войны или политику маршала Петена (хотя, если вдуматься, это довольно странно). Из чего я делаю вывод, что он жил тогда своими радостями и заботами (обыкновенно, как все подростки).

По-настоящему я осознал, что отец был свидетелем войны, лишь однажды, когда он мне рассказал о двух юных участниках Сопротивления, убивших немецкого офицера в вагоне метро. (Не знаю, дружил ли он с ними, но мне почему-то кажется, что речь шла о знакомых.) И знаете, как мой отец относился к подобному героизму? Он считал его «не стоящим внимания».

Отчетливо помню, как он произнес эти слова. Жалею, что не расспросил его подробнее. «Не стоит внимания» — лаконичное и уничтожающее определение, не уступающее дзен-буддистскому коану. Может быть, он хотел выразить презрение к убийству, неизбежным следствием которого было уничтожение десятка заложников-французов? Или давал мне понять, что «Свободная Франция» сама по себе не вызвала у него восторга? Или внушал мне более глубокую истину: люди, убивающие кого бы то ни было, «не стоят внимания», какими бы высокими ни были их цели. Не знаю и, видимо, не узнаю. Однако, как видите, влияние отца оставило отпечаток и на моем мировоззрении.

21 марта 2008 года

Не знаю, кто из нас двоих будет признан лучшим «записывающим устройством».

Но должен заметить, дорогой Мишель, вы слишком увлеклись «исповедальным жанром», чересчур разошлись, забавляя простодушных читателей.

Давайте начнем сначала, спокойно, умерив полемический задор и, главное, не впадая в ярость. (Вполне возможно, что за время нашего дружеского поединка вы заслужили симпатии всех насмешников и шутников, людей с чувством юмора — которого у меня, как известно, нет, да я и не собирался упражняться в остроумии...)

Само собой разумеется, в последнем письме меня насторожила вовсе не ваша аполитичность, неучастие в выборах, размежевание с обществом по принципу: «Мне здесь не место, отныне я ухожу — вернее, уже ушел». Буду перебегать из укрытия в укрытие, из одного уютного дома в другой, не принадлежу ни к одному лагерю, не служу никакому государству, я свободен, я выше всей этой возни. Мое кредо — «I'd prefer not to»<sup>1</sup>, как у писца Бартлби из одноименной повести Германа Мелвилла. «Возможность острова» — чем такое определение хуже любого другого?

<sup>1</sup> «Я бы предпочел отказаться» (англ.). Перевод М.Лорие.

Меня не смутило, что вы платите налоги в чужой стране. Хотя я сам поступаю иначе. «Технически» и у меня есть возможность уменьшить свои расходы, учитывая, сколько времени я провожу в Америке, сколько разъезжаю по свету в качестве журналиста, сколько путешествую. Мой адвокат, дока в своем деле, подсчитал, что я бываю в Париже меньше полугода, меньше пресловутых «шести месяцев», то есть формально я не «резидент», обязанный платить налоги. Но я ни разу не воспользовался его выкладками, я исправно, в срок, как добропорядочный гражданин, вношу распроклятую мзду. А почему? Сказать по совести, я не уверен, что из одного только чувства долга. Или из бескорыстной любви к своей стране. Честно говоря, мне не хватает вашего нахальства. Я опасаясь, что мне, громогласному обличителю-гуманисту, такая шалость не сойдет с рук. («Как же так, уважаемый! Нас обвиняешь во всех смертных грехах — мы, мол, злодеи, ради комфорта и наживы позабыли о чести и совести, — не прощаешь ни единой ошибки: того разоблачил, этого потопил, а сам припрятал денежки в Ирландии или на Мальте, ах негодяй! Теперь мы всё про тебя знаем! А еще кричит: „Голосуйте за ту, прокатите этого!<sup>11</sup>») Не стану лицемерить: мне тут явно нечем гордиться.

Ужасным, непростительным мне показалось не ваше отношение к войне. Вас тошнит при одной мысли о ней, вы обвиняете себя в малодушии, представляя таким «бравым солдатом Швейком», непокорным и непочтительным персонажем Гашека. Вы приписываете себе неспособность подчиняться приказам, воинствующий анархизм, нарочитое добродушие, склонность к дезертирству, вероломному увиливанию, молчаливому бунтарству. Бросьте, мы все одним миром мазаны. Только дурни бросаются очертя голову навстречу опасности. «Смелыми» в вашем понимании молено

назвать разве что героев глупейших романов Дриё ла Рошеля, Юнгера или Монтерлана.

Признаюсь: в действительности я ничуть не храбрее вас. Звериная жестокость — а я вдоволь насмотрелся на нее в Сараеве, Африке, Афганистане, Южной Азии — внушает мне, так же как и вам, панический страх. Тем более что знаю о ней не понаслышке, мгновенно, даже на огромном расстоянии, ощущаю ее жаркое смрадное дыхание. Не представляете, как позорно я струсил в 1998 году в Панджшерском ущелье, где оказался по заданию газеты «Монд». Во время интервью с Масудом в нескольких метрах от нас разорвался 155-миллиметровый снаряд: Масуд и бровью не повел, а ваш покорный слуга буквально спрятался за него... Да, я прославлял Масуда, а с боснийским президентом Изетбеговичем меня связывала дружба, но уважал я их не за отвагу и хладнокровие, а за способность «воевать, не любя войну»<sup>1</sup>, цитируя того же Мальро. Так что и здесь у нас с вами, в общем, нет разногласий. Настал мой черед вас успокаивать (или разочаровывать?): не волнуйтесь, вы отнюдь не «трус», а вот «смешной» вы или нет — не знаю.

И все-таки в вашем письме есть две вещи, с которыми я не могу согласиться. Во-первых, рассказ вашего отца, во-вторых, отвратительное высказывание Гёте о несправедливости и беспорядках.

Начнем с рассказа.

В самом деле, жаль, что вы не удосужились расспросить отца поподробнее, у вас не хватило времени, недостало любопытства.

Согласитесь, так часто бывает.

<sup>1</sup> Роман-эссе «Орешники Альтенбурга» (1942).



Пока родные с нами, мы заняты чем-то другим.

Спохватимся — их больше нет, или они отделились, и ни о чем не спросишь — неловко.

Две недели назад я наконец пересилил себя и отважился позвонить тетушке, старшей сестре мамы, ей исполнилось девяносто четыре года, — обратите внимание, на этот подвиг меня вдохновил наш с вами диалог. Надумал поговорить с последней свидетельницей стольких событий (замечу в скобках, и первой свидетельницей моего появления на свет: тетушка была акушеркой в Бени-Сафе в Алжире — перед родами мама вернулась в свой родной город). Но как только решишься, убедишь себя: «Не глупи, не бойся загадочных семейных преданий, белых пятен, трудных тем, смелее, поговори обо всем, узнай!» — как назло, оказывается, что ты поздно спохватился. Тетушка умерла за несколько дней до звонка, девятого марта, в далеком Мелуне (городишко в Алжире, рядом с Бени-Сафом), — и это очень печально.

Но ваш случай еще печальнее.

Думаю, вы понимаете, что история с немецким офицером, убитым двумя подпольщиками, которую вам рассказал отец, коротко обронив при этом «не стоит внимания», затронула в вас что-то очень существенное, и затронула самым пагубным образом, потому что вам ведь и не понадобилось больше никаких объяснений, вы их не захотели.

А это значит, что для вас перестала существовать разница между нацистом и мальчишками-подпольщиками.

Не важно, что защищают люди — «Свободную Францию» или бесчеловечный расизм, — их идеи в равной степени «не стоят внимания».

И значит, вы отрицаете и войны за правое дело. Когда грязное насилие торжествует и грозит уничтожить все человечество, приходится с ним сражаться,

иного выхода нет. Да, мы не любим битв, дорожим покоем и миром, но с болью в душе, через силу, против желания нужно бороться и победить.

Тем самым вы смешиваете абсолютное зло — нацизм - и отчаянное сопротивление злу: подпольщики вынуждены прибегнуть к жестким мерам, они и себя не щадят, лишь бы положить предел страшной заразе. Выдвигая сомнительный лозунг (цитирую дословно): «Не доверяй никому, кто защищает истину с оружием в руках, какой бы ни была эта истина», вы походя валите в одну кучу басков-сепаратистов (хотя вам известно, что это безжалостные террористы, убийцы мирных жителей, враги настоящей демократии) и чеченцев (ведь вы, наверное, слышали, что они прибегали к терроризму в редчайших случаях, а против них развязана тотальная война с целью уничтожить весь народ; президент-кагэбэшник поклялся, что перебьет их всех до единого, «замочит в сортире» — это собственные слова Путина).

Простите, что поучаю вас, дорогой Мишель.

Я не должен вас поучать, вы и без меня все отлично знаете.

И все-таки опомнитесь, вы пошли дальше Гашека.

Дальше революционеров 1917 года и героев фильма Франческо Роззи «Люди против».

Дальше гротесковой и трогательной неразберихи «Комедии Шарлеруа»<sup>1</sup> Дриё ла Рошеля.

Вы докатились до «глобального пацифизма» Жана Жионо. Нет надобности напоминать, что пацифизм привел автора великолепных произведений «Жан-новобранец» и «Король без развлечений» прямиком к коллаборационизму Петена, и в этом прослеживается неумолимая логика.

<sup>1</sup> Сборник новелл о Первой мировой войне (1934).

Надеюсь, вы понимаете, что вашего отца я ни в чем не виню.

Вполне допускаю, что существует тысяча объяснений его странному высказыванию: скромность, сдержанность, осторожность, стремление выгородить кого-то, — двойная игра конспиратора, как в фильме Рене Клемана «Благонадежный папаша». Меня это не касается.

Мне важно только ваше отношение к его рассказу.

Я глубоко потрясен выводами, которые вы из него сделали, вашим внутренним согласием с данной ему безнадежной и бесперспективной оценкой, а главное тем, что вы и сегодня делаете вид, будто это различие вас устраивает.

Можно служить искусству, дорогой Мишель, и все равно откликаться на зов Истории — вспомните Рембо, воспевавшего Парижскую коммуны.

Можно стремиться к совершенству, писать только о возвышенном и в то же время прислушиваться к стонам страдальцев. В ныне почти забытой статье «Конфликт»<sup>1</sup> Малларме, нисколько не изменяя поэзии, все же видит в железнодорожных рабочих, землекопах, братьев по неприкаянности и хотел бы, чтобы для «незрячего стада» засияли «точки света».

Можно, наконец, подобно Прусту, быть «писателем-флейтистом», по определению маркиза де Норпуа. Ощущать враждебность общества, мгновенно заболеть на «сквозняке предрассудков» и считать, что единственное достоинство внешнего мира — возможность переходить из одного «уютного дома» в другой. Все это не мешало Прусту безошибочно, с чуткостью

<sup>1</sup> Из сборника «Разглагольствования» (1897). «Конфликт». *Перевод И. Волевич.* В книге С. Малларме «Сочинения в стихах и прозе».

радару улавливать, какова позиция собеседника в отношении дела Дрейфуса.

Имеющий уши да слышит.

Перейдем к словам Гёте.

Позвольте напомнить вам, что он произнес их (они звучали несколько иначе: «Лучше уж допущу несправедливость, нежели потерплю беспорядок»<sup>1</sup>) во время Великой французской революции. В Майнце после капитуляции еще до вступления в город армии веймарского герцога писатель не позволил жителям расправиться с приверженцами якобинцев. Под «несправедливостью» подразумевалось милосердие к врагу, пусть даже преступнику. Под «беспорядками» — кровожадность толпы, обезумевшей от злобы, готовой растерзать кого угодно. Так что в действительности Гёте вкладывает в эти слова совершенно другой смысл, противоположный тому, что навязали ему вы, что с легкой руки Барреса навязывают ему все кому не лень.

Но речь сейчас не о Гёте.

Я ненавижу этот расхожий афоризм — его цитирует каждый, в том числе и вы.

Ненавижу из-за Барреса, ведь он первый извратил его суть.

Ненавижу из-за оболганного Дрейфуса: Баррес считал его виновным и поносил проклятых «интеллектуалов», вставших на защиту несчастного.

Из-за всех несправедливо осужденных, подобно Дрейфусу, начиная с Дрейфуса; пострадавших ради мнимой государственной пользы, приговоренных без колебаний, без угрызений совести, не раздумывая.

Ненавижу, поскольку им утешаются судьи, которые, даже узнав о «новых обстоятельствах», свиде-

<sup>1</sup> Афоризм из автобиографического очерка Гёте «Осада Майнца». Цит. по книге К. О. Конради «Гёте. Жизнь и творчество». *Перевод С. Тархановой.*

тельствующих о невинности осужденного, — а такое хоть раз да случается в карьере каждого, — закрывают на них глаза: дело кончено, и возвращаться к нему неохота. Зачем запускать по новой громоздкий сложный механизм, зачем тревожить правосудие понапрасну, зачем порождать сомнение в его непогрешимости, подрывать устоявшийся авторитет? Лучше оставить все как есть, надеть домашние шлепанцы и спокойно сесть за ужин. Действительно, несправедливость предпочтительней беспорядка...

Недавно мне случилось провести вечер в обществе знаменитого судьи *Филиппа Курруайе*. Когда-нибудь я поведаю вам поучительную историю нашего с ним знакомства. Пять лет назад он целое утро допрашивал меня по делу о финансовых махинациях, к которым я, хвала небесам, не имел ни малейшего отношения. Но должен заметить, в моей правдивости окончательно убедила его одна художественная деталь, в самом деле художественная. Подробнее о допросе расскажу в другой раз, может, в следующем письме, если только имею право разглашать суть расследования (в чем я не уверен). Сейчас речь о другом. Во время нашей последней встречи *Курруайе* говорил о недавнем, совсем недавнем уголовном деле, которое попало к нему в руки сейчас же по назначении его государственным прокурором Нантера. Одного человека судили за тяжкое преступление. Сочли, что его виновность доказана, вынесли приговор. Однако грозный прокурор *Курруайе* ознакомился с материалами следствия, и его охватили сомнения. Обвиняемый, человек мало-развитый, вполне мог себя оклеветать, представ перед судом таким Пьером Ривьером — сумасшедшим материальной XIX века, только вполне вменяемым. В ответ на просьбу провести следствие, а в перспективе и возобновить судебную процедуру коллеги-юристы лениво и вяло мямлили: «Да зачем?» С тех

пор как осудили Дрейфуса, прошло больше века, но отголоски его дела слышны и поныне: наше правосудие по-прежнему упорно не желает признавать и исправлять свои ошибки, восстанавливать справедливость и руководствуется все той же подлой страшной формулой: «Несправедливость лучше беспорядка».

*Курруайе* уж точно не сторонник левых убеждений, о которых вы рассуждали.

Мы с ним не принадлежим к одному политическому лагерю, не сходимся в вопросах идеологии.

Но в данном случае он оказался прав.

Поговорив с ним на приеме и потом, прочитав ваше письмо, я порадовался, что среди представителей власти есть люди, готовые поступиться порядком ради справедливости.

До чего же все-таки вредная формула!

Общепотребительная, общедоступная, к ней прибегают все, не только судьи. И повсюду она разносит тот же яд.

Она приходит на ум всякому, кто не хочет печалиться о жестокой участи маленького народа, ведь его страдания не нарушают стройности общемирового порядка.

Ее бормочут сквозь зубы, *in petto*<sup>1</sup>, подлещы, когда их умоляют заступиться за горстку тибетских монахов, — ну да, и тибетским монахам нужна помощь, не все же они бесплотные духи, как далай-лама, не всем доступен мистический опыт гибели под колесами поезда! Но подлещам недосуг, они боятся, что не выгорят их подленькие дипломатические делишки.

Что значит несправедливость по отношению к маленькому Тибету в сравнении с величайшими беспорядками, которые начнутся, если мы, не дай бог, разозлим китайцев, а те нам в отместку постараются

<sup>1</sup> Про себя (*um.*).

обесценить доллар и не придут на помощь крупнейшим банкам «Голдман Сакс» или «Леман Бразерс».

Ею оправдывались соседи злополучной семьи N, сдавая ее гестапо, вернее, французской «милиции» июльским утром: 1942 года<sup>1</sup>. Подумаешь, какое-то еврейское семейство! Вся Франция страдает! Полиция под предводительством доблестных Рене Буске и Мориса Папона<sup>2</sup> из кожи вон лезет, спасая всех, кого можно спасти, раздавая детишкам одеяла! Зачем призывать на себя гнев Божий, нарушать порядок? Лучше уж маленькая: несправедливость, ведь так?

Убийственная, бесчеловечная формула.

В высшей степени отвратительная.

Мне не хотелось бы вас обидеть, но я откровенно говорю то, что чувствую: от этой мерзкой формулы у меня кровь стынет в жилах. Меня бесконечно огорчает, что вы присваиваете ее походя, невзначай, да еще хвалитесь, будто тем самым: завоюете симпатии современников. С чего бы это, скажите на милость?

Попробую выразиться яснее.

Или туманнее — как получится.

<sup>1</sup> В июле 1942 г. оккупационные власти поручили префектуре парижской полиции организовать массовые облавы для депортации евреев. Милицией в то время называли активных пособников нацистов, добровольно сотрудничавших с гестапо.

<sup>2</sup> Буске — генеральный секретарь полиции при режиме Виши. Папон — генеральный секретарь префектуры Жиронда во время нацистской оккупации. Обвинения в преступлениях против человечности были выдвинуты против них лишь в конце XX в., но в 1993 г., когда следствие против Буске было закончено, некий Кристиан Дидье застрелил его. Папона в 1998 г. за пособничество в преступлениях против человечности приговорили к десяти годам заключения, а через три года освободили из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Умер он в 2007 г. в собственной постели. Многие утверждали (и утверждают), что оба они старались спасти от депортации хотя бы французских евреев, особенно детей.

Вы можете обвинить меня в том, что я «преувеличиваю», «принимаю на свой счет», что моя аргументация несостоятельна. Пусть так, но вы сами выбрали эти кости, так что не обижайтесь на мой бросок...

Проклятая формула жжется, как огонь.

Проклятая формула в нас все выжигает.

Она задевает меня за живое.

Я физически не могу ее вынести, не потерплю ни от кого, тем более от вас. Она пробуждает во мне затаенные глубинные страхи, иррациональный подсознательный ужас перед смутной опасностью, скорей всего мнимой, воображаемой. Должно быть, я инфантилен, но честно признаюсь: мне кажется, что когда-нибудь *я сам* стану жертвой узаконенной несправедливости.

Бывают такие странные предчувствия.

К примеру, я точно знаю, что именно напишу напоследок, и даже догадываюсь, какую книгу буду читать перед смертью.

Что-то нашептывает мне и *всегда* нашептывало, с какими удивительными людьми мне еще выпадет честь познакомиться.

И тут то же самое. Как это ни глупо, в душе я уверен, что однажды — не знаю когда, где именно, при каких обстоятельствах, в качестве ли писателя, политического обозревателя, подсудимого или врага нового режима — я услышу: «С Леви поступили несправедливо? Жестоко? Бесчестно? И правильно! Так ему и надо, сам напросился, нечего было выпендриваться. Лучше, в тысячу раз лучше растоптать одного Леви, чем нарушить порядок мироздания!» Приговор прозвучит так уверенно, праведно и неотвратимо, что никто не вздумает его обжаловать, никто не будет спорить, возмущаться, защищать меня.

Я представляю Солаля (его образ преследует меня с лета 1968 года, когда я впервые прочел тетралогию



Альбера Коэна): в пятой главе «Прекрасной дамы» он прячется в берлинском подвале, отверженный, отовсюду изгнанный, лишенный привилегий, покинутый всеми, кроме карлицы Рахили.

Вспоминаю заключительные страницы книги Эмманюэля Левинаса «Имена собственные» (перескажу приблизительно, по памяти; у меня тоже нет под рукой моих книг, нет даже интернета; я сейчас в Бразилии, в Сальвадоре-да-Байя). Мне часто приходит на ум его мрачное описание беспечного французского еврея, самоуверенного, благополучного, состоятельного, разносторонне одаренного, образованного, окруженного друзьями, принятого в лучших домах. Он без страха глядит в будущее, но внезапно налетает холодный ветер, опустошает его жилище, срывает ковры и шторы, превращает его жалкую роскошь в лохмотья и ворох лоскутьев, а вдали уже слышатся злобные крики разъяренной толпы...

И еще я размышляю об участии лавочника Альфреда Илла, персонажа пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Надеюсь, вы читали Дюрренматта? Если нет, то прочтите незамедлительно. Хоть он и не Гёте, однако произведет на вас впечатление. Его гениальная пьеса тоже лет двадцать не дает мне покоя. В Гюллен, крошечный городок, некогда процветающий, ныне разоренный, где, кстати, по преданию, останавливался сам Гёте, возвращается «старая дама». Здесь прошло ее детство. Потом она уехала. Разбогатела. И теперь явилась, чтобы с безудержным бахвальством и помпой разыграть новый вариант притчи о блудном сыне. Исполдволь, но умело и энергично она подготовила почву, а затем заявила оторопевшим землякам: «Помните Клару, дочь каменщика? Она любила Альфреда, но он бросил ее, как только она забеременела. Девчонка вынесла все муки ада: жители выгнали ее как воровку, травили, издевались

над рыжими косицами и огромным животом. Та несчастная — это я. И теперь я вернулась, чтобы отомстить и в то же время спасти родной город от нищеты: ведь вы все разорились, не так ли? Заводы закрыты. Молодежь без работы. Дорогие граждане Гюллена, друзья! Я подарю городу пятьсот миллионов и еще пятьсот миллионов разделю между всеми жителями. При одном условии: вы убьете человека, что предал меня тогда. Миллиард в обмен на его голову». Естественно, горожане запротестовали: «Шантаж! Оскорбление нравственности! Разве честные люди, законопослушные европейцы пойдут на такую сделку?!» Старая дама с затаенной улыбкой ответила: «Ничего страшного. Я подожду. Вы еще сто раз передумаете. Поживу пока в гостинице „Золотой апостол“ на привокзальной площади со своим восьмым мужем, миллиардами, горой чемоданов и многочисленными слугами и горничными». Развязка вполне предсказуема. Сначала все вдруг обрядились в новенькие желтые башмаки и туфли, франтовство охватило город, как эпидемия. Девушки надели модные платья. Юноши — яркие пестрые рубашки. Альфред Илл ловит со всех сторон косые взгляды, в испуге бросается к полицейскому, но с величайшим удивлением обнаруживает, что у того во рту сияет новенький золотой зуб. Илл надеется, что его защитит священник, но в церкви уже звонит новый колокол. В каждом доме появился телевизор, зашумела стиральная машина. Дорогого пильзенского пива — хоть залейся. Достаток растет на глазах. В общем, вы поняли. Старая дама не ошиблась в расчетах: жители понемногу, да-да, понемногу увлеклись приобретательством, позволили себе некоторую роскошь. «Ну его, этого Альфреда! В конце концов, старая дама по своему права. В свое время он поступил с ней как последняя скотина. Да и теперь не изменился. Такой

же мерзавец. Раньше мы просто не замечали, что он двуличный негодяй. Разве он не понимает, в какую отвратительную передрыгу попал весь город по его милости? Ведь она говорила в его присутствии. И он не хуже нашего знает, что способен одним словом, одним движением спасти металлургические заводы X и прокатные станы предприятия Y, вернуть городу благоденствие. Мы, понятное дело, возмущены и защищаем его, мы верны закону и добродетели. Но это хорошо! Он мог бы поступить благородно. Говорит, что любит родной город, но не желает ничем пожертвовать ради него. За давностью лет это, мол, несправедливо. Старуха спятила, нельзя потакать ее прихотям. Грязный трус. В чем же тут, спрашивается, несправедливость? Как он смеет рассуждать о справедливости, когда на карту поставлено общее благоденствие? Эгоист! Злодей! А мы, дураки, были так добры к нему!» Я не помню деталей. Но верно передаю общий смысл. В последней сцене бедный Альфред бесславно гибнет, горожане приканчивают его в углу бакалейной лавки. Ценой незначительной несправедливости в Гюллене восстановлены порядок и благолепие...

Я знаю писателей, что воображают себя Селином, Прустом, Полем Мораном, Дриё ла Рошелем, Монтерланом, Роменом Гари.

Один мой приятель, талантливый прозаик, когда у него плохое настроение, становится перед зеркалом и торжественно декламирует «Оду Жану Мулену»<sup>1</sup> Андре Мальро.

В удачные дни я — Солаль, сидящий в подвале, покинутый всеми, кроме верной карлицы.

<sup>1</sup> Герой Сопrotивления, замученный гестапо и в 1943 г. умерший в поезде по пути в концлагерь. Его именем назван Лионский университет.

В скверные — бакалейщик Илл, полуподлец, полужуртца, растоптанный толпой своих ближних.

Мне также не дает покоя эпизод из биографии Марка Блока (вполне реальный, увы: лет десять назад его обнародовал один швейцарский исследователь). «Преданный друг» Люсьен Февр, спасая их детище, журнал «Анналы экономической и социальной истории», умолял Блока уступить немцам, ведь те просили о крошечном одолжении: всего лишь вымарать его имя из выходных данных. «Как можно медлить?! — негодовал Февр, — О чем гут раздумывать? Что за капризы? Месье еще смеет взвешивать „за“ и „против“, становиться в позу, мудрствовать лукаво, рассуждать о великих принципах?! Недопустимый эгоцентризм! выпячивание своего „я“! вопиющее пренебрежение, безразличие к общему делу!» Конечно же Блок сдался на уговоры. Но сдался не сразу, хотя другого решения и быть не могло. Как же он, злодей, все усложнил, запутал! Зачем кочевряжился?

Повторяю, мой последний аргумент несостоятелен.

Мне совестно, что в подобном контексте я упомянул Марка Блока, ведь нацисты его схватили, пытали и расстреляли<sup>1</sup>. Я ни в коей мере не претендую на сходство с этим удивительным человеком.

Вы вольны упрекнуть меня в непоследовательности. Недавно я заявлял, будто абсолютно свободен от «комплекса жертвы», а теперь признаюсь, что постоянно воображаю ужасающие картины.

<sup>1</sup> Как участник Сопrotивления, в 1944 г. Марк Блок был схвачен гестапо и через несколько месяцев расстрелян. Он погиб со словами: «Да здравствует Франция!» «Я еврей, — писал Блок, — но не вижу в этом причины ни для гордыни, ни для стыда и отстаиваю свое происхождение лишь в одном случае: перед лицом антисемита».

Что поделаешь. Думаю, мы все имеем право на некоторую противоречивость. В свое оправдание скажу лишь одно: моему «дневному» сознанию — обыкновенному, трезвому, ясному — «комплекс жертвы» действительно чужд. А вот «ночная», подсознательная сторона, скрытая, зачастую неопределимая словом, уязвима и неподвластна разуму — тут мне нечем гордиться.

Во всяком случае, я честно признался.

В том, что меня одолевают кошмары, призраки реальных и литературных страдальцев. Втайне я разыгрываю такие древние мистерии.

Я заплатил скромную дань мелодраме или паранойе — как вам больше нравится.

*24 марта 2008 года*

Нет, уважаемый Бернар-Анри, на самом деле у меня не было намерения вас огорчить или вывести из себя. Беда в том, что, по-моему, я вовсе не искажил смысл речения Гёте: ничего другого он не подразумевал.

Вполне возможно, что несправедливость заключается в избавлении от смерти якобинца (или нациста), величайшего преступника по определению (допустим, впрочем, что конкретный якобинец не совершал никаких преступлений).

Но любое убийство без суда — нарушение порядка, тут не поспоришь. В этом, напомню, весь смысл подобных акций: Соппротивление стремилось посеять панику среди оккупантов, каждый немецкий солдат должен был находиться в постоянном страхе, спускается ли он в метро или идет по улице.

Еще худший беспорядок — линчевание того же якобинца или нациста; уточним: худший, поскольку толпа страшнее любого партизанского отряда и смерть в этом случае особенно ужасна. Впрочем, не будем преувеличивать, она может наступить мгновенно: кто-нибудь в толпе всегда переусердствует. Но и нескольких мгновений перед лицом разъяренной орды хватит, чтобы ощутить весь ужас такого конца, так что предыдущим замечанием я просто пытался себя утешить.

Заложить бомбу в людном месте — тоже вопиющее нарушение порядка. Анархисты, мусульмане-фундаменталисты из Аль-Каиды... За всю историю человечества немногие *оправдывали* террор (зато многие готовы его применять — таких, увы, хватает в любое время).

Так что я непримиримый враг беспорядка. И глубоко уверен: самые чудовищные несправедливости совершаются не во имя порядка, а ради его уничтожения.

Мнение Гёте разделяют не одни подлецы. Действительно, человек, наделенный властью, обязан мгновенно принять решение, *не важно какое*, несправедливое, половинчатое, лишь бы остановить разгул «толпы», «улицы» — огромного дурного чудовища, легко возбудимого, ненасытного, кровожадного и нечистоплотного. Так же как не одни подлецы убеждены, что цивилизация — лишь слой грима, сглаживающий жуткие черты этого древнего чудовища. Чтобы убедиться в этом, не нужно погружаться в хаос гражданской войны. Достаточно понаблюдать, как терзают жертву дети или подростки, об этом мы с вами уже говорили. Или оказаться среди толпы в момент паники в замкнутом пространстве, откуда трудно выбраться. Люди мгновенно начинают драться и затаптывать друг друга. Давайте лучше обсудим что-нибудь более жизнеутверждающее.

Я понятия не имею, какой смысл вкладывал в слова Гёте Баррес. (И, честно говоря, не понял, отчего отмена неправильного приговора и возобновление судебной процедуры нарушают порядок? По-моему, именно так, в рамках законности, и должно действовать правосудие.) Я вообще ничего не знаю о Барресе. Кажется, когда-то начал было читать «Одухотворенный холм», но быстро сник, заскучал и бросил. Так что в приверженности к Барресу меня трудно заподозрить.

К тому же мне говорили, будто он националист. А я не жалу на националистов. На мой взгляд, человек

преисполняется непомерной национальной гордостью только в том случае, если ему больше нечем гордиться.

Впрочем, догадываюсь, что вы мне ответите: «Баррес — выдающийся писатель. Вы начали не с той книги». Тогда укажите, что я должен прочесть. Пока же Баррес для меня, откровенно говоря, — пустое место.

Так что подождем, пока я прочту Барреса. А немецкий офицер? Просто-напросто, я не смог бы его убить. Мне и поросенка было бы жалко. Вы правы, это не проявление трусости (во всяком случае, не только трусость). Есть формула, простая, вроде бы безобидная, однако, с моей точки зрения, она средоточие зла, всех мыслимых преступлений; подобно вам, я ее органически не выношу, ненавижу: «Цель оправдывает средства». (Пожелай я вас уязвить, я бы признался, что боялся обнаружить ее между строк вашего письма, после всех этих «с болью в душе, скрепя сердце, против желания», но, слава богу, вы ее так и не произнесли.)

Я, наверное, мог бы убить по закону, приводя приговор в исполнение. Если бы оказался в расстрельной команде. (Искренне радуюсь, что никогда там не оказывался, но знаю, что сумел бы выстрелить, да, сумел бы, будь я уверен, что преступника осудили по закону; а вот встретиться с ним взглядом не решился бы; оттого осужденному и завязывают глаза.)

И наконец, последний пункт в перечне наших разногласий: не вижу ни малейших оснований противопоставлять басков чеченцам. Баски (вернее, некоторые из них) мечтают о собственном суверенном государстве. Они сражались за свою независимость при Франко, продолжали борьбу при различных формах власти в Испании. И даже если теперь их враг — демократическое государство, суть конфликта не изменилась и цель все та же. Я почти ничего не знаю о чеченцах, но



мне кажется, что за последние столетия никакой суверенной Чечни не существовало. Время от времени чеченцы бунтуют и опять-таки пытаются отстоять свою независимость (кажется, еще Толстой писал об этом), а любое русское правительство умиряет их, обычно силой оружия. Своего мнения я не изменю и настаиваю: война в Чечне — *внутреннее дело России*.

Что дает народу право на самостоятельность? Древность происхождения? Сплоченность и желание выбрать свой путь? Меня занимает этот вопрос. Ведь если речь идет о выборе, о самоопределении, проведите референдум — чего проще? К примеру, на Корсике результат не вызывает сомнений (говорю это, потому что немножко знаю, что там происходит). А что скажет большинство басков, чеченцев, валлонцев? Признаюсь честно: не представляю.

Тибет — иное дело. Он обладает многовековой, тысячелетней историей. Это уникальное буддийское государство, по сути теократия. И вот полвека назад на его территорию незаконно вторглись китайские коммунисты. Естественно, возникло сопротивление агрессору, и возглавил его духовный вождь тибетцев, далай-лама. Ему пришлось уехать из страны. Но сопротивление продолжается.

Я отнюдь не считаю далай-ламу «бесплотным духом»; это дальновидный политик, блестящий дипломат. В настоящий момент он отказался бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, и на то у него, вероятно, были веские причины. Ему, как всякому человеку, свойственно ошибаться, однако я не сомневаюсь, что в основе каждого его действия — тонкий расчет.

Более того, выбор тактики неагрессивного сопротивления, безукоризненной с точки зрения нравственности, отказ от насилия тоже можно считать

особым расчетом, который далеко не всегда приводит к поражению.

Над знаменитой фразой Сталина: «*Папа Римский? А сколько у него дивизий?*» — можно теперь посмеяться, если вспомнить, как сильно поспособствовал Иоанн Павел II развалу коммунистической системы спустя несколько десятилетий. Сталин вообще был дураком. Выразимся повежливее: он слишком односторонне оценивал человеческую природу.

Вообще человек редко бывает благородным, достойным восхищения существом — утверждая это, я ломлюсь в открытую дверь. Попробую осторожно протиснуться в приоткрытую: зато люди в большинстве своем восхищаются недоступным им благородством. А тибетское сопротивление агрессору с самого начала вызывало к себе *невольное уважение*. И оказывается, что вот это-то заслуженное уважение в конечном счете и есть беспроегрешная стратегия.

Не помню, какой идиот сказал дурацкую фразу, похожую на тему школьного сочинения: «У кантианства были бы чистые руки, но, увы, у него вовсе нет рук»<sup>1</sup>. Лучше бы он промолчал, думаю, потом ему стало стыдно. Нравственный закон обладает силой и реальной властью — у него сильные руки.

Тибет отстаивает не национальную идею, расплывчатую, спорную, если брать ее в исторической перспективе. Весь мир — свидетель: Тибет отстаивает нравственный закон, да-да, ни много ни мало! Кроткие, незлобивые жертвы агрессии — его живые воплощения. Их одушевляет вовсе не национальное самосознание — призрачное, несостоятельное, глуповатое самодовольство пополам с неумной мстительностью. Они верны духовным ценностям: есть ли на

<sup>1</sup> Цит. по кн.: *Шарль Пегги*. Мысли. Галлимар, 1934.

свете что-нибудь надежнее? По сути, они непобедимы.

Не подумайте, будто я превозношу религиозные ценности. Исламские фундаменталисты сейчас идут по миру с огнем и мечом во имя религии, и особенно опасными и безжалостными делают их именно духовные идеалы.

Нацисты тоже радели о нравственности, высокой нравственности. Вы знаете лучше меня, что и у них были возвышенные устремления, своеобразная религия. Нацизм поклонялся одной-единственной святыне (говоря о религии, я не имел в виду мешанину из обрывков германской и скандинавской мифологий; еще Честертон шутил, что нынешний вольнодумец, вздумай он за вечер сочинить богохульство, способное разгневать древнего Тора, не получит ничего, кроме головной боли) \*.

Но нацизм уничтожила другая святыня — можно ведь и так рассматривать исторические события.

Столкновение двух святынь, двух духовных традиций всегда приводит к беде, к настоящей беде. Вот почему я думаю, что конфликт между Израилем и Палестиной едва ли разрешится благополучно.

Я раз и навсегда стал врагом ислама, так же как Морис Дантек<sup>2</sup> (мы по-разному отстаиваем свою позицию и пришли к ней по неодинаковым причинам).

<sup>1</sup> Возможно, Уэльбек имеет в виду очерк Андре Моруа на смерть Г. К. Честертонa: «Понаблюдайте-ка за старым английским полковником, когда он гневается. Какое ругательство для него самое привычное? Помянет ли он, по утверждению господ историков саксонского толка, бога Тора? *By Thor!* Да ни за что на свете! Он помянет Юпитера. *By Jove!* А это доказывает, что подсознание расы пронизано латынью».

<sup>2</sup> Французский писатель, рокер, создатель недетектива, живущий в Канаде, открыто называет себя сионистом и католиком-футуристом. Убеденный антиисламист, он считает «столкновение цивилизаций» неизбежным.

Морис уверовал, ему можно только позавидовать. Мой же выбор продиктован исключительно соображениями нравственного свойства. В данном случае я абсолютно беспристрастен. Во-первых, насколько я знаю, во мне нет ни капли еврейской или арабской крови. Во-вторых, иудаизм и ислам в равной мере мне чужды. Но между враждующими сторонами есть одно существенное отличие, для меня решающее: одни в *слепой ненависти взрывают всех подряд*, другие отвечают *точечными ударами*. Видите, какое значение я придаю *средствам*! От них во многом зависит, что я думаю о *цели*.

Всё, всё, всё. Теперь я доказал на деле, что умею не хуже вас поучать/вещать/исповедоваться (ненужное зачеркните). Вернемся к менее мрачной теме, к *самоопределению нации*. Тут нам тоже придется начать издали. Несколько лет назад в одной популярной брошюрке<sup>1</sup> меня (вместе с Морисом Дантеком, Филиппом Мюрэ и некоторыми другими) причислили к *неореакционерам*. Сначала меня это позабавило. Но через пару недель я почувствовал себя уязвленным. Не потому, что прослыть *реакционером* считается позорным, — это дурацкий предрассудок. А потому, что любое слово несет определенную смысловую нагрузку. Реакционер — это человек, поклоняющийся прежнему устройству общества, уверенный, что прошлое можно вернуть, отстаивающий его незыблемость.

Моя же навязчивая идея, единственная, неотступная — она проходит через каждый мой роман — заключается в том, что *процесс деградации, разрушения, вырождения, стоит ему начаться, становится аб-*

<sup>1</sup> Имеется в виду книга Даниеля Линденберга «Призыв к порядку: расследование дела неореакционеров».

*солютно необратимым.* Все потеряно: дружба, семья, любовь. Распадается любой социум, разлагается общество в целом. В моих книгах нет места раскаянию, прощению, возможности все начать заново. Нравственные ценности утрачены безвозвратно, окончательно, навсегда. Таков закон природы, всеобщий, вечный закон, что распространяется на живые существа и неодушевленные предметы. Закон *энтропии* в буквальном смысле слова. Если веришь в неотвратимость распада, упадка, отмирания, не может быть и речи ни о какой *реакции*, ни о каком возвращении к прежнему. При таком образе мысли нельзя стать *реакционером*, зато по логике вещей становишься *консерватором*. Знаешь, что лучше уж сохранить, «законсервировать» ныне существующее, пусть себе теплится худо-бедно, нежели проводить опасные опыты с неведомым результатом. Надежды мало, опасностей полно, склоняешься к пессимизму, грустишь, зато лучше уживаешься с людьми и легче переносишь повседневность.

Больше всего меня удручало то, что Даниель Линденберг, назвав меня реакционером, тем самым расписался в полнейшем непонимании моего творчества. Я даже задумался: а вдруг я никудышный писатель? Потом успокоился: нет, наверное, это он никудышный читатель (а может быть, Линденберг и вовсе не читал моих книг, судил о них по аннотациям). В который раз проглядев чудесную статью Филиппа Мюрэ об «Элементарных частицах» под названием «Все предвещает скорую кончину», я совсем утешился.

Итак, все рано или поздно рассыпается в прах, в том числе идеи, мыслеформы. Французского патриотизма, национального самосознания больше нет. Они давно истлели. Могу даже назвать точную дату их смерти: 1917 год, когда в армии из-за чрезмерных потерь начались бунты.

Давайте снова заглянем в прошлое. Когда-то каждый француз знал наизусть «Песнь выступления»:

Нет крепче нашего союза;  
Республика для граждан — все.  
Жить для нее — вот долг француза  
Или погибнуть за нее<sup>1</sup>.

Ничего не скажешь, правительство Третьей республики, со своими пресловутыми «черными гусарами»<sup>2</sup>, тоже сумело внушить целому поколению граждан, что умереть за родину — их священный долг. В 1914 году французы шли на убой с *энтузиазмом*.

Недавно умер наш последний ветеран Первой мировой. В связи с этим по радио зачитывали воспоминания его товарищей, что сражались в 1914—1918 годах. На войне всегда умирают, на то она и война. Но страшно слушать рассказы о том, как раненые стонали и корчились сутки напролет, в тех же окопах, рядом со своими товарищами, продолжавшими стрелять по врагу. Как некому и негде было хоронить убитых и трупы разлагались на глазах у живых. Как повсюду сновали крысы, как приходилось есть червивую пайку, как зашивевшие бойцы поневоле справляли нужду там лее, прямо в окопах. И так изо дня в день, год за годом. Ради чего, зачем? Ведь никто до сих пор не знает толком, кому понадобилась эта бессмысленная бойня.

Правительство может потребовать от подданных многое, но если превысит *меру* — все кончено. Франция зашла слишком далеко, заставив своих граждан

<sup>1</sup> Мари-Жозеф Шенье. *Перевод М. Столярова.*

<sup>2</sup> «Черными гусарами» во времена Третьей республики прозвали учителей из-за их строгой черной одежды. Видимо, Уэльбек вспоминает их не случайно: «черных гусар» прославил Шарль Пегги (эссе «Деньги»), католик и патриот, погибший в 1914 г., в самом начале войны.

жертвовать собой, невыносимо страдать без пользы и цели. Она дискредитировала себя и потому не вправе требовать уважения и любви. Повторюсь: роковая ошибка непоправима.

Мне кажется, в этом разгадка многих явлений.

Вот откуда пошло непримиримое отрицание всего и вся сюрреалистами и дадаистами. Вот почему при виде военной формы и государственного флага Андре Бретон впадал в ярость.

По той же причине многие французские рабочие (чьи родители, деды и прадеды были искренними патриотами) мгновенно поверили, что Советский Союз — их единственное прибежище, земля обетованная всемирного пролетариата.

И наконец, это объясняет, отчего в 1940 году французы так не хотели воевать. Когда при мне начинают клеймить «мюнхенский сговор», мне становится противно. Ведь шел 1938 год, то есть с 1918-го минуло всего двадцать лет. Разве это срок? Не следует подходить к событиям того времени с теперешними идеологическими мерками. В 1940 году большинству французов было невдомек, что «начинается война против нацизма». Скорей всего, они думали: «Опять заварушка с бошами».

Я не очень хорошо представляю себе, как мои родители пережили Вторую мировую войну, еще хуже — как их родители пережили предыдущую. Но одну цифру я хорошо запомнил: она меня поразила. У моей бабушки в 1914 году было четырнадцать братьев и сестер. К 1918-му в живых осталось трое. Семья «заплатила тяжелую дань», иначе не скажешь.

Передо мной Франция ни в чем не провинилась, мне лично не на что пожаловаться. Я даже в армии не

служил, меня признали негодным к военной службе, не помню, по какой статье. (Теперь совсем другое дело: у нас есть профессиональная армия, так что можно любить свою родину, абсолютно ничем не жертвуя и не рискуя.) Но у нас с ней та же ситуация, что у разводящихся супругов: трудно сказать, чем именно досадила тебе жена, не отрицаешь, что у нее масса достоинств, однако все кончено, возврата к прежнему нет. Я не стану сражаться за Францию, за республику, за еще какие-нибудь патриотические идеалы (и вообще за что бы то ни было).

И последнее. Мы с вами по-разному относимся к Франции, потому что выросли в непохожих семьях. Приведу забавный, но весьма показательный пример: ваше рассуждение о налогах. Вы признаетесь, что вам не хватает «нахальства» стать нерезидентом и не платить налоги на родине; стало быть, вы считаете это предосудительным. А я вот, честное слово, не вижу тут ничего дурного. Поверьте, уважаемый Бернар-Анри, не ощущаю за собой вины ни в малейшей степени. У меня нет перед Францией никаких долгов и обязательств. Выбор страны волнует меня не больше, чем выбор гостиницы. Все мы странники на Земле. Теперь я осознал простую истину: у человека нет корней и плодоносить ему не дано. Наша жизнь отличается от жизни деревьев. Я всегда любил деревья, а с годами стал любить их еще нежнее. Но увы, я не дерево. Мы скорей похожи на камни, брошенные в пустоту, ни к чему не привязанные, свободные. Или, если хотите, нас можно сравнить с кометами, это гораздо поэтичнее.

Вот, перечел написанное и понял, что звучит все это не слишком весело. К сожалению, я и вправду повсюду ощущаю себя приезжим, рано или поздно наступит время расчета и придется *освободить но-*



*мер.* Все, довольно о грустном, настраиваюсь на более легкомысленный лад.

Возможно, я когда-нибудь вернусь во Францию по довольно банальной причине: мне надоест каждый день говорить и читать по-английски. Как-то неловко признаваться в любви к родному языку, это типично *писательская ностальгия*, но от правды не уйдешь. И разве одни писатели могут по нему скучать? Родной язык, наиболее удобный для общения и выражения мыслей, нужен каждому человеку не меньше привычной пищи.

Французский язык делает честь нашей стране: благозвучный, приглушенный, без резких модуляций. Иногда на чужбине меня вдруг одолевает страстное, безудержное желание прочесть хоть несколько строк по-французски. За неимением лучшего я даже покупал «Экспресс».

(Где-нибудь в Азии не достанешь никакой французской периодики, ни одной самой дешевенькой книжки, зато международное издание «Экспресс» продается повсюду.)

Дрянной все-таки журналчик.

Зато с распространением у них полный порядок.

Есть еще одна Франция, назовем ее условно «Страной Дени Тиллинака»<sup>1</sup>. Провинциальная, идиллическая — словом, «утиный паштет». Такой Франции я раньше не знал, но два-три года назад по воле различных обстоятельств был вынужден объехать ее всю из конца в конец на машине. Приходится признать — Тиллинак абсолютно прав. Это дивный край.

<sup>1</sup> Писатель, журналист, личный друг бывшего президента Жака Ширака. Представитель течения во французской литературе, которое критик Ванесса Постек иронически определяет как «жизнь нашей деревни и утиный паштет».

С очаровательными сельскими пейзажами: засеянными полями, что изящно перемежаются с перелесками и лугами. Живописные деревеньки, каменные дома, красивые церкви. Однообразия нет и в помине: не успеешь отъехать на пятьдесят километров, как один прелестный вид сменяется другим, не менее восхитительным. Диву даешься, какую прекрасную картину создали за века поколения безвестных крестьян.

О ужас, какая *пошлая сентиментальность*! В наше время стоит только восхититься сельским пейзажем, как тебя обвинят в сочувствии идеям *предателя Петена*. Не пугайтесь, мне в той же мере нравится Прага, на худой конец я и в Нью-Йорке бы смог жить (хотя климат там довольно тяжелый).

Несмотря ни на что, Дени Тиллинак тысячу раз прав: такую страну нельзя не любить (и действительно, Коррез — несравненная жемчужина, лучший из департаментов Франции). Но совершенно напрасно он боится, что она вот-вот исчезнет, и заранее оплакивает ее. В мировой экономике туризм — важнейшая статья дохода. Такой Франции не дадут исчезнуть, она дорогого стоит, с туристической точки зрения это золотое дно. Именно ее ценят англичане, сколотившие состояние в *Сити* и рано отошедшие от дел (по их милости цены на недвижимость в Дордони взлетели до небес; теперь они набросились на Центральный массив). О ней грезят беспокойные прагматичные японские и русские нувориши. Их души изголодались по красоте и гармонии: милости просим, нам не жалко! Тут на всех хватит сыра, романских церквей, утиного паштета. С не меньшим радушием мы примем и богатых индийцев и китайцев.

Таким образом, будущее Франции обеспечено. Неужели французы мнят, будто достигнут высот в области программного обеспечения и изготовления

микропроцессоров? Что мы наладим мощное производство на экспорт? Что Париж станет финансовым центром? Бросьте! Какую-то промышленность, необходимую для привлечения туристов, мы безусловно сохраним (духи, высокую моду, французскую кухню от знаменитого шеф-повара Жоэля Робюшона). Ну и в виде исключения нам разрешат выпускать поезда — без собственных поездов французам не обойтись.

Стало быть, я *беспрекословно соглашаюсь* с нынешним всемирным разделением труда? Да, соглашаюсь, а как иначе? На мировой арене «новые лидеры», они стремительно богатеют — и на здоровье! А мы поможем им порастрясти мошну. Если меня спросят напрямик: «Неужели вы не боитесь, что Франция превратится в музей и жизнь в ней иссякнет? Не боитесь, что Франция станет большим *публичным, домом для туристов?* вся целиком уподобится Парижу, из которого мэр Бертран Деланоз, провозвестник нового времени, сделал образцовый туристический центр?» — отвечу мгновенно, не задумываясь: «НЕ БОЮСЬ».

Вот видите, как я походя спас экономику Франции! Наша переписка приносит несомненную пользу обществу, это очевидно.

4 апреля 2008 года

Рад был нашей недавней утренней встрече, дорогой Мишель.

Жаль только, что неполадки с электричеством помешали посмотреть ваш фильм.

Но не будем обращать внимания на досадную отсрочку, очень скоро мы все его увидим. Признаюсь, я от души позабавился той маленькой комедией, которую мы разыграли. Люди, что ждали вместе с нами, как мне кажется, искренне поверили, что мы едва знакомы, в упор друг друга не видим и говорить нам не о чем.

Я всегда знал, что из меня получился бы прекрасный тайный агент.

Вы бы тоже недурно справились с этой ролью.

Замечу по ходу дела, что публика вообще предпочитает писателей, которые в действительности были секретными агентами.

Все превозносят писателей-дипломатов, но совмещение двух этих профессий противоестественно, настоящий оксюморон. (К счастью, Клодель забывал, что он посол, когда писал «Познание Востока». А еще я так и слышу жалобы бабушки моей жены Ариэль, супруги Гаро-Домбаля, французского посла в Мексике, кстати, хорошей поэтессы, ее высоко ценили сюрреалисты, и Клодель, между прочим, тоже — она все горевала, что званые обеды, официальные письма и *приемы* не дают ей писать...)

Зато писатель-шпион в самом деле интересен! Шпионское ремесло литератору под стать! Загляните в биографию Кёстлера, Оруэлла, Ле Карре. Возьмите случай Кожева<sup>1</sup>, о котором теперь доподлинно известно, что он работал на КГБ. Вспомните Вольтера, уважаемого корреспондента Людовика XV, живущего при дворе Фридриха II. Казанову и венецианских дождей. Бомарше, добывающего оружие для американских революционеров, и сто пятьдесят лет спустя Мальро, делавшего то же самое для испанских республиканцев. Прочитайте воспоминания Энтони Бланта, которые вышли в издательстве «Кристиан Бургуа» двадцать три года тому назад, а потом его работы о Пикассо, Пуссене, архитектуре Франсуа Мансара. Обнаружите залежи писательского таланта. Магические кристаллы чистой воды. Откровенней всех, а значит, и точнее сформулировал этот писательский парадокс Пруст в эссе «Против Сент-Бева»: «Я всех обманываю... Я не тот, кем кажусь... Как приятно, когда тебя принимают за другого, а ты, позаимствовав чужую личность, разбойничаешь под прикрытием этой маски, крадешь черты, грабишь сердца, души и жизнь своих современников...»

Однако вернемся к нашим баранам.

Не буду снова сердиться, попрекая вас историей о нацисте, убитом в метро. Замечу только: вы притворились, будто ничего не поняли, по выстрел в 1943 году в немецкого офицера посреди Парижа нельзя назвать «убийством первого попавшегося». Ну да ладно.

Не буду сердиться по поводу несчастных чеченцев: никому нет до них дела, и вам в том числе, так что им остается одно: умереть достойно и тихо. Конечно,

<sup>1</sup> Александр Кожен (Кожевников, 1902—1968) — племянник Василия Кандинского, философ-неогегельянец, с 1920 г. жил в Европе, участник Сопротивления. Вопреки словам Леви доказательство его сотрудничества с КГБ отнюдь не беспорны.

у Толстого, как вы пишете, есть «что-то» о них, это «что-то» — «Хаджи Мурат», один из последних его шедевров. Эта повесть позволяет понять, как маленький народ-мученик может обернуться гордым великим народом, не умеющим покоряться, готовым до последнего отстаивать свою свободу, а Путины прошлого и настоящего только и знают, что «мочат» его. Мне бы очень хотелось, чтоб вы это поняли... Но я знаю: настаивать бесполезно, нет смысла повторять: если государство уничтожает от десяти до двадцати процентов населения одного из подвластных ему народов, стирает с лица земли столицу одной из республик и превращает половину ее территории в выжженную зону, *ground zero*, — это уже не «внутреннее дело», а наше общее! Но вы опять скажете, что я проповедую, поэтому мне лучше умолкнуть.

Оставим в покое Барреса, хотя и здесь все не так просто, как вам хотелось бы. Осмелюсь напомнить — чтобы оценить неоднозначность этого писателя, нужно вернуться вспять. Существует совсем другой Баррес, не гот, над которым вы издеваетесь. Не примитивный националист, автор «Одухотворенного холма», громко бьющий в барабан и кричащий о «Великой беде церкви Франции», не заклятый враг Дрейфуса, предтеча фашистов. Есть еще юный Баррес — романтик с обнаженными нервами, создатель «Культа Я», «Беспочвенников», сердцем преданный Венеции, влюбленный в Толедо, скиталец Баррес, которым восхищались Мальро и Арагон. Он бы как никто оценил ваше рассуждение о странах-гостиницах.

Оставим все это. Как ни странно, больше всего меня задело ваше сравнение человека с «камнем, брошенным в пустоту», якобы иллюстрирующее мысль о нашей «полной свободе». И ваш вывод: все мы странники в этом мире и рано или поздно обязаны «освободить гостиничный номер».

Любопытный образ.

Как вам известно, греки построили на подобном основании целую философскую систему, основы которой заложили Демокрит и Эпикур.

Впоследствии примерно о том же говорил Лукреций. Он представлял себе вселенную как безграничную пустоту, в которой сыплется град камней, траектории их параллельны, но изредка возникает «клинамен», едва заметное отклонение от траектории, и тогда камни встречаются и, встречаясь, формируют тела.

Этот образ (замечу в скобках) завораживал и до вас писателей и поэтов — от Овидия до Монтеня, от Боссюэ до Рембо и Лотреамона, — всех, кто приходил в восхищение от поэмы «О природе вещей», кто считал ее пророческой («провидческой», как определял сам Лукреций; Рембо называл это «ясновидением»<sup>1</sup>).

Этот образ (снова замечу в скобках) близок к научному факту, поскольку немало серьезных людей двадцать веков спустя признают его весьма точным. Маркс и Энгельс видели в Эпикуре и Лукреции величайших мыслителей и считали теорию «клинамена», незаметного отклонения атомов, подобий ваших камней и комет, одним из источников своей диалектики. Серьезные ученые, такие как Дарвин, создатель таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев, автор теории движения жидких и газообразных тел Броун, многие выдающиеся астрофизики и, само собой, просто физики, исследователи электронов, протонов, атомного ядра и самих атомов — все считали поэму Лукреция, описывающую дождь мельчайших частиц в пустоте, их отклонения и завихрения, близкой к истинной картине мира.

<sup>1</sup> Рембо впервые упомянул о своем «даре ясновидения» в письме к молодому поэту Полю Демени.

Так что возмутил меня вовсе не образ как таковой.

Меня задело другое, и задело очень чувствительно; я попытаюсь объяснить, что именно.

Раздумывая об этом — а с тех пор как получил ваше письмо, я только об этом и думаю, — я сказал себе: в этом образе (и в философии, которая с ним связана) меня смущает очень многое.

Ну, во-первых, невольно кружится голова, как только представишь себе бескрайнюю, безграничную пустоту.

Во-вторых, тот факт, что в пустоте, не имеющей ни конца ни начала, сталкиваются, ударяются, отпрыгивают и закручиваются в вихри камни, танцуют сарабанду и жигу, как повешенные в балладе Вийона, как страдальцы в кругах Дантова ада, как несчастные, полетевшие с башен 11 сентября, у меня восторга не вызывает. Скажу честно, ни малейшего.

В-третьих. Настораживает, напрягает, пугает необратимость этого движения. Падение, и к тому же вечное. Клинамен, да, согласен. Изменение траектории, да, замечательно. Но все изменения каким-то чудом происходят только в одном направлении, только вниз и вниз. Лукреций говорит буквально следующее:

...Никакие тела не имеют возможности сами  
Собственной силою вверх подниматься и двигаться  
кверху...

И предостерегает:

Чтобы тебя не ввело в заблужденье горящее пламя,  
Ибо, лишь вспыхнет оно, всегда разгорается кверху...<sup>1</sup>

Единожды начавшееся падение, настаивает Лукреций, невозможно остановить, можно только падать и

<sup>1</sup> «О природе вещей». Перевод Ф. Петровского.



падать, другого не дано, тут действует даже не энтропия, а мощнейший цикл Карно, не скольжение, а оседание, опадание, стопроцентное обваливание, не оставляющее никакой иной возможности, не дающее даже надежды на отсрочку, хотя бы длиной в наносекунду. Брр!

В-четвертых. Вопрос, который занимал противников Эпикура начиная от Цицерона и кончая Кантом и Руссо. Исходили они из следующего: поэма Лукреция говорит о падении тел, объясняет потери, изнашивание плоти, хрупкость жизни, учитывает физические феномены вроде потопа, смерча, бури, обманчиво взмывающего огня, но умалчивает об одном, очень существенном явлении — о возникновении совершенно особого «камня», который именуется сознанием и который невозможно свести к сумме частиц, рожденных пустотой или, наоборот, матерью-землей (что дела не меняет), частиц, которые, случайно встретившись, притянулись, сцепились вместе, сформировали нечто материальное. Лучше всех выразил это Руссо. Так называемый «натуралист», который на самом деле любил только музыку и парки, то есть природу обработанную, ухоженную, на себя не похожую, великолепно рассуждает на эту тему в своих произведениях, направленных против Лукреция, — во «Втором рассуждении» и IX главе «Опыта о происхождении языков» (как видите, я все-таки нашел нужные книги...). Природа царила, рассуждает он, во времена великих потоков, в эру могучих землетрясений. В ту эпоху огромные части суши уходили под воду, от континентов откалывались куски, превращаясь в острова. Но главная и неотъемлемая особенность той эпохи, добавляет он, та, что в таких условиях могло существовать только столь же «неразумное», «варварское» человечество, не обладающее умением жить друг с другом в мире. Мы не знаем точно, кто был самым хищным в природном

мире — звери или растения, зато нам известно, что подлинным людям в нем не было места...

В-пятых. Еще один факт, на который обратили внимание противники эпикурейцев. Среди них был и Ницше, и рассуждали они приблизительно так: хорошо, предположим, что какое-то сознание наконец сформировалось. Допустим, при помощи неведомо какой мыслительной акробатики удалось бы установить, что соединившиеся камни наделены душой, но эта душа, созданная камнями, должна по определению быть твердокаменной, созданной раз и навсегда, монолитной и гладкой, как галька, неизменной и непробиваемой... Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что тут-то и начинается новая история, в миллион раз более сложная и запутанная, чем все предыдущие, — история становления человека развивающегося, наделенного речью и свободой. То мы такие, то совсем другие. В этом случае такие... А в другом все молсет повернуться иначе... Сталкивается множество индивидуальностей, разноречивых, друг другу противоречащих, спорящих, примиряющихся и вновь спорящих. Мы не субъект, а птичник. Не дьявол, а легион. Столпотворение вавилонское. И рядом продолжают падать ваши камни и летать кометы.

У этой теории есть и еще один большой недостаток — пункт, из-за которого я не смогу (а ведь речь в конечном счете идет именно об этом) пользоваться ею ни в моей философской, ни в повседневной жизни. Даже если предположить, что все-таки удалось объяснить, как был сформирован субъект, как падение по прямой и случайное соприкосновение атомов, которые почему-то после этого уже не разъединяются, привели к возникновению такого сложного, изменчивого, противоречивого явления с лицом, голосом и обликом Мишеля Уэльбека или его соседа-ирландца, то тут мы и останавливаемся. В этой теории

нет ни слова (тут я уверен на сто процентов) о том, что же происходит, когда две эти случайности сходятся, когда сталкиваются два таких отклонения и между ними вспыхивает искра. Словом, о мгновении, когда два ваших камушка вступают в контакт и люди понемногу превращаются в человечество...

Вы скажете, дорогой Мишель, что я принял слишком близко к сердцу маленький камешек, который вы походя бросили в мой огород?..

Возможно.

Но только оттого, что я очень серьезно отношусь к творцу «Элементарных частиц».

А значит, всерьез принимаю это эпикурейское высказывание и не могу себе представить, что оно у вас просто *вырвалось*.

Итак, подвожу итог.

Я ничего не имею против эпикурейцев.

Я отдаю им должное, они освободили античную душу от той чепухи, которая ее загромождала. (Вполне возможно, Лукреций был совершенно не в себе, когда писал свою поэму «О природе вещей», точно так же как Ницше, у которого минуты просветления сменялись периодами безумия, — но я предпочитаю их безумствования досократическим бредням о Любви и Вражде, которым подвластны четыре стихии Эмпедокла!)

Не отрицаю (говорю, чтобы исчерпать эту тему) того благотворного действия, которое оказала бы инъекция здорового эпикуреизма сегодня, когда вновь возрождается магическое мышление — возьмем, к примеру, модные в США «креационистские» теории и теории «разумного замысла» (о них мне писал эссеист Адам Гопник).

Вместе с тем я изложил причины, по которым считаю эту доктрину пугающей и невыносимой, а для меня непригодной, исходя из того, чем является для

меня философия или, если вам так больше нравится, какое *применение* я ей нахожу. Указал главный порок, из-за которого ее отвергаю.

Итак, образ против образа; я вам предлагаю свой.

Не утверждаю, что он лучше.

И уж тем более не настаиваю, что он истинный (не в этом суть!).

Это всего лишь попытка своего видения мира, которое западная философская традиция противопоставляет эпикурейскому.

И начался этот спор с появлением другой книги — Библии, а в ней — с Книги Бытия.

И вот он образ, точка отсчета, к которой привели меня мои размышления по поводу вашей фразы о камне, обреченном молчаливо падать (!). Главное его достоинство — в соответствии моему опыту, вопросам, которые я поднимаю, моим глубинным нуждам.

Вы ведь знаете историю?

Да, и это история хаоса. Или, пользуясь словом другого писателя, Рабле, который понимал толк в Библии, история островов Сумы и Суматохи, рождения в недрах этой «сумы» (в Библии говорится о «бездонной земле», но можно подставить все что угодно — кометы, газы, атомы) бесчисленного числа сочетаний: 1. Комков, уплотнений, различных кусков, отдельных скоплений и в некоторых случаях чего-то, напоминающего идола или статуи. 2. В каждой из разновидностей появление особей, осененных силой, которая в тексте именуется «руах», что означает как «дыхание Господа» (выходящее из Его ноздрей и входящее в ноздри неподвижной фигуры), так и «ветер» (могучий, тот, что опустошает землю, вздымает моря, падает смерчем с облаков). 3. Возникновение, таким образом, бесчисленного количества самых разнообразных осо-

бей и индивидуумов, в зависимости от соприкосновений «руах» с земной перстью.

Конечно, и эта картина невольно вызывает смещение.

Конечно, и тут перед нами обилие зрелищ, катастрофических, ошеломительных.

Конечно, и тут образ рожден великолепнейшим текстом, поэтичным, как все тексты священных книг, которыми вдохновлялись и будут еще вдохновляться полчища писателей.

«Руах» как основа жизни вполне материален, в нем нет ничего оккультного, спиритического, ничего такого, что помешало бы вам пребывать в лоне здорового материализма — самой положительной стороны вашего эпикуреизма.

А поскольку «руах» приходит извне, поскольку он дыхание Того, кого не осмеливаются называть Яхве, вы не теряете ощущения, что жизнь вам дана на время, в долг и вы должны вернуть ее. Сохраняется и метафора гостиничного номера, но лучше всех это ощущение временности выразил евангелист Лука, через несколько тысяч лет вложивший в уста умирающего Иисуса этот вопль: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой»<sup>1</sup>.

К тому же... Да, библейская картина мира по сравнению с картиной Лукреция обладает некоторыми преимуществами. Вам они могут показаться незначительными, но для меня являются решающими.

Первое преимущество: хаос не пустота. Согласен, что и тут царит запустение — «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною»<sup>2</sup>, — но голова меньше кружится, чем от вашего Большого взрыва.

Второе преимущество. Не спорю, зрелище ужасное — льется кровь, опускается тьма, вздымается

<sup>1</sup> Лк 23: 46.

<sup>2</sup> Быт 1: 2.

пыль, выползают подземные и земные гады, сыплются несчастья, поколения сменяются поколениями, погружаются в грехах и пороках, их губит потоп, ждет геенна, шеол — царство мертвых. И все-таки не так, как у Лукреция, нет обреченности «Баллады повешенных», нет вихря Дантовых теней. Я уж не говорю, что в Библии текут реки молока и меда, растут мирты, кипарисы и кедры. И Осия, и Исая упоминают «облако росы» и виноградники. Начиная с Бытия, древо жизни постоянно окружают другие деревья, которые вы так любите.

Третье преимущество. Падение доминирует и в библейском мире. Здесь тоже, скажу я, и это еще мягко сказано, падение — главная тема. Но оно не неизбежно. Да, правило, но, как все правила, не обходится без исключений. Дарование заповедей, например. Молитвы, обращенные к небу. Сотни пророков, что будоражат города и веси. Даже смерть. Смертный час не только тот самый миг, когда приходит пора «освободить гостиничный номер», но еще и тот, когда «руах» в силу своей божественной сущности не смешивается с землей, чтобы стать прахом, как телесная оболочка, но улетаает на небо.

Четвертое преимущество. Возможность субъекта, индивидуальности. Я уже говорил об этом в книге, которую назвал «Божий завет». Стало общим местом утверждение, что религии мешают самоутверждению человека и тем более его свободе. Так вот, моя главная мысль в то время состояла в том, что язычество, смешивая все на свете, воспринимая человека только как плоть, камень, атом, не дает возможности мыслящему субъекту осуществить себя в качестве такового. Только иудаизм и христианство с их «духом Божиим», с превращением божественного дыхания в человеческое, иначе говоря, с постулатом о подобии человеческой души образу Божию делают человека и

мыслимым, и возможным. С тех пор мое мнение не изменилось ни на йоту, а прошло уже добрых тридцать лет. Я по-прежнему считаю: единственная возможность вникнуть в особенность, отличающую нас с вами от деревьев, камней, вашего песика Клема-на, — это отказ от греческой философии. Мы можем поставить на Иерусалим против Афин. Вторая модель дает нам выбор. В этом ее преимущество перед апокалипсисом Эпикура.

Пятое преимущество. Форма бытия субъекта. Наличие субъекта — первое условие. Но не менее важна форма его бытия — статут, вид, ход событий. Важно знать, несет ли он в себе обреченность, является ли маленькой, замкнутой в себе сферой, ограниченной раз и навсегда, отделенной от внешнего мира, о которой говорит нам теория падающих камней, или это живой субъект, находящийся в непрерывном движении, способный постоянно меняться, хотя он считается вполне сформировавшимся, о чем вам, мне и всем остальным известно по собственному опыту. Так вот, для подобного субъекта библейская модель незаменима. Та модель, которая была предложена мыслителями Нового времени, великими читателями и истолкователями, начиная со Спинозы. Что утверждает Спиноза? Каков его вклад в этот спор? Главная его находка — мысль о единой всеобъемлющей субстанции, проявлениями которой являются и субъекты. Лейбниц счел эту идею заблуждением. Он критиковал Спинозу за его систему субстанциональных сущностей, говоря, что у Спинозы сущности различаются только степенью высоты, так, замечает он, мы могли бы различать волны в море... Но на деле не прав оказался Лейбниц. Спинозу есть за что упрекнуть, и еще как! Но в данном вопросе правда на его стороне. Идея единой субстанции — главная его заслуга. Благодаря ей границы камня размываются. Исчезают перегордки, которые

отделяют внутреннее от внешнего. У субъекта возникает возможность в зависимости от состояния, обстоятельств и жизненного момента раздвигать, сжимать и вновь расширять пространство своей индивидуальности. Индивидуум становится подобием польдера. Или острова, да, пожалуй, сравнение с островом удачнее, острова, который постоянно борется с морем. Волны то набегают, то отступают. Уносят частичку земли, возвращают ее обратно. Нет состояния, есть процесс. Нет покоя, есть постоянная работа. Она длится — это и есть самое замечательное, — пока длится наша жизнь. Да. Так оно и есть. И поэтому его идея гениальна. Суть этой идеи сводится к тому, что субъект вовсе не отдельная обособленная субстанция. А если субъект не обособленная субстанция, то, значит, нет и той сущности, которую стоит оберегать, лелеять, отделять от соперничающих сущностей, окучивать и окапывать. Постоянно идет процесс созидания собственной сущности. Каждый находится в процессе работы над собственной индивидуальностью. Впрочем, не стоит говорить «индивидуальность». Лучше говорить об индивидуализации, так как мы имеем в виду процесс. Множество процессов. Меняются составляющие, но нет завершения. Сочетания. Варианты. Изнутри или снаружи? Свет или тьма? Жизнь во сне? Сон в жизни? Ночное бдение? Бессонница? Всё вместе.

И это шестое, и последнее, преимущество библейского образа мира. Попробуйте только представить себе немислимое богатство и разнообразие интересубъективности! Эпикуреизм (да и Лейбниц тоже) именно на этом обломали себе зубы. Почему? Да очень просто! Индивид — это непрекращающееся изменение, постоянный процесс с подвижными, меняющимися границами между внутренним и внешним; границы прогибаются и сдвигаются в результате нескончаемой борьбы, которую ведут разные векторы внутреннего



развития, соперничая между собой и соприкасаясь с внешним миром. Что же из этого следует? А вот что: то, что сегодня достояние одного, завтра будет достоянием Другого. То, что составляет часть моей сущности сейчас, когда я пишу вам, быть может, станет частью вашей, когда мы завершим нашу переписку. Короче, существует столько же мостов, сколько пропастей, столько же сотрудничества и взаимопонимания, сколько борьбы: *и* противостояния. В виде опыта понимания, в виде очевидной несовместимости и происходит постоянный взаимообмен, это и есть плоть нашего мира, одновременно общая и оспариваемая, что опровергает чувство одиночества, навязываемое философам-атомистам и. Это и есть онтологическое обоснование политики и этики, которые высвобождают субъект из лап эгоизма, превращающего с трудом добытую обособленность в тюрьму или гроб. К этому ведет Библия. И философия Спинозы с символическо-плотскими протяжениями. И конечно же Левинас. Он, перемещая центр, заставляя субъект жить, не замечая границ, будто он тень или душа, пребывающая в сновидениях, вынуждая его отвлекаться от своего «я» и парить над своим именем собственным, приобретает значение Другого, достигает двух основополагающих целей: корректирует эгоизм, жизненный порыв и силу, идущие от теории Спинозы, и заявляет о себе как о современном философе, который внес неопределимый вклад в осмысление тайны, превращающей «я» в «заложника», «несущего ответственность» за Другого.

У всех нас, дорогой Мишель, бессонница — источник философских озарений.

Ко мне во время бессонницы всегда приходят, пугая меня, две навязчивые мысли.

Естественно, страшит небытие.

Оно всех страшит.

Но еще больше небытия страшит бытие — бытие полнокровного, самодовольного, самоуверенного, самодостаточного, преисполненного гордости, уверенного в собственном величии субъекта, который вызывал тошноту у Сартра, назвавшего его «буржуа». Он-то и есть человеческий, а точнее, бесчеловечный субъект-камень.

Я сочинил для себя философию, которая помогает бороться с тошнотой.

Я начал создавать, сначала без Сартра, а потом, много позже, вместе с ним, своеобразный интеллектуальный механизм, главное достоинство которого в возможности помочь тому, кто захочет (мне самому в первую очередь) справиться с этими двумя навязчивыми страхами — не быть ничем и быть только собой, не занимать в этом мире места и занять такое, которого и боишься и стыдишься.

Я создал своеобразную еврейскую монадологию.

Монадологию не только без Бога, но и без Лейбница.

Или с Лейбницем, но примирившимся со Спинозой, осененным тенью Сартра и поддержанным нашим, таким значительным, но не слишком известным современником, я имею в виду Левинаса, без которого, повторяю, Спиноза был бы воплощением бесчеловечности.

И теперь я доволен.

Я не спас парой строчек французскую экономику.

Но живу в ладу с самим собой.

И объяснил вам причины, на этот раз метафизические, на основании которых стал «ангажированным» интеллектуалом, которому для того, чтобы жить, необходимо чувствовать себя ответственным за других.

В философии нет ничего хитрого.

Она просто дает возможность справиться со своими страхами, а иногда и избавиться от них.

Это способ не поддаться ни «суме» (можно ведь и «с ума» сойти), ни «суматохе».

Это постоянные усилия, которые помогают продолжать войну, о которой говорил Кафка, продолжать и не бросать оружия. Доспехи, дающие возможность защитить себя, осадная машина, чтобы идти на приступ, лезть на стены, — а иногда приходится рыть окопы. Возможность новых стратегий, тактик, расчетов и, по сути дела, выживания.

Сейчас я говорю совершенно искренне.

Теперь ваш ход.

10 апреля 2008 года

Окрестности и берега Шэннона не особенно живописны: спокойно течет широкая река, вливаясь в Атлантический океан. Там и сям пологие холмы, поросшие деревьями. Но если податься на север, через сотню километров попадаешь в район *Коннемары*, иной мир с живым, словно бы осязаемым светом, *даже* не верится, что такое бывает у нас на Земле. По той же дороге еще севернее всегда окутанное туманами графство *Слайго*, а за ним *Донегол* с каменистыми пустошами, похожими на шотландские ланды, освещение там скудное, северное. Если же отправиться от Шэннона на юг, то спустя примерно час приедешь в Килларни, на берега Лох-Лейн. Там до того красиво, что говорят, будто королева Виктория во время своего официального визита велела своим камеристкам выйти из экипажа и полюбоваться открывшимся видом: местечко с тех пор называется *Lady's view*<sup>1</sup>. Из Килларни мигом доберешься до любого из красавцев полуостровов: Дингла, Иверага (на «Кольцо Керри», правда, не стоит ездить в июле—августе), Беары, Дарруса и мыса Мизен-Хед, последнего, что расположен юленее всех.

В общем, долина Шэннона — идеальное место, если хочешь странствовать по всей Западной Ирландии.

<sup>1</sup> Здесь: царственный вид (*англ.*).

дии, а ничто на земном шаре не сравнится с ней по красоте. Так, по крайней мере, считаю я и не могу себе представить, что она мне когда-нибудь надоеет. Поэтому я решил покинуть Дублинское графство и на крыльях мечты, полный оптимистического воодушевления (пессимист я только в теории, а на практике мой энтузиазм и наивность вызывают порой изумление даже у меня самого), переправил коробки с книгами в домишко, который пока еще совершенно не приспособлен для жизни. Не один месяц уйдет на то, чтобы его обустроить, но надеюсь, к концу года...

Так что сами видите — без книг мне не поддерживать разговор на нужном уровне. Откровенно говоря, я не читал Левинаса, а Сартра никогда не принимал всерьез. Зато сказать что-нибудь о Спинозе, Лейбнице, Канте или Ницше, наверное, сумел бы. Хотя не уверен, что целиком и полностью освоил их философские системы. Монадология, например, до сих пор для меня потемки. Остальные из тех, кого вы назвали, иногда производили и на меня впечатление ослепительной вспышки света, что внезапно освещает темную комнату.

Ваше письмо застало меня в Париже, где я оказался совершенно случайно, хлопоча о фильме, который вам, к сожалению, не удалось посмотреть. И оно настолько меня впечатлило, что первым моим желанием — весьма симптоматичным — было бежать в книжный магазин за «Мыслями» Паскаля.

Но сначала я расскажу вам, как ездил на лингвистическую практику в Германию. Не подумайте, что ухожу от темы. Напротив, собираюсь *встропить ее в контекст*.

В пятнадцать лет я, как ни странно, был спокойным, уравновешенным подростком. Обучение в лицее Мо протекало мирно (после бурного взлета, когда меня осыпали необычайно высокими оценками,

я быстренько сообразил, что популярность среди товарищей сохраню, лишь умерив учебное рвение, и, прилагая минимум усилий, получая вполне приличные баллы, спокойно переходил из класса в класс). Не курил, не брал в рот ни капли спиртного. На свой лад был даже *спортивным* (во время каникул у отца поднимался на велосипеде на перешеек Изеран, как-никак почти тысяча метров высоты, если считать от Валь-д'Изер, играл в лицейской футбольной команде и забил не один классный гол). Музыку слушал «прикольную», вроде «Pink Floyd». Девушки считали меня *симпатягой*. Намечались, правда, и тревожные симптомы (слишком раннее увлечение Бодлером; болезненная жалость к страдающим животным), но согласитесь, все это не стоящие внимания мелочи.

Все мы, дед, бабушка и я, представляли себе Германию страной промозглых туманов, и я уехал туда в теплой куртке с капюшоном, прихватив немалый запас свитеров и шерстяных носков. Кажется, у меня с собой была даже теплая шапка и варежки. Но в Баварии летом жарко (курсы были в Траунштайне, на юге, почти что в Австрии).

Это была не просто моя первая языковая практика в Германии, я вообще впервые оказался за границей.

Лето в том году выдалось замечательное. Один ослепительный солнечный день сменялся другим. По утрам мы учились, а потом могли делать что угодно: гонять по пустынным улочкам маленького городка на велосипеде, загорать на лужайках в городском парке, купаться в реке Химзее, на которой стоял городок. Да и немецкие девушки — как бы помягче выразиться? — не страдали излишней застенчивостью.

Словом, я мог бы от души повеселиться. Но! Я сидел как пришитый в комнате и читал «Мысли» Паскаля.

Довольно странное занятие для подростка, не отрицаю, но всем известно, что переходный возраст — время опасное и непредсказуемое. Кто-то в одиночестве слушает «хеви-метал» (а потом расстреливает одноклассников из автомата, были ведь и такие кошмарные случаи). Паскаль с его глубокой затаенной страстностью может оказать на нервную систему влияние куда более мощное, чем «хеви-метал». Знаменитое «Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств!»<sup>1</sup>, став привычным, потеряло силу воздействия, но я-то читал это в первый раз, был неподготовлен, незащищен и получил удар под дых. Ужас космической пустоты и вечное в ней падение. Какой из ужасов может быть страшнее? А этот фрагмент: «Представьте себе, что перед вами скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и *все* понимают — им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и без проблеска надежды. Вот вам картина условий человеческого существования»<sup>2</sup>.

Конечно, был во мне какой-то *скрытый изъян*, если я без малейшего сопротивления ухнул в пропасть, которую разверз передо мной Паскаль. Но психоанализом я заниматься не желаю — он мне омерзителен. Я только замечу, что Паскаль был первым моим искателем. (Бодлера я хоть раньше и читал, но не вникал в смысл стихов, зачарованный их чудесной пластичностью. Я уверен до сих пор, что это лучшие стихи, написанные на французском языке.)

Чтение Паскаля открыло для меня все человеческие страдания. По воскресеньям во второй половине дня я закрывал ставни и слушал «Франс-Кюльтюр»

<sup>1</sup> «Мысли». I, 91. Перевод Э. Литецкой.

<sup>2</sup> «Мысли». I, 341. Перевод Э. Литецкой.

(тогда как до этого предпочитал телевизионный хит-парад). Покупал пластинки «Velvet Underground» и «Stooges». Стал читать Ницше, Кафку, Достоевского, потом Бальзака, Пруста, ну и так далее.

Скажу и еще кое-что, что только добавит моему рассказу странности. У меня в то время был близкий друг, звали его Жан-Робер Япуджян, и мы с ним были, что называется, неразлейвода, с пятого класса сидели за одной партой, Я знал, что у него религиозная семья (более религиозная, чем обычные прихожане, отец у него был генералом Армии спасения и возглавлял центр социальной помощи в *Вильпариссе*). Жан-Робер тоже был верующим, но тактично и деликатно избегал любых разговоров о вере, которой моя семья, как он знал, была совершенно чужда.

В тот год, как только начались школьные занятия, я попросил его рассказать мне подробнее о христианстве. Он подарил мне Библию, переписав, по моей просьбе, на титульный лист отрывок из «Послания к Коринфянам». Эта Библия до сих пор со мной. Год за годом я читаю ее, перечитываю, а вот поэму «О природе вещей» не открывал ни разу.

Погружаюсь в прошлое все глубже. Стали всплывать зыбкие, похожие на сон воспоминания: у себя в Мо, в лицее имени Анри Муассана, я ходил на факультативные уроки катехизиса, чуть позже посещал христианский семинар, которые кто-то организовал в Агро, даже совершил вместе с одноклассниками паломничество в Шартр. (Вижу все очень отчетливо, вспоминаю, например, что не взял с собой спального мешка, просто не подумал, что идем с ночевкой, и в результате на собственном опыте узнал, что такое «христианское милосердие».) Я посещал воскресные мессы не раз и не два. Лет десять, а то и двадцать ходил по воскресеньям в церковь, в любом



районе Парижа, где бы мне ни довелось поселиться. Приняв причастие, обменивался приветствиями «мир вам» и с благовоспитанными, даже знатными прихожанами Седьмого округа, и с африканцами, живущими в Двадцатом. Молился ли я по-настоящему? Не знаю. Не помню, о ком или о чем я думал, но изо всех сил старался сосредоточиться в ожидании призыва: «Молитесь, братья и сестры, дабы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему». Я любил, любил всем сердцем этот торжественный и великолепный обряд, что оттачивали веками. «Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой»<sup>1</sup>. Эти слова звучали всякий раз для меня откровением, я принимал их всем своим существом. Каждое воскресенье пять или десять минут я верил в Бога, потом выходил из церкви и, оказавшись в суетлоке парижских улиц, мгновенно забывал о нем.

Мало кто знает, что я ходил в церковь. А среди наших коллег и вовсе никто об этом не догадывается, кроме разве что Фабриса Хаджаджа, который работает теперь в «Ар Пресс». Думаю, он все еще не оправился от изумления — однажды у меня на квартире на улице Конвансьон он обнаружил полки с номерами христианского журнала «Магнификат». Потом я совсем перестал ходить на воскресные службы, и случилось это после того, как я предпринял последнюю смехотворную попытку подготовиться к обряду крещения для взрослых (тогда я жил в квартале Монпарнас). А побудило меня рассказать вам об этом, дорогой Бернар-Анри, всего лишь одно словечко в вашем письме, именно оно заставило меня вспомнить прошлое, вновь погрузиться в Паскаля, и словечко это — *преимущество*.

<sup>1</sup> М.ф 8: 8.

Действительно, миру без Бога и без духовности есть от чего прийти в уныние. Действительно, верить в Бога попросту, без затей, как верили наши предки, большое преимущество, и это преимущество без изъяна. Я знаю, вы не слишком любите Пеги, и все-таки:

Прими детей потерянных, о мать.  
Их не могу облыжно обвинять я.  
Как блудных сыновей, сумей принять —  
Пусть упадут в раскрытые объятия<sup>1</sup>.

Или Бодлер, которого (вполне заслуженно) любят все:

Смерть — ты гостиница, что нам сдана заранее,  
Где всех усталых ждет и ложе, и обед!<sup>2</sup>

Одна беда: в Бога я так и не уверовал<sup>3</sup>.

А вы, судя по всему, верите. И я должен был бы это почувствовать, потому что вы писали об этом в ваших книгах, хоть и не прямо, обиняками. Но я прошел мимо, не заметил, и такое со мной не в первый раз: когда я встречаю человека верующего, я как будто *глохну и слепну*. Потому, наверное, что мне очень трудно принять подобное явление, оно меня ошеломляет (я не верю не только в Бога, но и в возможность веры тоже). И наверное, буду странновато смотреть на вас, когда мы с вами встретимся. У меня обычно появляется такой странный взгляд. Не считите, что он недоброжелателен, хотя может так показаться. В нем нет зависти

<sup>1</sup> Шарль Пеги. «Ева». *Перевод М. Визеля.*

<sup>2</sup> «Смерть бедняков». Из книги «Цветы зла». *Перевод Эмиса.*

<sup>3</sup> В этом эпизоде Узльбек, очевидно, обыгрывает известные слова Паскаля: «...Во всем поступайте так, словно уже уверовали, окропляйте себя святой водой, просите отслужить мессу и т.д. И вы невольно проникнетесь верой и перестанете умничать» («Мысли». III, 451. *Перевод Э. Литецкой*).

(завидовать можно тому, что считаешь возможным получить). Есть неловкость и недоумение. Потому что мы, я написал это в первом письме, оба отверженные, но вот появилось нечто, что совершенно меняет наше положение в мире и делает совершенно непохожими. Вас незаслуженно коснулась *благодать*, с ходу я не могу найти другого слова. Во всяком случае, что-то такое, что позволяет вам всерьез говорить о «руах», «дыхании Бога», тогда как я в подобных случаях только плечами пожимаю.

Итак, вернемся к вашим философским вопросам. Я хоть и закоренелый атеист, но *материалистом* меня не назовешь, и, как ни странно это покажется, именно Паскаль раскрыл мне глаза. Помните фрагмент, *открыто направленный* против Декарта (но сводящий на нет и мысль Демокрита, и Эпикура)?

«(Д Е К А Р Т. — Следует определить в общем виде: „Осуществляется это с помощью образа и движения" — гак оно будет правильно. Но объяснить, каковы они, и воссоздать механизм — попытка смехотворная, ибо она бесполезна, бездоказательна, тягостна. А если бы она удалась, мы считали бы, что все философские системы, вместе взятые, не стоят и часа потраченного на них времени)»<sup>1</sup>.

Если проникнуться этой мыслью, воспринять весь ее радикализм, то станет ясно, что понять этот мир — значит честно его описать. Описать как можно более точно и как можно более обобщенно. Выделить и определить сущности, не теряя из виду гениальный принцип, сформулированный несколько веков назад Уильямом Оккамом, то есть не множить их «сверх необходимого». Выделить и определить между этими

<sup>1</sup> «Мысли». VII, 192. Перевод Э. Липецкой.

сущностями связи (чаще всего выражаемые математически, но не всегда). Пользуясь методом доказательств, проверить эти связи на сочетаемость и искать новые. Все проверять опытным путем. Если опыт не подтверждает теоретических выкладок, следует сменить парадигму и ввести новые сущности.

Но никогда не пытаться самим «сконструировать механизм». Не задаваться вопросом, что стоит *за* теми физическими сущностями, которым мы дали определения и параметры которых сумели выяснить. Не давать воли фантазии ни в материальной, ни в мыслительной, ни в духовной области. Одним словом, навсегда исключить *метафизический уровень*.

Позитивисты не без улыбки (слегка пренебрежительной, признаю) смотрят на метафизиков любого толка, материалистов и идеалистов, которые делят между собой рынок веры.

Это пренебрежение по сути равно смирению, выбравшие его подчинились двум безрадостным принципам, которые никогда не подводили человека на путях поиска истины: опыту и доказательности. Будничные принципы, которым никогда не произвести революций, никогда не вызвать бурю эмоций. На мое несчастье, именно их я и придерживаюсь. «Истина может оказаться печальной»<sup>1</sup>, кажется, великий генетик Жак Моно так цитирует Ренана в своей самой знаменитой и самой невеселой книге «Случайность и необходимость».

Так что же, Иерусалим против Афин? Нет, ни за что. Я на это не способен и признаюсь, что вы внушаете мне тревогу, когда вдруг восклицаете: «Истинный?»

<sup>1</sup> Эту мысль Ж. Э. Ренан, автор книги «Жизнь Иисуса», отрицающей божественную природу Христа, высказал в своих «Философских диалогах и фрагментах» (1876).

Не в этом суть!» Да, я считаю, что суть именно в этом. Особая заслуга западной философии в том и состоит, что на первый план она выдвинула проблему истины, жертвуя ей абсолютно всем, доведя себя чуть ли не до самоубийства, превратившись в дополнение к эпистемологии. Мне кажется, Ницше, чуткий котище, первым ощутил опасность, заподозрив, что пауки, расправившись с истинами откровения, ополчатся и на саму философию. И по этой причине он первым подверг сомнению необходимость искать истину, особенно научную. Таким образом, он открыл в философии эру, которую можно назвать *эрой бесчестия*. Что останется от философии, если она отодвинет на второй план вопрос истины? Тогда мы скорее всего вернемся во времена софистов.

У наиболее развитых животных (земных и морских млекопитающих), а также у некоторых птиц, живущих группами, появляется свой язык, который позволяет им обмениваться информацией. Одновременно возникает и индивидуальное сознание. И то и другое усложняется у приматов. И становится наиболее сложным у человека. Это происходит не вдруг, а медленно и постепенно, в полном соответствии с законами природы.

Или (*онтогенез повторяет филогенез*, истина хоть и не точная, но общеизвестная, прописная): в мозгу эмбриона какая-то часть нервных клеток начинает реагировать, формирует представление о связях, связи выстраиваются в сети, возникает общение с окружающей средой, пока еще ограниченной материнской утробой. Очень рано формируются матрицы и зарождаются *воспоминания*.

И классическая предосторожность: «Мы лишь на подступах к пониманию этих феноменов». Относительно самых сложных, какие мы знаем, — безусловно,

но это отнюдь не повод выходить за рамки методов научного мышления.

Как только машины достигнут определенного уровня развития, у них также возникнет мышление, основой которого послужат созданные человеком схемы. Нам нужно подготовиться к этому.

Сознание — «фантомное механическое явление», говорят некоторые теоретики нейрофизиологии.

Сознание, безусловно, подвержено эволюции (постоянно возникающие новые связи, свежие понятия, новые воспоминания, а нейроны вопреки общепринятому мнению, как выяснилось, способны восстанавливаться на протяжении жизни).

Разумеется, эта «недуховная» концепция приводит к определенным последствиям. Во-первых, категорически не согласен с вашим утверждением, что человек принципиально отличен от животного. Я твердо убежден, что природа человека и животного одна и та же, различны лишь ступени развития.

Во-вторых, существует связь, только более запутанная и менее лицепрятная, между верой или ее отсутствием и вашим желанием послужить обществу, равно как и моей сдержанностью по этой части. Трудно в этом признаться, но я никак не мог понять, в чем смысл ангажированности моих друзей-атеистов. Мне всегда казалось, что она напрямую связана с христианской традицией, о чем они сами не подозревают. Это подсказывали мои наблюдения за деятельностью тех христианских общин, с которыми я безуспешно пытался сжиться, и моя интуиция. Они все были явно ангажированными. Что тут непонятного? Они искренне считали, что все люди — дети Божьи, а стало быть, братья, и вели себя соответственно. Лично для меня эти родственные связи не так очевидны. Я, безусловно, испытываю сострадание к несчастным, но оно мало чем отличается от сочувствия животным, попавшим

в капкан. Я представляю себе, как им больно и страшно, и пытаюсь их освободить. А вот в *человеческом достоинстве*, признаюсь, я ничего не смыслю.

И в себе не ощущаю никакого такого достоинства: меня можно мучить, обращаться со мной поскотски, можно раздавить, причинить непоправимый физический и нравственный ущерб. Я буду ощущать страдания и обиды, скулить как собака, вопить как кошка, но вряд ли в моих жалобах будет что-то специфически человеческое.

*Закоренелый позитивист* — противник посерьезней *закоренелого материалиста*. Первый, в отличие от последнего, никогда не пойдет в лобовую атаку. Ох уж эти хитроумные венцы!<sup>1</sup> Дыхание Божие, «руах», хорошо, допустим, скажет наш логический позитивист, прием его за «икс», а вы можете провести эксперимент? Как вы намерены это верифицировать? Сущность, составление уравнения, доказательство. А психоанализ (Поппер против Фрейда)? — То, что не опровержимо экспериментально, не научно. *Ite, missa est*<sup>2</sup>, решит позитивист.

Вы можете, если угодно, скажет логический позитивист, предаваться метафорическим построениям. На определенной стадии развития человек нуждается в метафорах и мифах. Сама материя была необходимым мифом, когда пришло время покончить с Богом.

<sup>1</sup> Видимо, Зигмунд Фрейд и Карл Поппер, уроженцы Вены, евреи, вынужденные бежать в Англию от нацизма. Поппер показал необходимость, но недостаточность принципа верификации, выдвинутого логическим позитивизмом в качестве критерия истинности научного утверждения, и предложил критерий фальсификации: только та теория научна, которая может быть принципиально опровергнута опытом. В научности психоанализа Поппер сомневался.

<sup>2</sup> Ступайте, служба завершена (*лат.*).

Мы трудимся, ответит позитивист, не в области мифов, мы работаем с утверждениями, которые можно выразить и опровергнуть.

Впрочем, многое, очень важное для нас, находится за пределами этой области. Но эта область будет расширяться и укреплять свое влияние (много нам еще предстоит узнать о гормонах, о нейрофибриллах). Однако сколько бы ни расширяли сферу своего влияния естественные науки, взаимоотношения между субъектами остаются вне их компетенции. Симпатии, влечения, любовь. (Это ваше последнее возражение, единственное, которое я принимаю.) Та самая любовь, которую никто не определил лучше Платона. В самом обобщенном виде ее можно обозначить как *симпатию*, а значит, вспомнить и о том неподдельном изумлении, какое испытал Шопенгауэр, честнейший философ, столкнувшись с явлением, которое никак не укладывалось в его теорию. Вот как сам он его описывает: «Весьма любопытно присутствовать при том, как двое... людей стараются сойтись поближе, спешат навстречу один другому с приятельскими, радостными приветствиями, словно они давно знакомы»<sup>1</sup>.

Не знаю, каким образом этот странный феномен соотносится с теорией прав человека, но могу засвидетельствовать как на основании житейского опыта, так и в качестве романиста, что законченные атеисты, ощущающие свое онтологическое одиночество и считающие смерть венцом всего, тем не менее продолжают верить в любовь или, во всяком случае, делают вид, что верят.

Точно так же они верят в нравственный закон и ведут себя соответственно.

<sup>1</sup> «Афоризмы житейской мудрости». Перевод Ю. Айхенвальда.



Так что «Если Бога нет, то все позволено» Достоевского<sup>1</sup>, хоть и звучит убедительно, опровергается экспериментально.

Некоторые явления, в общем-то современные (Бог умер не так уж давно), безусловно, заслуживают внимания и, вполне возможно, возродят в нас интерес к Канту. А может, подвигнут на занятия социологией. Больше мне нечего добавить.

Вот разве что похвалю переписку — до чего удобная вещь! Не знаешь, что сказать, и поскорее передаешь слово собеседнику. Невероятно увлекательная игра! И участников всего двое.

<sup>1</sup> Эта идея Ивана Карамазова не встречается в романе точно в той форме, в какой ее обычно цитируют, но на разные лады повторяется всеми братьями, включая Смердякова, который напоминает Ивану его же собственные слова, признаваясь, что убил отца, Федора Павловича, потому что «все позволено».

17 апреля 2008 года

Ну и ну! Вот так удивили!

Неужели вы всерьез решили, будто я, что называется, «верующий»?

Полноте, дорогой Мишель, этого нет и в помине!

Разумеется, о вере не может быть и речи.

Совершенно очевидно, *что в моем случае, как и в вашем*, никакой веры нет и быть не может.

Чтобы устранить возникшее недоразумение, мне придется рассказать о своем детстве. Первых книгах, первых переживаниях, семье, школе, как говорится, где родился, где учился, в общем, обо всем, о чем я, так же как и вы, никогда никому не говорил. И в этом, если не считать увлекательной игры — издевательства над собеседником, — я вижу дополнительную прелесть переписки...

Кажется, я уже говорил вам, что родился в семье атеистов, утративших веру отцов.

Не из довоенных евреев-буржуа, «евреев-французов».

Не из боязливых приверженцев республики прежних поколений, которые в мирные времена поверили, что сумеют выжить, притворившись, будто отреклись от собственных корней.

Моей семье был чужд конформизм марранов, возникший во времена инквизиции, когда евреи из лее-

лания обезопасить себя старательно подражали «нормальным людям», однако в тайне хранили верность завету.

Нет, ничего подобного. Наше безверие — следствие Второй мировой войны. Непосредственная и закономерная реакция, возникшая из страха перед самым худшим, что эта война породила. Своеобразное решение еврейского вопроса. Лучше всего передает это душевное состояние персонаж Генриха Гейне: «Господин доктор, отстаньте от меня со старой еврейской религией, ее я не пожелал бы и злейшему своему врагу. От нее никакого проку — один лишь стыд и срам. Я вам говорю, это не религия вовсе, это несчастье»<sup>1</sup>. Себе и другим, тайно и явно повторялось одно и то же: «Иудаизм — зло, от него все на свете несчастья, нужно сделать все, чтобы от него избавиться».

Разумеется, я несколько преувеличиваю.

Мои родители не одобрили бы подобного шаржа.

И все же их самоощущение в 1945 году, когда они снова вернулись к нормальной жизни, было примерно таким.

У нас не отмечали никаких религиозных праздников, не чтили субботу.

До двадцати пяти, а то и до тридцати лет я ни разу не переступил порога синагоги.

И примерно до этого же возраста не имел ни малейшего представления не только о Талмуде, но и о Библии.

Не могу вам передать изумления и уныния моего отца, когда в тридцатилетнем возрасте я опубликовал

<sup>1</sup> «Луккские воды». Из книги «Путевые картины». *Перевод В. Зоргенфрея*. Эти слова произносит Гирш-Гиацинт, камердинер маркиза Кристофоро ди Гумпелино, он лее банкир Христиан Гумпель. Образ Гирша-Гиацинта — пародия на самого Гейне (толее ГГ).

книгу «Божий завет», прославляющую величие и философскую глубину Ветхого Завета.

«Как же это возможно? — словно спрашивал он. — Неужели все усилия, все старания порвать с прошлым, культура, образование, Эколь Нормаль, как у Помпиду, кандидатская, как у Сартра, возвращение молодого француза на сливках науки, на лучших в мире книгах, привели в конце концов (да если бы в конце — нет! — в самом начале!) в ту же жалкую хижину в Маскаре? Едва успел любимый сыночек всколыхнуть французское общество «Варварством с человеческим лицом», как сам погряз в болоте варварских предрассудков. Какое разочарование! Какая жалость!»

А ведь я писал книги и покруче.

Например, в романе «Дьявол во главе» у меня такой образ папеньки, который вряд ли бы понравился моему отцу.

И ничего, обошлось.

А вот «Божий завет» поразил его в самое сердце.

О ней, единственной из всех моих книг, отец, мой неизменный первый читатель, не сказал ни слова.

Именно она показалась ему преступлением против основ, на которые опиралась моя семья.

Так, или примерно так, воспринял он эту книгу.

И мама с ним согласилась.

Она была более непосредственной и свое мнение выразила с большей откровенностью.

Вспоминаю такой эпизод. Накануне выхода в свет «Божьего завета» Жан-Эдерн Алье<sup>1</sup>, намереваясь меня скомпрометировать, опубликовал статью, где утверж-

<sup>1</sup> Скандально известный писатель, памфлетист, основатель сатирической газеты «Международный идиот», много раз выплачивал огромные суммы в возмещение морального ущерба за расизм, оскорбления и клевету.

дал, что мать у меня не еврейка, а значит, я тоже не еврей, и, стало быть, моя книга, в которой с большой помпой объявляется о возвращении блудного сына к завету отцов, не что иное, как надувательство.

Где он разжился подобными сведениями?

Как в его голове зародилась столь бредовая идея насчет моей красавицы мамочки, дочери правоверного еврея, который был сыном и, кажется, внуком раввина? Моя бабушка тоже принадлежала к семье, словно сошедшей со страниц «Доблестных» Альбера Коэна; все ее братья, мои двоюродные дедушки, простые рыбаки из городка Бени-Саф, были привязаны к традициям так же сильно, как к морю, которое заполонило их жизнь. Братьев было четверо, и звали их Моисей, Иамин, Маклуф и Мессауд. Я прекрасно помню их всех — мы иногда приезжали в Бени-Саф на каникулы, — ясно вижу, как они сидят за столиком кафе на улице Карла Маркса. (Кафе находилось на первом этаже их собственного дома, и они, в черном, с кипами на голове, выпивали там, провожая субботу, по рюмочке анисовой.) При взгляде на них, можете мне поверить, у вас не осталось бы сомнения, что перед вами именно евреи, самые настоящие, солидные и искренне довольные своим еврейством...

Ума не приложу, откуда взялась столь нелепая выдумка.

Правда, зная, что за тип этот писака, не исключаяю, что он мог просто выдумать эту басню с одной-единственной целью мне навредить.

Однако любопытно, что басня вызвала немалый шум (вновь избранный главный раввин Ситрук самостоятельно заинтересовался ею, чем придал ей необыкновенную значимость), но еще любопытнее реакция моей матери. Когда новость дошла до *местных* газет, которых, кстати, мама не читала (но как знать?), я решил сам рассказать ей обо всем.

Разумеется, с изрядными предосторожностями.

Постарался как мог смягчить нанесенное оскорбление.

Пообещал, что оно не останется безнаказанным и что я заставлю Алье дорого заплатить за клевету (впрочем, с ним я поквитался сразу же, отправившись в тот же день к «Липпу» и предложив Алье выйти со мной поговорить. Он отказался, и я выдал ему все, что следует, прямо на месте, за столиком возле кассы. Сознаюсь, к скандалу отнеслись недобрительно, и я надолго лишился права посещать «Липп», запрет сняли много лет спустя, только после смерти «Месье Казеса»<sup>1</sup>).

Однако по милой маминой улыбке, по непринужденному тону, каким она посоветовала мне не устраивать трагедий и сосредоточиться на будущей книге, я понял, что в ее мире, в той системе ценностей, где Стендаль, Жюль Роман или Роже Мартен дю Гар стоят сотни пророков вроде Исаяи, отрицание нашего еврейства выглядело не такой уж большой бедой. Более того, я ощутил, что какой-то частичкой души, безусловно неосознанной, потаенной, она даже немного обрадовалась и почувствовала себя польщенной...

Вот в такой атмосфере я рос, безусловно еврейской, но еврейство таилось где-то под спудом, было едва уловимо.

Нужен был духовный Шампольон, чтобы найти и расшифровать наши стертые знаки иудейства.

Так что «детской веры», особой религиозности ждать было неоткуда.

А если не из семьи, то откуда?

<sup>1</sup> Один из прежних хозяев пивного ресторана «У Липпа» Марселей Казес учредил в 1935 г. литературную премию. Здесь речь идет о его преемнике Роже Казесе.

Не секрет, что подобная амнезия вполне могла привести мальчика-еврея пятидесятых годов к какому-либо замещению: он мог обратиться, например, в христианство.

Такое вполне могло случиться.

Тому есть немало примеров.

Франция далеко не такая светская страна, как принято думать, и ребенку, воспитанному в полном неведении о своих корнях, не так-то легко устоять перед соблазнами христианства, пропитавшего воздух, которым дышишь и который, как ему и положено, заполняет все имеющиеся пустоты. Как устоять, например, перед Паскалем? Прекрасными картинами в музеях? Музыкой Баха? И не только. Чоран как-то обмолвился, что Богу он «обязан всем», ведь соборы, названия деревень, памятники национальной истории, праздники, грехи, добродетели — все проникнуто христианством в нашей «родимой Франции», которую мы листаем и перелистываем будто книгу. Помню свое детское изумление и даже отчаяние, когда мы, собираясь на рождественские каникулы, радостно обсуждали с друзьями ожидаемые подарки. Я признался, что жду проигрыватель «теппаз», и вдруг мой лучший друг, в самом деле лучший (мы дружим до сих пор, он преуспевающий парижский банкир, странно, но, встречаясь с ним, я ни разу не напомнил ему об этой истории, ни ему, ни другим), так вот, он посмотрел на меня с изумлением и без всякого злого умысла, не желая сказать ничего дурного, просто убежденный в очевидности истины, воскликнул: «Да ты что?! Какой подарок? Не может быть! Ты же еврей! А евреи не празднуют Рождество. Никакого подарка ты не получишь». Остальные приятели, видя мою растерянность, расхохотались. Этот безжалостный смех звучит у меня в ушах и теперь, спустя пятьдесят лет, как символ иллюзорного

христианства, наследия «родимой Франции», ставшего уделом тех семей, что следуют традиции и живут от Рождества до Пасхи и от Пасхи до Троицы.

Но и это еще не всё.

Все складывалось еще парадоксальнее.

Из-за обилия нюансов ситуация была невероятно, просто-таки дьявольски запутанной. Дело в том, что мои еврей-родители не утратили чувства национальной гордости, хоть и стремились всеми силами позабыть о древнем Завете, не следовали обычаям и снисходительно роняли: «бедняга», встретив еврея-ортодокса, погрязшего, по их мнению, в предрассудках. Однако, хотя они понятия не имели о Мессии, обещанном в Писании, родители весьма непоследовательно брезговали всеми, кто попадал под презренную категорию «стыдливых евреев».

Кто же такие «стыдливые евреи»?

Это те, кто понижает за столом голос, произнося слово «еврей».

Те, что во времена Соппротивления сменили фамилию и сохранили ее, когда война кончилась.

Как тот аптекарь, родственник Жака Деррида, которого я вывел в «Комедии». Он «косил под француза», носил перекрахмаленный белый халат, гордился, что его сыновья играют в поло, и гнусаво тянул: «Ма-а-адам баронесса», обращаясь к одной из своих соседок.

В их семьях мальчику в пятнадцать лет покупали первый смокинг.

И они были настолько благовоспитанны, что никогда не говорили и не делали ничего, способного спровоцировать их друзей на антисемитский выпад.

Признаюсь, и у нас был такой родственник, типичнейший образчик этой породы, живое свидетельство или, если хотите, стигмат повсеместной болезни, которую можно диагностировать как «стыд еврея за



свое еврейство». О нем старались не упоминать, а если уж говорили, то с многозначительным видом. Таким был старший брат моего отца, Арман Леви.

Бедный дядюшка Арман!

Не знаю, правда это или нет, но отец говорил, что в тридцатые годы он был членом «Огненных крестов»<sup>1</sup>.

Отец упрекал его за то, что во время войны он отсиделился в глухой деревушке, вместо того чтобы, подобно ему, сражаться с нацистами.

После Освобождения дядюшка Арман женился на блондинке с молочной кожей, Поль де Икс, и она стала его пропуском в общество «настоящих» французов. Она заставляла нас, своих племянников, обращаться к ней на «вы». В ней не было ни красоты, ни изюминки, и отец язвил, что Арман выбрал ее только за частичку «де», чтобы, точь-в-точь как мой аптекар, придать себе шику.

Беда никогда не приходит одна, бледная, худосочная супруга дядюшки «не подарила ему деточек», по его собственному выражению, и поэтому он, по молчаливому уговору, иногда по воскресеньям забирал нас с братом, водил в клубы «Интералье» или «Поло», в Булонский лес. Стоило только вспомнить об этих местах, как отец начинал улыбаться — сострадательно, презрительно, с оттенком тревоги: как бы стыдливый еврей не оказал на его сыновей дурного влияния...

После школьных каникул я взахлеб рассказывал, как меня потрясли витражи Шартра. Влияние Армана?

Изредка подумывал — всего лишь подумывал, — не плюнуть ли на уроки и не отправиться ли на

<sup>1</sup> Ультраправая националистическая организация, существовавшая во Франции в период между мировыми войнами.

вечеринку к приятелю-аристократу. Опять влияние Армана?

Запершись в сарайчике для инструментов в глубине сада, декламировал надгробную речь на собственную смерть, придумав себе имя, проникнутое французской мистикой. Думаете, подражал Блоку, герою «Обретенного времени», который мечтал написать роман под звучным псевдонимом Жак дю Розье, но так и не написал? Ничего подобного, тут все то же пагубное влияние Армана.

В моем желании стать скаутом (я страстно мечтал об этом с шести до восьми лет) снова виделся негодящий Арман, бывший член «Огненных крестов», супруг тети Поль, — только он был способен внушить мне подобную идею. Лечили меня радикальными средствами: в деревушке департамента Сен-э-Уаз, где мы проводили выходные и каникулы, был создан свой отряд скаутов, состоящий из моих кузенов и нас с братом, ничем не отличавшийся от «настоящих» — у нас была форма, сигнальные флажки, палатки в саду, одинаковые галстуки, флаг и походы с утра пораньше колонной по одному в деревню за хлебом.

И потом, много позже, когда отец понял, какой тип женщин меня привлекает... Деликатно скажу, что мне нравятся те, кто *нисколько* на меня не похож... Он на этот счет не обмолвился ни единым словом. Мы вообще никогда не касались слишком личных тем, а таких тем более. Но не сомневаюсь, что какой-то частичкой души отец и тут, в излишнем моем доверии к теории Леви-Стросса о запрете на кровосмешение, видел влияние все того же дядюшки Армана.

В общем, христианин из меня такой лее, как иудеист.

Пожалуй, христианства я чурался далее больше, чем иудаизма.

На него был наложен запрет, еще более мощный, не оставлявший никакого выбора.

Как видите, пока вместо веры зияла пустота, благодать обошла меня стороной, так же как и вас.

Теперь посмотрим, что было в Эколь Нормаль.

Студенты-евреи, все или почти все, были атеистами, членами разных группировок левацкого толка.

Были и другие — небольшая группка «тала» (на студенческом жаргоне так называли тех, кто ходил к мессе), в которую входили и философы Жан-Люк Марион, Реми Браг, Жан-Робер Армогат (будущий священник парижской епархии и ежегодный автор передовиц «Фигаро» о литургическом значении праздника Пасхи). Так вот, общаясь с этими юношами, получившими доказательства бытия Божия не от Баха, а от святого Ансельма и святого Бонавентуры<sup>1</sup>, я, как водится, ощущал упрямое недоверие — и теперь бы тоже его ощутил и почувствовал бы себя убежденным позитивистом, словом, пережил примерно то же, что и вы, общаясь с вашим Жан-Робером, сыном генерала Армии Спасения из *Вильпарисиса*.

Но вернемся к сути дела.

Если я рассказываю вам истории о своем детстве, то только ради того, чтобы подчеркнуть две вещи. Во-первых, да, глядя на мое прошлое, на все, что с ним связано, видно, какой во мне произошел переворот — вы о нем догадались. Но вместе с тем я хочу подчеркнуть, что природа его не религиозная и это вовсе не обращение к мистике, как вы вообразили.

И этот первый пункт ясен каждому, кто хоть немного меня читал. Моя безоговорочная поддержка

<sup>1</sup> Святой Ансельм, с 1093 г. архиепископ Кентерберийский. Сформулировал онтологическое доказательство бытия Божия. Святой Бонавентура разделял его взгляды.

Израиля... Моя непримиримость, надеюсь неослабевающая, к любым, крупным или мелким, словесным или действенным проявлениям антисемитизма (по ходу дела обмолвлюсь, что этим я обязан моему другому товарищу, несправедливо забытому писателю и мученику Пьеру Гольдману<sup>1</sup>, озорнику и умнице. Он часто повторял, что даже еврейские анекдоты непереносимы, если их рассказывает не еврей)... Я обращаюсь, и с годами все более настойчиво, к Библии и Талмуду. Мало-помалу овладеваю древнееврейским... Читаю и перечитываю Левиаса... Кстати, Институт творческого наследия Левиаса, основанный семь лет назад в Иерусалиме его учениками Бенни Леви и Аленом Финкелькраутом, неожиданно занял в моей жизни совершенно особое место... Я стараюсь перечислять факты один за другим и вижу себя скорее евреем «утверждения», чем евреем «отрицания», о котором говорит Жан-Клод Мильнер и которого изображает Сартр в «Размышлениях о еврейском вопросе». Но стал бы таким, следуй я семейной программе.

Первое ясно, а вот второе потребует некоторых разъяснений. Мне кажется, мало кто понимает, что иудаизм *не* религия. Слово «религия» в древнееврейском отсутствует. Что-то отдаленно напоминающее это понятие было обозначено словом «дати», его избрели законодатели в период создания государства Израиль, желая, чтобы новое государство было таким же, как и все остальные, чтобы оно вписалось в существующую систему и религия и политика были бы в нем разделены, как в других странах. Но если

<sup>1</sup> Экстремист левого толка, обвинявшийся в ограблениях и убийствах, был в конце концов амнистирован. В 1979 г. его застрелили прямо на улице. Тайна его убийства до конца не раскрыта, но, по некоторым сведениям, эта расправа инициирована создававшимися тогда антитеррористическими подразделениями.

слова «религия», как понимали его Уильям Оккам и Блез Паскаль, в языке нет, если его не найти ни в одной из книг Талмуда, если оно не звучало из уст учителей и мудрецов устной традиции, то, значит, не существует и обозначаемого им феномена... Известно вам, например, что синагога, «бейт кнессет», означает «дом собраний», а не «молельный дом»? Известно ли вам, что Тора — это не молитвенник, не требник, а конституция? (Тора по существу и есть конституция, в прямом значении этого слова, — уложение не столько политическое, сколько гражданское, которое Моисей, получив скрижали, принес своему народу.) Известно ли, что существует европейский иудаизм (тот, что расцвел в конце XVIII века в Литве благодаря Виленскому Гаону<sup>1</sup>), противостоящий мистическому движению хасидов, а потом и мессианским движениям, которые охватывали местечки и сводили людей с ума? Этот иудаизм ставит знание выше молитвы, и, если такому иудаисту доведется выбирать между слепой верой безграмотного и знанием дотошного, полного сомнений, уязвимого талмудиста, он безусловно отдаст предпочтение последнему. Известно ли, что в XX веке знаменитые учителя (я имею в виду, например, *рабби* Кука<sup>2</sup>), цвет религиозного мира, как сказали бы вы, утверждали, что атеизм проблемы для иудаизма не представляет, что отсутствие Бога тоже очень серьезная и вполне приемлемая гипотеза и что они предпочтут

<sup>1</sup> Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, раввин, каббалист, один из самых выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.

<sup>2</sup> Авраам Ицхак Кук — раввин, каббалист и общественный деятель. Создатель самой влиятельной в современном Израиле концепции религиозного сионизма, в противоположность светскому, «социалистическому» сионизму первых европейских переселенцев в Палестину.

честного последовательного атеиста, верного ученика Ницше, всерьез размышляющего о смерти Бога, невежде, простодушно верующему в бытие Божие? Что сказать о тех страницах Левинаса, где он сочувствует атеизму, утверждая, что иудаизм скорее этическая система, нежели система взглядов, передача знаний, а не откровение, и подлинная его суть не в отношении людей к Богу, а в отношениях между людьми?

Разумеется, существуют «верующие» евреи. Но существуют другие, и таких немало, которые не поймут даже, о чем речь, если спросить их, «верят» они в Бога или нет. Я кое-что знаю о «возвращениях» к иудаизму. И могу вам сказать, что на одного Франца Розеицвейга, который вернулся к Закону отцов, пережив мистическое потрясение, приходится тысяча случаев, когда причиной обращения стали этика, жизненный опыт, желание обрести свой исконный язык и даже искусство. Арнольд Шёнберг, к примеру, принявший протестантскую веру, пришел 24 июля 1933 года в синагогу на улице Коперника к раввину Луи-Жермену Леви и сообщил, что хочет вернуться к Завету, потому что ненавидит Вагнера... Бенжамен Фондан, воплощение поэзии, верный поклонник Бодлера, который на пороге газовой камеры читал стихи из «Цветов зла», чтобы поднять дух своих товарищей по несчастью, десятью годами раньше вернулся в лоно иудаизма из поэтических соображений, из верности Рембо, Бодлеру, Тцара... Бенни Леви всегда подчеркивал, что в те времена, когда он еще звался Пьер Виктор и перерастал увлечение маоризмом, именно интеллектуальные потребности подвигли его к неизбежному обращению — порыв, который он назвал «переворотом», был порожден желанием найти ответы на вопросы, возникшие у него после чтения Платона, стремлением выйти из тупика «политической концепции мира»... Да и сам я, с ва-

шего позволения, пришел к чтению библейских текстов как к конечному пункту своеобразного интеллектуального, я бы даже сказал, концептуального маршрута с узловыми философскими остановками...

Надеюсь, теперь вы меня правильно поняли? Когда я говорю о «руах», когда противопоставляю «Бытие» поэме «О природе вещей», когда утверждаю, что я скорее на стороне Иерусалима, чем Афин, то вовсе не противопоставляю веру разуму, спиритуализм материализму, откровения «легенд» вашей «области опровержимых утверждений», — я противопоставляю книгу книге, вне всего вышеперечисленного, я на той зыбкой и вместе с тем очень определенной почве, где для каждого живого существа разрешается выбор между бессмысленной жизнью и смыслом.

На свете не так много «фундаментальных» книг.

Мало книг «универсальных» в том смысле, как это понимал Борхес, книг, которые содержат в себе все другие, представляя как бы целую библиотеку.

Среди них:

Гомер,

Ветхий и Новый Завет.

Я считаю, что оказываю Лукрецию немалую честь, помещая в этот список его поэму.

В зависимости от языка и культуры — «Божественная комедия», Шекспир, Достоевский или «Сумма теологии» Фомы Аквинского.

В общем, я хочу сказать, что для меня все обстоит следующим образом: я не знаю лучшего произведения, чем «Илиада», для того чтобы понять, что такое война, уничтожение, разрушение городов; я знаю, что греческая философия, и в особенности эпикурейцы, в необычайной степени способствовали свободе мысли, убежден, что права человека не могли бы сформироваться без дерзкой гипотезы христианства о том, что человек — подобие Божие, а значит, неприкосновенен.

Однако пониманием, что представляет собой человек, что роднит его с другими людьми и отличает, пользуясь вашими словами, от животных (чем не похоже мое сочувствие к кролику, попавшему в ловушку, на сочувствие к жителям осажденного Сараева), одним словом, пониманием, что такое «человеческое достоинство», а главное, верой в него и возможностью защищать его философски я обязан и урокам рабби Акивы<sup>1</sup> и Эмманюэля Левинаса.

На этом уровне, мне кажется, уже не валено (или еще не валено), «реалисты» мы или нет.

В этом уголке нашей души позитивизму (или тому, что вы так именуете) угнездиться негде.

Тут дело не в «вероломстве», не в «метафизике», а в аксиомах, только в аксиомах, в натуральном ряде чисел нашего мышления, как в арифметике, в первичных, основных модулях, из которых для каждого из нас складывается и все остальное.

<sup>1</sup> Вероятнее всего, речь идет о талмудисте II в. н.э., одном из основоположников раввинистического иудаизма.



26 апреля 2008 года

Ваше письмо оборвалось так неожиданно, дорогой Бернар-Анри, что мне подумалось, уж не выпала ли из него пара абзацев. Но, скорее всего, все-таки нет. Мы с вами забрались в такие заповедные дебри, что у меня постоянно возникает ощущение, будто я пробиваю в потемках туннель и слышу, как в нескольких метрах от меня вы пробиваете свой. Но мы оба надеемся, что, нечаянно попав киркой по кремню, вдруг высечем искру озарения. Вполне возможно, в качестве *интеллектуалов* мы не всегда на высоте, но мне кажется, есть один предмет, на который мы способны пролить некоторый свет. И вы, и я отдаем себе ясный отчет, что *религия возвращается* в современный мир в формах столь же привлекательных, сколь привлекателен герой комикса — чудовищный Халк, но для нас не менее очевидно, что этот возврат неизбежен. Разумеется, я не могу взять на себя ответственность и *постановить*, что для общества окончательно порвать с религией равносильно самоубийству. Однако именно это подсказывает мне интуиция, и подсказывает с большой настойчивостью.

У нас с вами разные точки отсчета. Вы в своем письме говорите о евреях, которые отказались от религии отцов и не приняли католической веры, религии их новой родины. Что же им оставалось? За неимением лучшего, вера в коммунизм. А когда жизнь

подвергла эту веру испытаниям, расточилась и она, так? Тяжело, очень тяжело. А потом *возвращение к истокам*? Действительно, стоило ли учиться в Эколь Нормаль? Я понимаю вашего отца, который отнесся к вашему «возвращению» так болезненно.

Безусловно, существуют еврейские древние тексты, но, если позволите, я выскажу свое мнение: дело, мне кажется, совершенно не в них. Мне очень понравилось, как вы описали своих дядюшек с материнской стороны — Моисей, Иамин... Я прямо-таки вижу этих подлинных-подлинных евреев, одетых в черное, степенно выпивающих по рюмочке анисовой, прощаясь с субботой. Обрисованный несколькими штрихами, портрет их необычайно привлекателен. «Бог Авраама, Исаака и Иакова», а вовсе не философов и ученых»<sup>1</sup>. И меня привел к Паскалю «Мемориал», ослепительная вспышка поэзии, неожиданная для французской литературы того времени.

Это как у Достоевского: «Одно прекрасное воспоминание детства, и вы спасены»<sup>2</sup>. Но вы должны понять, что у меня-то от детства не осталось ни одного прекрасного воспоминания. Вы правы, говоря, что Франция куда более религиозная страна, чем кажется. В некоторых уголках (Бретань тому яркий пример) достаточно чуть копнуть, и вы окажетесь на католической почве. Другие места, например Бургундия или юго-запад, давно и основательно изжили христианст-

<sup>1</sup> Цитата из «Мемориала» Паскаля, найденного спустя семь лет после его смерти в подкладке одежды: краткой записи о том, как в 1654 г. он обрел благодать.

<sup>2</sup> Точные слова Алеши Карамазова: «...Прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь». -- *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 195.

во. К тому же Церкви так и не удалось (по моему мнению, поэтому ее в конце концов и постигла неудача) вернуть доверие пролетариата. В мой последний приезд в Париж я случайно оказался возле церквушки в Шестом округе, той самой, где проповедовали Фредерик Озанам и Жан-Батист-Анри Лакордер. Может быть, они единственные поняли, что, если Церковь не разорвет противоестественный союз с буржуазией и хозяевами, если ей не удастся сблизиться с рабочим классом, она обречена на гибель. И они пытались что-то сделать, проповедовали в пустыне и потерпели фиаско. Церковь в конце концов очнулась от долгого сна, но было уже слишком поздно.

Однако вернемся к моему детству. Сколько бы я ни смотрел и так и этак на свою семью, как бы долго и пристально в нее ни вглядывался, я не находил ничего похожего на религиозные традиции. Скорее, если хотите, я увидел что-то похожее на веру в коммунизм. Мне приходилось читать в газетах, что меня «воспитали дедушка и бабушка коммунисты». Это как и не так. Ни мой дедушка, ни моя бабушка не читали ни Маркса, ни Ленина, ни каких-либо других коммунистов. Они и Мориса Тореза не читали, и я не уверен, что когда-нибудь заглядывали в предвыборную программу коммунистической партии. Но они голосовали за коммунистов, это уж точно, всегда, год за годом, и думаю, не могли бы голосовать иначе. Их выбор был, в самом точном значении слова, *классовым*.

Но вера, не питаемая личной прочувствованной связью с доктриной, неустойчива, и как только мой отец разбогател и утратил связь со своим классом, он вмиг утратил и эту веру. Не помню, чтобы он когда-нибудь искренне и всерьез заинтересовался хоть одной политической проблемой. Пугает то, что на моем примере мы видим *отъявленного атеиста* во втором поколении — атеиста не только религиозного, но

и политического. На этой стадии атеизм безрадостен, лишен героизма, ни от чего не освобождает. В нем нет даже антиклерикализма, боевой пыл угас окончательно и бесповоротно. Он холоден, безнадежен и проживается как чистейшее бессилие, белый туман, в котором передвигаешься с трудом, как зима без конца и без края.

Изнурительно чувствовать себя организмом, чьи функции тебя только изнашивают.

Никакой «дионисийский смех» не сопровождает этот печальный путь. Философия Ницше кажется мне сегодня бессмысленной провокацией, шуткой дурного тона.

Я обрадовался бы несказанно, если бы вдруг обрел тот «уголок души», где, по вашим словам, «позитивизму и угнездиться негде». Вот почему иудаизм без Бога, который вы очертили несколькими штрихами, остается для меня весьма загадочным. Я также не вполне уверен, что главный раввин Ситрук разделит бы ваш энтузиазм. Впрочем, не смею вмешиваться, тут вы хозяин.

Хорошо бы больше не приравнивать человека к вселенной.

Пусть останется хрупким предметом средней величины где-то между кварком и спиралевидной туманностью...

Так вы говорите, что эта философия (будем называть иудаизм философией, раз не существует слова «религия») сводится к попечению о связях между людьми и общих для всех ценностях. Изначальные амбиции выглядят весьма урезанными, но я нахожу, что и это большое достижение.

Замечу по ходу дела: ваша позиция — полная противоположность тому духовному движению, основанному на базе экологического фундаментализма,

которое сейчас распространяется (я бы сказал, что в Европе только оно одно и распространяется), одни именуют его левацким антиглобализмом, другие — дурацким «нью-эйджем». Движение ставит целью вновь связать человека со вселенной, отыскать ему место в «естественной гармонии» (а главное, принудить там и остаться), но о том, как объединить людей между собой, никто не задумывается. В сущности, родилась новая разновидность пантеизма, язычества. И весьма отчаянно узнать, что евреи готовы ей противостоять.

Мне кажется, что, по сути, вы недалеко ушли от позитивизма. Позитивизма Огюста Конта (как-никак основатель). Однако как только Конт попытался создать «Религию человечества», мгновенно последовал раскол, и он потерял немалую часть учеников и последователей. И вдобавок всех настоящих французских интеллектуалов того времени. Кажется, ему удалось сочетать браком несколько пролетарских пар (Конт, хоть и пытался заинтересовать своей религией императора Наполеона III, потом царя Александра I<sup>1</sup>, пекся в первую очередь о пролетариях). А его «Религия человечества» пользовалась эфемерным успехом, кажется, только в Бразилии. К 1900 году о ней вообще позабыли.

Сен-Симон, Пьер Леру и другие социальные реформаторы XIX века тоже пытались создать религию без Бога и преуспели еще меньше.

И все же у Огюста Конта находишь кое-какие весьма существенные догадки. Помню, мы как-то беседовали с Филиппом Соллерсом (что-то мы давно о нем не говорили, я даже соскучился) и согласились на том, что молитва приносит мгновенное физическое облегчение вне зависимости от того, существует адресат

<sup>1</sup> Неточность Уэльбека: по всей видимости, речь идет о Николае I.

или нет. Не желая огорчать Филиппа, я не сказал тогда, что мысль эта чисто контовская. Удивительно читать у Конта, ведать не ведавшего о технике восточных медитаций, о необходимости ставить и контролировать дыхание. У него был оригинальный ум, и он немало почерпнул из собственных глубин.

Остроумец Честертон заметил, что в основу позитивной религии должны были положить календарь, как бы странно это ни выглядело. В календаре есть точка отсчета, есть разметка по годам, неделям и дням. Все годится, лишь бы человек ощущал ток времени как явление положительное, позабыв о реальном потоке, сулящем старость и разрушение.

Но несмотря на все достоинства, система Конта — подчеркиваю — потерпела фиаско, провалилась окончательно и бесповоротно.

Может быть, и возможна религия без Бога (или, если вы предпочитаете, философия, словом, нечто, что влечет за собой как неизбежное следствие этику, «человеческое достоинство» и даже политическую доктрину). Но все это, по-моему, невозможно без веры в вечную жизнь. Во всех монотеистических религиях вера в вечную жизнь наиболее *востребованный продукт*, и, если она существует, все становится возможным, ни одна жертва не кажется тяжелой по сравнению с подобной наградой. Доказательство? Исламские террористы-смертники.

Конт не предложил ничего подобного, он говорил лишь о возможности уцелеть в памяти людей. Свои теории он облекал в более пышную форму, обещая слияние с Высшим Существом, но, по сути, речь шла именно о теоретической возможности уцелеть в людской памяти. Этого оказалось мало.

Всем плевать на неосознание существования в людской памяти (и мне тоже, несмотря на то что я пишу

книги). Хотя зачем тогда, спрашивается, я трачу столько времени на *правку верстки*? Не знаю. Пруст тоже себе удивлялся. Думаю, из-за пристрастия к *добротной сделанной работе*, которое не обязательно связано с протестантской этикой. Протестантская этика просто вовремя подхватила исконно присущую человеку черту, поскольку человек, в первую очередь, существо производящее (вещи, механизмы, и книги в том числе; тут, вполне возможно, и коренится причина нашего взаимного непонимания, может быть, я недостаточно высоко ценю книги, не числю их столь *священными*, считаю, что каждое новое поколение должно их переписывать заново, что ни одна не может претендовать на статус «вечной»), хотя, поверьте, меня это не слишком устраивает. В начале страницы я врал как сивый мерин, говоря, что людская память мне безразлична. Нет, конечно нет. Как автор я очень хочу *уцелеть*. Но при этом и не врал тоже, потому что конечно же предпочел бы людской памяти жизнь реальную, телесную, и как можно более телесную).

В «Гении христианства» я больше всего люблю ту часть, где Шатобриан дерзновенно сравнивает стиль Гомера со стилем Библии, стремясь показать, насколько великолепен Гомер и насколько Библия превосходит его великолепием. С какой писательской глубиной, с какой тонкостью проводит он сопоставление, сам великолепный стилист, и одерживает, не могу не признать, блистательную победу — убеждает! Полный воодушевления, он восхваляет Библию, не замечая, какой опасности ее подвергает, а опасность эта страница за страницей становится все очевиднее. Восхищаясь литературными достоинствами Библии, он малопомалу превращает ее в литературное произведение, пусть самое великолепное в истории человечества, но все-таки всего-навсего в литературу. *Пылкую*, порой

переворачивающую душу, но выдумку, всего-навсего выдумку.

Именно к этой концепции привело меня чтение Библии. Складывалась она не вдруг, годами. По мере того как я сравнивал переводы, выбирая «лучший» (не с точки зрения точности, как я могу это определить? С точки зрения чистой эстетики), по мере того как перечитывал «любимые места»...

Признаюсь, я в самом деле отделял пласт литературы — насыщенный эмоциями, глубоко символический — от слоя истин. Сказал и почувствовал себя ограниченным занудой кальвинистом.

(Возможно, я такой и есть.)

(Поверьте, бывает и хуже, стоит только вспомнить знаменитый постулат, венчающий труд Витгенштейна: «О чем нельзя говорить, о том следует молчать»<sup>1</sup>.)

Меж тем мои философские убеждения по-прежнему самые неопределенные.

Итак, подвожу итог. Права человека, чувство собственного достоинства, обоснования политики — все это я отбрасываю. У меня нет теоретического инструментария, который позволил бы мне соответствовать подобным требованиям.

Остается этика, относительно этой области и я могу кое-что сказать. По сути, могу сказать только одно — она держится на том, что так отчетливо сформулировал Шопенгауэр, — на *сострадании*.

По праву перевозносимое Шопенгауэром, по праву попираемое Ницше, сострадание — основа любой морали. И я — мое мнение не новость — на стороне Шопенгауэра.

<sup>1</sup> Последние слова «Логико-философского трактата» (1921). Перевод М. Козловой.



На сострадании не построишь сексуальной морали, но и это скорее достоинство, чем недостаток.

А вот суд и право могут на него опереться.

И даже без особых усилий. Обойдись без картинных обобщений Канта (я воспользовался словом «картинный» в сугубо положительном, самом возвышенном смысле: чтение Канта можно сравнить со странствием по высокогорью. Любопытно, что сам он никогда не покидал Кёнигсберга, расположенного на плоской равнине. От Канта у меня гораздо осязательнее, чем от Ницше, кружится голова в разреженном воздухе вершин, с которых открываются необозримые дали...).

Остается вечной загадкой *возникновение сострадания*, Шопенгауэр говорит о нем всегда с подспудным опасением. Ведь сострадание всего лишь *чувство*, нечто непрочное по самой своей природе, и все-таки вновь и вновь оно проявляется в каждом новом поколении...

Естественно, на ум приходит тревожный вопрос: а что, если вдруг сострадание исчезнет?

Думаю, что тогда исчезнет и человечество.

Думаю, что исчезновение такого человечества не будет большой потерей.

И тогда стоит пожелать появления иного мыслящего существа, более расположенного к сотрудничеству, лучше приспособленного по своим природным качествам к духовному росту (я говорю о виде более высокоорганизованном, чем приматы).

Прощание с гуманизмом не обязательно ведет к расставанию с моралью, вытекающей из поверхностного представления о мире как о сосуществовании отдельных особей.

Не важно, смертны они или *нет*.

В сущности, я возвращаюсь к абсолюту.

И нахожу, что это неплохая новость.

К ограниченному абсолюту (закон морали жесток, но поле его воздействия ограничено). Что сказать о тех, кто вне этого поля? Они находятся в зоне *свободной воли*? Да, это так, соглашусь и я. И даже предположу, что в этом есть определенный смысл. Свобода воли во всем, что не имеет нравственного значения (а таких вещей немало, и трагедия нашего чересчур контролируемого общества, как мне кажется, в том и состоит, что эта область произвольно сужается).

Да и, честно сказать, не очень-то я верю, что воля *свободна*. Доказательства Спинозы (осознание своих желаний и непонимание причин, которые их порождают, дают иллюзию, что воля свободна) кажутся мне непроверяемыми. И если я вежливо поддакиваю, слыша о свободной воле, то только потому, что не хочу *усугублять свое и без того незавидное положение*, размахивая очередной *красной тряпкой*. Для меня не секрет, что люди чрезвычайно дорожат иллюзией личной свободы. Быть может, это полезная иллюзия.

Хотя меня и сейчас удивляет, как требовательны люди к бытию...

Но если им так дорога *свобода воли*, почему бы не награждать ею, как орденом? (Стоить она ничего не стоит, зато доставляет массу удовольствия.)

При условии, что мы не будем додумывать до конца, что она такое, проблем не возникнет.

Никаких.

Надо же! Только сейчас заметил, что пишу «человек», «люди» вместо «мы», «я».

Поверьте, не потому, что считаю себя *выше*, нет, вовсе нет, уверяю вас.

Это скорее своего рода отстранение, навязчивое ощущение, будто играешь некую роль.

Как вы знаете, вот уже несколько лет я живу за границей. Здесь существует расхожее представление

о французах (хорошие вина, изысканная кухня...). Не раз скудость общения вынуждала меня *изображать француза*. Я прикидывался восторженным поклонником роскоши, пел дифирамбы вину мадираи или какому-нибудь блюду, о существовании которого узнал минуту назад.

Та же причина, хоть и гораздо реже, вынуждала меня *играть роль «крепкого парня»* — я имитировал страсть, которой не чувствовал, к автомобилям «астон-мартин», красоткам из календарей Пирелли и пенальти Мишеля Платини.

Чувствую, что смогу сыграть и *роль человека* (и непременно сыграю, если в один прекрасный день встречу с инопланетянами).

Но и без межгалактических гостей, в самой обычной, будничной жизни — утверждаю с полной ответственностью — имитация человеческого поведения молсет оказать немалую услугу. Зато в своих книгах (по сути, книги — единственное, что для меня по-настоящему важно) я сохраняю по отношению к человечеству некоторую *критическую дистанцию*.

Учитывая эту мою особенность, весьма для меня важную, хочу подчеркнуть, что всегда был исключительно любезен с евреями. И всегда охотно выслушиваю их рассказы о том, что такое родиться и быть евреем (словно этот факт более значителен, нежели принадлежность к роду человеческого вообще). Но это, на мой взгляд, свидетельствует о моем подспудном признании правомерности подобных притязаний.

Куда менее терпим я оказался по отношению к русским, когда они пытались увлечь меня разговором об особенностях «славянской души». Поверьте, я мгновенно давал им отпор.

Не говорю уж о кельтах или корсиканцах, их претензии и вовсе смехотворны.

Если честно, мне крайне неприятно стремление этих не слишком крупных, заведомо незначительных млекопитающих выделиться в особые породы. Как это непохоже на собак! Например, моя собака (средней величины, может быть, даже маленькая, нет, скорее все-таки средняя) признает своих и в чихуахуа, и в доберманах.

Хорошо бы, мне кажется, иной раз посмотреть на людей так, как мы смотрим, например, на *бактерий*. Я выбрал бактерий умышленно, потому что они бывают вредные и полезные (например, в йогуртах).

И потом, отстранившись как молено дальше, спросить себя: а заслуживает ли опыт существования человечества продолжения? Взвесить заслуги, ошибки и, в зависимости от результатов, внести необходимые коррективы.

Я не знаток философии, но у меня возникло ощущение, что сейчас она деградирует. Кант возвысился до точки зрения «человека мыслящего», независимого от превратностей жизни остального человечества. С тех пор мы отказались от подобных притязаний и заметно снизили планку.

Очень жаль. Кому, как не мне, создателю самых разных персонажей, знать, насколько человечество прилипчиво. Увязает в нем, будто в патоке, ищешь оправдания для всех и каждого, и вот уже ты старчески бессильный сюсюкающий потатчик.

Впрочем, простите, я, кажется, излишне разволновался.

*1 мая 2008 года*

Я опять в Нью-Йорке, дорогой Мишель, и сижу сейчас в гостиничном номере. В гостиницах я теперь чувствую себя лучше всего (точнее Пруста не скажешь, о Кабуре ли речь или другом каком городе, но только в гостинице тебя «не побеспокоят»).

Я размышляю над вашим письмом и думаю, как на него ответить. Для меня это всегда непросто.

Не знаю, как для вас.

Мы с вами не беседуем с глазу на глаз, и как вы мне отвечаете, я не знаю.

Я, например, получив от вас письмо, всегда медлю день или два.

Читаю его, перечитываю.

Ищу нужный угол зрения, точку отсчета.

Нащупываю, в чем мы сходимся, что нас разделяет, что сближает на поверхности, но разделяет изнутри, — словом, определяю наши взаимоотношения.

Пытаюсь понять, что в конечном счете для человека главное — то, что он обнаруживает, или то, что прячет; то, что говорит, или то, о чем умалчивает. Что по сути представляется в нем самым интересным.

Пробую себе представить, насколько это возможно, что вы мне ответите на мой ответ и что я вам потом отвечу.

В сущности, пытаюсь понять, как подойти ближе и не перекрыть потока, заострить интерес, не погасив

его, как побежать вперед, не лишив вас возможности перехватить мяч и ринуться дальше.

Я писал вам, что любил играть в шахматы.

Но, кажется, не говорил, что много играл заочно, как тогда говорили, «по переписке». Так мы играли в клубе при нашем лицее — интернета тогда не существовало, - я продумывал очередной ход, записывал и посылал письмом. Потом ждал ответа от партнера. Партия могла длиться не одну неделю, а случилось, что и не один месяц. Марсель Дюшан обожал игру по переписке и, бывало, играл годами, а я в те времена восхищался всем, что делал Марсель Дюшан. (В последние годы он даже выставки готовил по переписке, отправляя из Нью-Йорка в Париж распоряжения своей сестре Сюзанне, и та выполняла все его предписания. И то же самое с шахматами. Свои самые чудесные шахматные партии — с Мэном Реем, Анри-Пьером Роше, Франсисом Пикабия — он сыграл заочно, соперничал, не вступая в контакт, не касаясь и пальцем, зная, что и его «не побеспокоят»...)

В общем, я обожал играть в шахматы по переписке.

Обожал, думаю, по той же причине, что и Дюшан, ощущая это не столько соперничеством, сколько игрой, не столько состязанием, сколько возможностью изобретать и придумывать вместе, в общем, работой ума с вопросами, ответами, противоречивыми эмоциями, переключками, озарениями, то общими, то только своими, с виртуозностью, искусными ходами и обманами.

Думаю, удовольствием, какое я получаю от нашей переписки, я отчасти обязан прошлому, хотя и воодушевлению спора тоже, и нашим исповедям, и подначкам, которые толкают нас обоих копать в забытых тайниках. Нравится мне и таинственность нашего приключения, ведь мы по-прежнему продвигаемся вперед, прикрывшись масками, не открывая никому, какую провозим контрабанду. (Кстати, о скрытности — я вам

как-то говорил, что умолчание — одна из необходимых составляющих писательского ремесла, говорил о «страсти к переодеваниям и маскам», которую наш дорогой Бодлер поставил во главу угла литературной этики, а совсем недавно я нашел стихотворение Брехта, написанное во времена восходящего гитлеризма, восхваляющее работу в подполье. Стереть все следы, затаиться, размножить личины, забыть о себе, утратить имя, а если и этого будет мало, нанять, подобно Аркадину, биографов и поручить им уничтожить свидетелей жизни, которая была лишь недоразумением и должна исчезнуть<sup>1</sup>.) Да, конечно, все значимо для меня, и все же ощущение вернувшегося прошлого придает особый вкус нашей переписке, я с необычайным вдохновением обдумываю каждую «атаку» и так нетерпеливо жду вашего отпора. В детстве и юности нескончаемые шахматные партии кружили мне голову. Голландец Ян Тиммаи, чемпион мира, называл шахматы «интеллектуальным боксом» и подчеркивал, что дерешься с самим собой и с пределами своих возможностей...

И вот я читаю ваше очередное письмо.

Спокойно и вдумчиво перебираю ваши доводы, размышляя, с какого начать...

Может быть, с «религии без Бога», но разве я за нее ратовал? В лучшем случае за нее ратовал Вольтер, в худшем — Моррас<sup>2</sup>, но уж точно не я.

<sup>1</sup> Речь идет о фильме Орсона Уэллса «Господин Аркадии» (1955), в котором миллионер Аркадии нанимает сыщика с целью разыскать людей, помнящих его до 1927 г., — якобы затем, чтобы восстановить прошлое, потому что он страдает амнезией, а на самом деле для того, чтобы избавиться от свидетелей его гангстерской молодости.

<sup>2</sup> Поэт, публицист, основатель монархической группы «Аксьон франсез», сторонник католицизма, утверждал превосходство «латинской расы» над другими народами.

Или с вашего мнения о Канте, который, по вашим словам, вечно пребывал в «разреженном воздухе вершин» в своем Кёнигсберге? Ну, во-первых, это не совсем так. Легенду эту нам подарила Жермена де Сталь, рассказав, мягко скажем, о Канте весьма неточно в последней части своей книги «О Германии». В юности Кант учительствовал сначала в семье пастора Андерша, потом у Кейзерлингов, сначала в Юдшене близ Гумбиннена, потом в Остероде. Но не это главное. Куда существеннее другое: представляя себе Канта непоколебимым, точным как часы, неуклонно следующим режиму, маниакально аскетичным, закованным в броню императивов, абстракций и бесплотных концепций, вы совершенно игнорируете одну из его ипостасей, полную смятения, безумия, даже шизофрении, которая и стала причиной, вернее, одной из причин его жажды сковать себя железными оковами мысли. «Категории разума» — та же смиренная рубашка, защита против урагана идей, противоядие против теософии, оккультизма, спиритизма, которые влекли к себе юного Канта и о чем мы забываем. Остаток своей жизни он провел, обороняясь от соблазнов, боясь их возвращения.

Несколько обобщающих слов. Хотя вы и не «знарок философии», по вашему мнению, но у вас есть *свобода обращения* с ней, которой я завидую. Вам ничего не стоит сообщить, например, что «Шопенгауэр считает...», «Ницше ему ответил...» или «доказательства Спинозы относительно того и сего кажутся мне неопровержимыми, потому что»... Для философа-профессионала такое немислимо. Тем более для такого твердолобого, как я, приученного к тому, что каждая философская доктрина есть закрытая целостная система. И нет ничего более опасного, чем вычленять из системы какую-то часть, изолировать, наделять собственной судьбой, присваивать, одним словом, *цитиро-*



*взять* \ «Ни единой плавающей мысли!» — таков был первый урок Жака Деррида новому поколению учеников Эколь Нормаль, которых, словно новобранцев в армии, называли «призывниками». Но скажу без кокетства, что дорого бы дал, лишь бы избавиться от своего профессионализма... «Никаких философских выдержек, оторванных от контекста! Никаких „Гегель, или Хайдеггер, или Гераклит говорит, что...“!» Ибо вне контекста, и даже больше, вне языка оригинала, смысл этой выдержки искажается, а то и вовсе исчезает! (Вы не преминете с упреком напомнить мне, что и я предлагал вам свой спинозо-левинасовский двигатель, монадологию без монад, мою концепцию субъекта. И будете правы и не правы. Тогда я мастерил. Выстраивал собственную позицию. И боюсь, вынужден был играть навязанными мне фигурами. Правила цитирования — это совсем другое. Как и удивительная способность видеть философскую систему полем свободных высказываний и не менее свободной игрой ассоциаций. Повторяю, я был бы в восторге, сумей я обрести такую способность...)

Огюст Конт, похоже, заморозил вас, тогда как я, с большой настороженностью относясь к его обещаниям преобразовать общество с помощью науки, вообще им не интересовался. (Впрочем, нет... здесь я ошибаюсь... Стоило заявить «никогда», и я тут же вспомнил о ниточке между Мной и Контом, точнее, между Контом и моим поколением, ниточка эта — Альтюссер. Альтюссер в своей знаменитой статье «За Маркса» объявляет, что на протяжении ста тридцати лет после Великой французской революции 1789 года философия во Франции пребывала в жалчайшем состоянии, он щадит только одного мыслителя, Огюста Конта, считая, что среди французских философов он один достоин интереса. Альтюссер сочувствует Конту и потому, что тот всю жизнь был

жертвой ожесточенных нападков, «став живым подтверждением безграмотности и бескультурья, доставшихся нам в удел». К тому же Альтюссер так похож на Конта, похож *по-человечески*, у них столько общего. Безумие... Большие дозы нейролептиков... Вместо Эскироля — Дяткин<sup>1</sup>... Оба писали книги без предварительного чтения, без выписок, только по памяти, пылким пером... И религиозность тоже... У одного вначале, у другого в самом конце, и у обоих после смерти возлюбленных — Элен и Клотильды де Во<sup>2</sup>... Оба еще больше Конта боялись перемен и путешествий... Зато писали письма... Письма лились потоком, страстные, нервные, параноидальные, адресованные крупнейшим мыслителям своего времени, которых они считали мятущимися душами, томящимися в ожидании истинной позитивистской веры... Умершие еще при жизни... Узники собственных книг... Научный подход стал для них смирительной рубашкой... Если Альтюссер походил на кого-нибудь, если с кем-то себя сравнивал, то конечно же с Огюстом Контом, который вывел закон трех стадий интеллектуального развития. Как мы не заметили этого при жизни Альтюссера?! Как нам, его ученикам, не бросилось в глаза это очевидное сходство?)

Ну и, наконец, ваша мизантропия... Предложение посмотреть на людей как на бактерий, понять, удастся эксперимент или нет?.. Стоит его продолжать или

<sup>1</sup> Жан-Этьен Эскироль — психиатр первой половины XIX в., «отец французской психиатрии». Рене Дяткин (1918—1998) — психоаналитик, специалист по психозам.

<sup>2</sup> В 1980 г. Альтюссер задушил свою жену Элен Ритман в их квартире при Эколь Нормаль. Его не судили, так как убийство было совершено в состоянии невменяемости, а поместили в психиатрическую больницу. Клотильда де Во — платоническая возлюбленная Огюста Конта, которой он поклонялся и после ее смерти.

не стоит?.. Так ли уж «гордо» звучит имя человека?.. Словом, вопрос подведения итогов. Он близок мне и ненавистен. Ненавистен? О ненависти не буду распространяться. Вы сами прекрасно понимаете, что вопрос в том виде, в каком вы его поставили, может только удручить человека, который живет заботами о судьбе боснийцев, не дает позабыть об Афганистане и о безымянных жертвах никому не ведомых африканских войн. Близок? Не так все просто. Говоря о близости, я хочу сказать, что в той культуре, где мыслят глубоко, додумывают все до конца, до абсурда, до бреда, мысль о том, что человечество потерпело неудачу, что нужно бы начать все сначала, но на других основаниях, с тем же сырьем, но по другому, совершенно новому плану, давно уже укоренена, что это моя культура, что с двадцати лет она формировала меня и стала для меня фундаментом. Я говорю о культуре революционных теорий вообще и о маоизме в частности. Этот набор идей, пропитанный еще и учением Альтюссера, существовал давно, и мы в свой час провозглашали необходимость «переломить ход истории», «изменить суть человека», «достучаться до души», то есть пытались, пользуясь вашим выражением, «внести коррективы», очиститься от прилипшей к нам нелепой «требовательности к бытию» и замахивались ни больше ни меньше как на гибель человечества в том виде, в каком оно существовало до сих пор. Значит, недавнее прошлое уже забыто? Но ведь есть люди, которые, подобно мне, отказались от этих идей, после того как увидели, как они воплощаются на практике. (Я говорю об этом не из дендизма и не как о литературном опыте: в Бангладеш перед лицом ужасающей нищеты, которую я встречал на каждом шагу, я спрашивал себя, имеет ли смысл подобное существование? Может, правы «наксалиты», местные маоисты, с их безумными

радикальными проектами, прототипом идей Пол Пота, - с их мечтами получить из лабораторных пробирок более совершенный человеческий материал?) Вот оно, начало дискуссии, подумал я. Затронут существенный, важный вопрос. И уже было счел, что нащупал тему, философскую и биографическую одновременно, чтобы возобновить дискуссию о «последних днях человечества», по названию пьесы Карла Крауса, которая пятнадцать лет назад вдохновила меня на книгу «Страшный суд». И тут мне принесли «Монд» (в американских гостиницах существует новая услуга: день в день получаешь французскую газету на прекрасной белой бумаге и читаешь, не пачкая пальцев), и на третьей странице я прочел невероятнейшую статью о вашей матери и ее книге, которая, судя по всему, вот-вот выйдет<sup>1</sup>...

Признаюсь, статья показалась мне настолько невероятной, что я не поверил ни единому слову. «Такого не бывает, — подумал я. — Это мистификация самого Мишеля. Он вместе с мамой или приятельницей, которую выдал за маму, сфабриковал этот фарс. Тuffed полная. Гари-Ажар<sup>2</sup> в кубе. После Гари нам всем, старым комедиантам, уставшим от собственных представлений, захотелось отмочить что-нибудь эдакое, глобальное, и возродиться иными, в новом обличье, с новым семейным романом или просто с романом.

<sup>1</sup> Книга Люси Секалди «Невиновная» вышла весной 2008 г.

<sup>2</sup> Достигнув литературной известности и получив Гонкуровскую премию, Ромен Гари (настоящее имя — Роман Кацев) начал выпускать книги под псевдонимом Эмиль Ажар и под этим никому не известным именем также получил Гонкуровскую премию, оказавшись, таким образом, единственным «дважды лауреатом». Впоследствии это вызвало громкий скандал в литературных кругах.

И вот пожалуйста. Мать наносит удар. Провокация из провокаций. Дерзость из дерзостей. Отношения с матерью — ключевой момент для каждого писателя. Литература всерьез начинается тогда и только тогда, когда от матрицы *материнского* языка отделяется собственный язык и дистанция между ними становится осязаемой. Мишелю понадобилась дистанция. Он ее создал. Bravo!

Потом до меня дошло, что все, о чем говорится в статье, правда. Это на самом деле ваша мать, и она на самом деле говорит о вас такие слова. Она на самом деле раздает интервью, оповещая «город и мир» о своей готовности вышибить вам зубы. Тогда я постарался припомнить злобных матерей из истории литературы. Подумал о Витали Куиф по кличке «мамаша Ремб»: сын называл ее «сильнодействующим ядом», она внушала ужас и была «непреклоннее семидесяти трех твердолобых стражей порядка»<sup>1</sup>. Разумеется, Фолькош<sup>2</sup>. Мать Нервала. Затем мать Мориака, какой он описал ее в «Прародительнице». Я вспомнил леденящую кровь мадам Опик, которую считали доброй и заботливой матерью. Как яростно она вцепилась в любимого Шарля после того, как он потерял речь, как рада была увидеть Бодлера беспомощным, выжившим из ума, не способным ей противостоять. На ум пришло его душераздирающее «Благословение»:

Когда вельнем сил, создавших все земное,  
Поэт явился в мир, унылый мир тоски,  
Испуганная мать, кляня дитя родное,  
На Бога в ярости воздела кулаки.

<sup>1</sup> Письмо Полло Демени от 28 августа 1871 г.

<sup>2</sup> Персонаж романа Эрве Базена «Змея в кулаке», навеянный воспоминаниями автора о собственной матери. Прозвище Фолькош образовано от слов «сумасшедшая» и «свинья». (В переводе Н. Немчиновой — Психомора.)

«Такое чудище кормить! О, правый Боже,  
Я лучше сотню змей родить бы предпочла...»<sup>1</sup>

Смутно припомнил, что трилогию Бомарше после «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро» завершает пьеса, которую я никогда не читал и которая называется «Преступная мать», очевидно, все о том же. Я прокручивал своеобразный фильм. Попытался представить все самое ужасное, что припасла нам история литературы. Хотя вашу мать трудно превзойти. Я не уверен, что на свете сыщется вторая такая гарпия, как Люси Секалди, ставшая теперь знаменитостью... (Ну разве что в античной литературе, у Овидия например, встречаются матери-чудовища и даже людоедки, которые поедали своих младенцев в виде рагу или поджаренными на вертеле, но в современном мире, среди обычных людей, скажу честно, не нахожу ничего подобного...) К тому же одно дело иметь дурную мать, и совсем другое — узнать из газеты, что мать считает тебя паразитом, обманщиком, негодяем, ублюдком, отбросом... Мне кажется, что такого не сыщешь ни в какой литературе...

И вот тогда я подумал о вас. Да, я о вас подумал. Как вам горько. Как вы удручены, оскорблены. В каком ужасе, гневе, отчаянии. Какой испытываете стыд. Вспомнил, что вы много писали мне о своем отце. И я уже говорил вам, что меня это тронуло. Но о матери вы ничего не писали. Вернее, почти ничего. И я рассердился на себя: почему не обратил на это внимания, не спросил вас. Почему счел, что так и должно быть. Вспомнил о своей собственной милой маме, такой похолсей на мать Романа Гари или Альбера Коэна. Подумал, какое счастье — если не для

<sup>1</sup> Перевод В.Левика.

писателя, то для человека уж точно, — получить в подарок от судьбы добрую мать. Попытался влезть в вашу шкуру и представить, каково это — быть порожденным этой лавой агрессии и ненависти. Мне захотелось вам позвонить. Хотя у нас это не в обычае. Но захотелось. Просто так. Без особых причин. Узнать новости, поболтать, услышать из ваших собственных уст, как вы переносите внутреннее и публичное землетрясение. И тут же вспомнил, что уже поздно. Учитывая разницу во времени, даже слишком поздно. И не позвонил. Именно по этой причине я вам сегодня пишу. История в самом деле поразительная, беспрецедентная, Эдипово убийство наизнанку, причем публичное и настолько неслыханное, что я предпочел забыть и Конта, и Канта, и Альтюссера, и мизантропическое поколение, и Карла Крауса, а просто предоставить вам слово. В шахматах подобное предложение называется выжидательной позицией.

*8 мая 2008 года*

Вы правы, начни я сейчас рассуждать о Конте или Альтюссере, это было бы смешно, далее немного страшно. Я стал бы похож на человека, который считает телеграфные столбы по дороге из больницы, стараясь забыть, что его жена только что умерла. И продолжает считать всю жизнь то планки жалюзи в их спальне, то плитки в ванной комнате... Меня это пугает, потому что я видел не раз, как мозг отгораживается от того, что внушает ему ужас, механической интеллектуальной деятельностью. Я видел это у старых людей, а иногда и у молодых.

Неделю тому назад моя собака — она гуляла одна — вернулась с прогулки в плачевном состоянии, не знаю даже, как она дотащилась до дверей: задние ноги у нее были парализованы, ее рвало. Я отвез ее в клинику, там ее оставили и прописали кортизон, не решаясь оперировать.

Как раз в это время заговорили о книге моей матери, потом в интернете появились статьи.

Руки и ноги у меня покрылись мокнущей экземой.

Сегодня я привез собаку из клиники, она почти все время спит, но иногда приоткрывает глаза и смотрит на меня. Главное для нее — покой. Я надеюсь, что двигательные функции у нее восстановятся, хотя до конца не уверен. То же самое могу сказать и о себе.



Вы правы, дорогой Бернар-Анри, заметив, что «Люси Секалди, ставшая теперь знаменитостью», по вашему выражению, воскрешает в памяти более злокозненные явления, чем дурные матери из истории литературы, скорее она напоминает живущих в недрах земли уродливых чудовищ из греческой мифологии. Бабу-ягу из русских народных сказок, которая разбивает черепа младенцев и пожирает мозги. Что-то подобное есть и у африканских племен. Думаю, такое есть в любой культуре, только надо добраться до очень древних времен, древнее патриархальных, когда право на жизнь и на смерть потомства, право разрывать в клочья и пожирать собственных детей принадлежало матери.

И вот что я хочу вам сказать: эти доисторические, темные, глухие времена вернулись, мы опять в них живем, это наша постмодернистская цивилизация. Мать и ребенок в наше время противопоставлены друг другу, жестко и непримиримо, начиная с зачатия, потому что только мать, она одна, решает, будет она делать аборт или нет. Вопрос, который мне чаще всего задавали те, кто был отчасти в курсе наших отношений, звучал примерно так: «Почему же твоя мать, врач по профессии, у которой были для этого все возможности, не сделала аборт?» Я на них не в обиде, это вырывалось у них само собой, и спустя секунду, я уверен, люди испытывали неловкость. Я не посягаю на право делать аборт, я вообще ни на что не посягаю, я просто рассказываю.

Так вот, моя мать не сделала аборт, больше того, несколько лет спустя пережила рецидив, родила еще одного ребенка, но от другого мужчины, а потом бросила и дочь, обошлась с ней еще хуже, чем со мной (кажется, отказалась официально, и фамилию Секалди вычеркнули из документов сестры, но доподлинно

ничего не знаю и предпочитаю не уточнять, вряд ли сестре приятно беседовать на эту тему).

Некоторые женщины во время беременности расцветают, у них прекрасное настроение, они замечательно себя чувствуют. Думаю, в этом разгадка: беременность мою мать устраивала, а вот пеленки, кормление грудью — увольте.

Я виделся со своей матерью раз пятнадцать в жизни, не больше, но почувствовал, как меня замутило, когда однажды она рассказала мне, что случайно встретила на острове Реюньон мою кормилицу-мальгашку, и та спросила, как я поживаю. Матери казалось смешным и несуразным, что кормилица спустя тридцать лет не забыла меня и хочет знать, что со мной случилось. А я был взволнован до глубины души, но даже не пытался объяснять ей почему.

Как ни печально, но ни с чем не сообразную агрессию Люси Секалди я ощущаю как ужасающую приметку *современности*.

Ее жизнь — своеобразный духовный заппинг<sup>1</sup>; вообразите, на протяжении нескольких лет она была и коммунисткой, и индуисткой, и мусульманкой (были выходы и помельче, в духе Гурджиева), но доконало меня ее интервью в «Лир», где она объявила себя «православной христианкой».

Дело, конечно, в том, что она органически не способна заниматься детьми, не способна смириться с тем, что умрет, а дети будут жить после ее смерти. Многие сейчас чувствуют и думают точно так же, как она, и с этой точки зрения нынешний демографический кризис Западной Европы не так уж и огорчителен, но в ее время такое отношение было редкостью.

Моя мать — абсолютно эгоцентричная, умная и в то же время ограниченная женщина, я не могу все-

<sup>1</sup> Беспорядочное переключение телеканалов.

ррез на нее сердиться. Она не ошибается, утверждая, что мне было куда лучше у бабушки, которую она именует «злой пролетаркой». (Не правда ли, интересный оттенок приобретают ее коммунистические симпатии?) Обеим своим бабушкам я обязан многими счастливыми годами моего детства; сестре, я думаю, повезло меньше.

Мать оставила меня очень рано, и с первых лет жизни я помню вокруг себя совсем других женщин, а вовсе не мать (образ в моем случае скорее отталкивающий), — бабушек, тетушек, сестер отца, с которыми провел куда больше времени, чем с биологической родительницей. И вне слов, вне памяти была еще кормилица-мальгашка, может, был и еще кто-нибудь. Полагаю, любовью не брезгают, а черпают там, где находят.

Как видите, мое положение было не столь отчаянным, как вы могли подумать (конечно, оно могло показаться жутким тому, у кого была нежная, любящая мать, но это за пределами моего воображения). По-настоящему мерзко и неслышанно (тут вы совершенно правы) то, что град материнских оскорблений и угроз доходит до меня в печатном виде.

Непростительно, что банальный эгоцентризм достиг стадии яростного озлобления. Несколько месяцев тому назад я получил от сестры мейл, она писала, что мать хочет с нами увидеться, предстояло что-то вроде объяснения и взаимного прощения. Я согласился, хоть и без большого энтузиазма, встреча предполагалась в конце января или начале февраля. Потом глухое молчание. Я пребывал в некотором недоумении. Но теперь все понял: мать за это время нашла издателя.

Могу себе представить эту книгу, повествование о «странствии по веку», как выразилась журналистка

«Монд». (Не знаю этой Флоранс Нуавиль, но похоже, та еще штучка... Тон игривый, но «в рамках»: «И все-таки Люси Секалди — это нечто!», и дальше все в том же духе.) А Люси па протяжении четырехсот с лишним страниц излагает, как необычайна и увлекательна была ее жизнь, временами трудная, но разнообразная, как она ездила по всем странам мира и общалась с самыми замечательными со всех точек зрения людьми. Редактировал текст журналист Демонпюн, так что книга не просто дерьмо, а исключительное дерьмо.

Страшновато, что подобная дребедень находит себе издателя, но еще страшнее — тут у меня действительно поднимается давление — падкие на тухлятину журналисты. С какой невероятной жадностью эти трупоеды нажились на самые пахучие и тошнотворные пассажи. Какое-то время они будут поддерживать шумиху, но потом, когда выставка-продажа им наскучит, а вернее, они решат, что она наскучила публике, они зажмут носы и заявят: «Да! Уэльбек в самом деле тошнотворен!» Как будто все это были мои происки.

От раза к разу мои отношения со средствами массовой информации Франции становились все хуже и хуже, теперь они дошли до тотальной ненависти, сродни «тотальной войне». (Странная война, я в ней безоружен, правильнее было бы сказать: «война тотального изничтожения меня».) Нет сомнений, что моя мать не интересуется никого, кроме, возможно, Флоранс Нуавиль, если та в самом деле так глупа, как кажется. Нет сомнения, что с помощью моей матери прикончить хотят меня, и я не должен больше питать никаких иллюзий: для них все средства хороши, и пощады мне не будет. Частная жизнь совсем не то, что общественная? Человек не равен

своему творчеству? Помилуйте, для нас это слишком сложно, никто не станет морочить себе голову подобными тонкостями.

Я чувствую себя средневековым осужденным, которого пригвоздили к позорному столбу. Сравнением пользуются часто, но забыли, каковы ощущения. Осужденный стоял посреди людной площади — шея в деревянном ошейнике, руки связаны, лицо открыто, и любой прохожий мог дать ему пощечину, плюнуть, придумать что-нибудь похуже.

Три года назад я испытал болезненный шок, услышав по радио обвинения журналиста Демонпюна, изобличившего меня во лжи: в интервью журналу «Инокюптибль» я сказал, что моя мать умерла. Я постарался восстановить истину. О смерти матери меня известила сестра, получив сообщение от своего отца, который по-прежнему живет на Реюньоне. Я попросил сестру написать письмо в редакцию и объяснить недоразумение. Письмо было опубликовано среди писем читателей «Инокюптибль», но никакого отклика не имело.

Еще несколько дней назад я намеревался последовать вашему примеру и изучать позиции противника, собирая мнения на свой счет. Теперь в этом нет необходимости: противник обложил меня со всех сторон.

Разумеется, нашлись и исключения, но они так неожиданны и непредсказуемы, что действительно производят впечатление *чудес*. Любопытно; например, что среди серьезных журналов только «Пари-Матч» ни разу не позволил себе коснуться моей личной жизни. Женские журналы (за исключением нескольких, о них говорить не буду) тоже повели себя очень тактично.

Не правда ли, не укладывается в привычные представления? Кто, как не женщины, первые сплетницы и болтушки? Я бы не возражал, но вижу совсем иное. Еще удивительнее, что «Монд» позволяет себе низкопробные подлые выпады, тогда как «Пари-Матч» показывает пример благородной сдержанности. Я тут ни при чем. Таковы факты. Расхожие представления всегда подкреплены какой-нибудь теорией, обычно примитивной. Но если факт противоречит ей, никто не знает, что с ним делать, и его откладывают в сторону, дожидаясь новой теории. (До чего же мы любим теоретизировать, может, в этом наша беда, может, было бы лучше просто и без затей сказать себе, что все дело в том, что люди все разные?..)

Впрочем, никто не запрещает принимать нестандартные факты во внимание. Будь мне сейчас полегче, я бы обрадовался: теперь-то уж точно никакие средства массовой информации мне не страшны. Больше мне терять нечего. Хотя нет, это не совсем так, я с ними не на равных. Это им ничего не страшно, потому что я никогда и ни за что не обращусь к ним ни с единым словом. А я еще могу потерять многое, и это им хорошо известно. Все может стать серьезнее, и обязательно станет.

Я не хочу сказать, что меня стремятся уничтожить физически. Хотя, например, Ассулин, Жакоб, Ноло, Бюнель вздрогнули бы от радости, узнав, что я покончил с собой. (Кстати, вполне возможная вещь, я примерно соответствую психологическому портрету самоубийцы, и сделай я это, никто бы не удивился.)

Но не меньше, чем самоубийству, они бы обрадовались, если бы я перестал писать. Или писал бы, но о моих книгах никто бы не говорил. Говорили бы о чем угодно — о моих счетах, налогах, политических

пристрастиях, любви к выпивке, семейных историях, но никогда ни слова о книгах.

И они своего добьются.

Интересно, что я давным-давно предчувствовал нечто подобное. Помню, предчувствие возникло еще в 1996 году, когда я получил премию «Флор» (тогда я только-только пошел в гору). И вот в разговоре с Марком Вейцманом я без видимой причины вдруг сказал: «Вот увидите, кончится тем, что вы все меня возненавидите». Он замолчал и очень странно посмотрел на меня, а я вдруг ощутил, что бездумно произнесенная фраза была прозрением, меня посетило отчетливое интуитивное озарение, я понял, каким будет будущее. Вообще-то я не верю в интуицию. Впрочем, нет, верю свято, но не вижу в ней ничего мистического, алхимического, считаю, что интуиция — это непредсказуемый миг крайнего напряжения сознания, когда мышление работает с такой скоростью, что ты не успеваешь за ним следить. В такой именно миг я с удивительной ясностью увидел, что именно написал, что хотел написать и что ценится интеллектуалами моего времени. Вывод напрашивался сам собой: скоро, очень скоро я буду *неприемлем*.

В 2005 году я записал на DVD диалог с Сильвеном Бурмо из «Инрокюптибль», у меня было время поразмыслить, я мог проанализировать ситуацию, и мой вывод был однозначен: стая всегда побеждает.

В западном обществе индивид может отделиться от стаи и на протяжении нескольких лет передвигаться относительно свободно. Но рано или поздно свора очнется, бросится по следу и обязательно его схватит.

Она отомстит ему, и месть ее будет безжалостна, потому что сворой владеет страх. На первый взгляд неправдоподобно, ведь свора многочисленна, но она

состоит из серых середняков, им стыдно за себя, и они приходят в неистовство, боясь, что их серость хоть на миг будет выставлена напоказ.

Так и вышло, свора меня схватила. Она не ослабит хватку до самой моей смерти, думаю, что и смерть вызовет «оживленную полемику».

Потом она успокоится: что ей мертвые кости!

Думаю, сказать об этом важно. Важно отдавать себе отчет в том, что ничего не переменялось, и тогда особенно убогим покажется жалкий лепет паршивых газетенок вроде «Телерамы», когда Ван Гога или Арто изображают жертвами буржуазного общества своего времени, ограниченного, обскурантистского. Подразумевается, что сейчас такое невозможно, до того мы стали умными и терпимыми...

Ново в современной травле только отсутствие всякой стыдливости. Грубость. Бесчеловечность. Мне, например, отвратительна та снисходительность, с какой журналист Демонпъон, приглашенный в консультанты, разнимает меня на части, изображая эксперта. Так же я реагирую на блевотину, мне плохо, меня тошнит.

С видом крови я лучше справляюсь... С ненавистью тоже. Допускаю: открытие, что матери у тебя нет, делает тебя *сильнее*, но никому не пожелаю такого способа набраться сил. Я никогда не ощущал любовь как данность и, если честно, никогда не мог до конца в нее поверить. Всегда оставался маленьким дикарем: скрытным, неуправляемым, готовым куснуть.

Что изменилось? У меня и раньше не было матери. Но я знал, что она существует (даже если не знал, в какой части света находится), мог упомянуть о ней в разговоре, у нее было свое место: бабушка, бабушка, потом она. Сестра видела ее гораздо реже, чем я,



для нее мать и вовсе была чем-то призрачным. Но вот что удивительно — дети, которые всю жизнь прожили с приемными родителями, непременно хотят (обычно к концу подросткового возраста) найти «настоящих», даже если жили счастливо.

На вопрос о причине отвечают одинаково: «Хочу узнать». Узнать что? Бывает, но очень редко, что ребенок ограничивается сведениями об отце и матери, какими-то биографическими подробностями. Большинство стремится встретиться, увидеть воочию.

Романтически настроенные воображают чудеса, надеются встретить добрую фею (чаще всего те, кто не был в приемной семье счастлив). Остальные смотрят на встречу более трезво, догадываясь, что человек, который когда-то избавился от ребенка, как от ненужной ветоши, вряд ли окажется очень хорошим, и ожидают увидеть жалкую развалину или подонка. Но все-таки добиваются встречи, тратя немало сил на поиски и административные формальности.

Отношения завязываются редко. Чаще все ограничивается одной-единственной встречей. Несколько часов хватает на всю жизнь. Что происходит за эти несколько часов, остается тайной, но мне кажется, я лучше многих могу это понять.

Может показаться странным, но дети испытывают не ненависть, а что-то другое, более холодное и тоскливое.

И уж конечно речь не идет о *прощении*. Признаюсь, мне претят призывы моей матери: «Мы все должны простить друг другу и т. д. и т. п.». Она пытается подражать Достоевскому, и это особенно бесит. На меня лично подобные сцены производят впечатление зловещего фарса.

Мне кажется, честнее признать: совершено преступление, и последствия его, цепляясь друг за друга,

дятся и дятся. Согласиться, что это зло, что оно было совершено, и нельзя изменить то, что уже свершилось. Если мы это примем, то безграничная подлость превратится в конкретный факт, ограниченный во времени и пространстве. Таким образом, мы попытаемся оборвать бесконечную цепь последствий, остановить воспроизводство несчастий.

Некоторые делают следующий шаг и пытаются в этом зле найти для себя опору, превратив недостойного родителя в отрицательную модель. И бывает, что, оттолкнувшись, продвигаются очень далеко и преуспевают. Я, например, знаю, что моя сестра (надеюсь, она простит меня за то, что я ее здесь упоминаю) отказалась даже от работы, целиком посвятив себя призванию *матери семейства*, и знаю, что ей это удалось. Удастся такое, возможно, одной из тысячи, но зло не фатум. Оборвать цепь страданий возможно.

Но даже и те, кто не обладает подобной силой, получают от встречи с настоящим родителем большую пользу. Обретают теневую сторону. *Tat tvam asi*<sup>1</sup>, «Ты таков», это понимание Шопенгауэр считал краеугольным камнем морали. Светлая сторона — это сочувствие, ощущение родственной связи с жертвой, с любым страдающим существом.

Теневая сторона — признание своей родственности с преступником, с палачом, с тем, кто привел в этот мир беду.

Перед тобой твоя собственная природа, и вместе с тем ты ее главная жертва.

Происходящее трудно описать, но оно не имеет ничего общего с христианским прощением. Скорее это понимание, осознание; познаешь добро и зло в

<sup>1</sup> В дословном переводе с санскрита «то ты еси», одно из ключевых понятий индуизма.

самом себе через посредника. И возникает желание сродни молитве об избавлении, насколько это возможно, от злых соблазнов.

Кажется, я оказался по соседству с философией. Но хотел бы, чтобы окольный путь к ней был не так мучителен. Надеюсь, что уже прошел его, прошел *окончательно*. Хорошо бы и в самом деле обсудить все с философской точки зрения, но у меня не хватило бы мужества начать все сначала, а вот вы... Спенсу отправить вам письмо и с нетерпением жду ответа. Наша переписка стала для меня единственной радостью.

*12 мая 2008 года*

Все это мне знакомо, дорогой Мишель.

На меня-то набросились с самого начала, а вас, похоже, на первых порах щадили.

Я знаю, что клевета, злоречие, ложь оставляют незаживающие раны.

Твердишь: «Все забудется, эту картинку вытеснит следующая, новая информация сотрет старую». Ничего подобного. Все остается. Никуда не девается. Это как постоянный фоновый шум, с которым придется жить до самой смерти. Нет смысла возмущаться, протестовать, восставать. Со мной тысячу раз поступали, как с вашей сестрой, пославшей в «Инрок» письмо, которого никто не заметил. Я выучил назубок железное правило литературной ядерной войны: возможности ответного удара у меня не будет. Да, я никогда не подаю в суд, не требую извинений за все те глупости, которые обо мне пишут, но не потому, что мне это «дорого обойдется» и я боюсь мести со стороны газетной братии. Просто — я написал это в одном из первых писем — какой-то частичке меня нет дела до грязной шумихи, я почти что «огнеупорен». И еще потому, что протестовать бесполезно. Незачем. Судитесь сколько угодно, но в глазах большинства читателей навсегда останетесь грязным матереубийцей, расистом, ненавистником ислама. Я могу представлять любые объяснения, возможные и невозможные, но все

будут против меня, поганого буржуа, который ни черта не смыслит в социальных вопросах и занимается несчастными страдальцами только с целью пиара. Кант говорил: политика — это судьба. Он ошибался. Судьба — это репутация. В нашем абсурдном обществе роком становится молва. И я дорого заплатил, чтобы понять, что против молвы, ложных слухов, искаженной информации мы на самом деле бессильны.

Расскажу вам один случай. Незначительный и многозначительный. Было время, когда в продаже появилась целая куча никчемных, наспех сляпанных, с ошибками на каждой странице книжонок, распространявших под видом биографий злопыхательские рассказы. В одной из них говорилось, что я не только плохой писатель, фанфарон, лжец, Нарцисс, о котором неизвестно почему столько пишут, но и гнусный мерзавец, так как «британские неправительственные организации» (sic!) обнаружили, что на меня на каких-то никому не ведомых стройках в Африке якобы вкалывают тысячи рабов. И вот я открываю утром «Экспресс» и нахожу статейку об этой книге под названием «Добрые дела Бернара-Анри Леви». Статейка короткая. Беззлая. Симпатичный журналист всерьез озабочился моей «судьбой» и написал примерно следующее: «У парня есть заслуги, например дельная книга о Сартре, но теперь мы узнали, что этот гуманист, у которого с языка не сходят права человека и тяжкая доля притесняемых, сам рабовладелец. Обнаружили это британские неправительственные организации». И далее: «Как непредсказуема жизнь! Как загадочны писатели! Вот уж поистине, чужая душа — потемки!...» Журналист, повторяю, был полон благожелательности к столь сложной персоне, которая одной рукой пишет умные книги о Сартре, а другой, в ежовой рукавице, угнетает рабов. Парадокс изложен как данность, без малейшего привкуса скандала, сдержанным тоном

аналитика, который вносит свою крошечную лепту в неисчерпаемый кладезь литераторских странностей. «Почему же вы не подали в суд на лживую книгу, которая опубликовала подобную „информацию“?!» — возмутился главный редактор «Экспресс» Дени Жамбар, когда, случайно повстречав его, я объяснил, что эта история абсолютно беспочвенна и мне жаль, что его журнал оказался излишне доверчивым. «Да потому, что судом делу не поможешь, — ответил я. — Судись не судись, но опубликованная информация усвоена, и ничего не поделаешь, раз вы уже шарахнули мне по голове ядерной боеголовкой».

С клеветой, как видите, я дело имел.

Свора, пущенная по следу? Такое тоже было.

Был и опыт вторжения в личную жизнь, когда охотились за человеком в писателе, науськивали ищек, чтобы сорвали маску и покопались в грязном белье.

Доходило до рукоприкладства, мне бросали оскорбления в лицо (традиционное «тортометание», которое вошло в обычай и в язык, и никто уже не соразмеряет мощь удара, как физического, так и метафорического...). Всему мне приходилось противостоять.

Теперь о том, в чем мы расходимся.

На мой взгляд, ошибочен сам выход, который вы для себя нашли.

Я не согласен, категорически не согласен, что в борьбе, в тотальной войне, в рукопашной схватке писателя со сворой ненавистников неизбежно побеждает свора. Постараюсь объяснить почему.

Первое. Свора всегда боится.

Обычно, видя ее ярость, свирепость, голод и желание разорвать, мы забываем о ее страхе.

Но, несмотря на агрессию, ей страшно.

И боится она куда больше, чем мы.

Больше, чем вы, чем я, чем любой другой писатель, который уже стоял перед их расстрельной командой.

Бернанос говорил, что нацисты трусы.

О том же сказал и Малапарте в «Капуте», изобразив Гимmlера в хамаме<sup>1</sup>.

Думаю, так оно и есть, думаю, люди не вели бы себя так жестоко, если бы их не обуревал нутряной, животный, неукротимый страх.

Но мы, конечно, не станем валить всех в одну кучу. Нацисты — это одно, а люди, которые воспользовались книгой вашей матери и плюнули вам в лицо, — другое. И все-таки я склонен считать, что злобой пышут перепуганные. Уверен, так оно и есть, они же боятся всего на свете: жизни, смерти, своих фантомов, своих фантазий, умершего в них ребенка, с которым они так и не расстались, злобы себе подобных, одиночества, своих желаний, своих фобий, боятся скрытых слабостей, в которых никто и не пытался разобраться, притаившегося безумия, конформизма, безнадежной посредственности, обреченных на провал амбиций, войны всех против всех или вечного покоя, на который, в конце концов, обречены и они. И если вдруг до нас дойдет, если мы вдруг осознаем, что злоба всегда дитя панического необоримого страха, она ширма, которая его прячет, наш страх пойдет на убыль и мы обретем способность выстаивать и сопротивляться.

Расскажу вам еще одну историю.

Примерно того же времени. Я и тогда думал так же, как сейчас, считал, что после того, как зло

<sup>1</sup> Автобиографическая книга (1945) итальянского писателя, журналиста и кинорежиссера Курцио Малапарте (настоящее имя Курт Эрих Зуккерг), который в 20-е гг. активно поддерживал Муссолини, но быстро разочаровался в фашизме.

свершилось, бессмысленно затевать выяснения, но зато нужно сделать все возможное, чтобы зло предупредить. В общем, мне казалось возможным перекрыть заранее поток гадостей, помешать появлению лживых книжонок, позаботившись, чтобы не все пакости были «запечатлены навек». И я стал встречаться со всеми подряд авторами, которые просили меня о встрече. Я говорил себе: нет на свете людей совершенно бесстыжих, убедившись воочию, что я не педофил, не отцеубийца и не знаю что уж там еще, они не посмеют утверждать прот ивоположное. Честно признаюсь, что я решил еще и позабавиться (может, я слишком рано открываю карты?) и выдать за правду кое-какие нелепости, чтобы иметь возможность посмеяться над шайкой ничтожеств в том случае, если книги будут пользоваться успехом. И вот, надеясь заранее смягчить удар и подсунуть собственные версии, я стал встречаться с теми авторами, которых осенила благая мысль сначала повидаться со мной. Среди них оказался один особенно зловредный, я чувствовал, что он вьется вокруг моей частной жизни, и решил щелкнуть его по длинному носу.

И вот мы сидим с ним в баре где-то на окраине, и я, постаравшись сначала всячески расположить его к себе, мягко и доверительно говорю: «А помните, как в семидесятом году на конференции в Хельсинки все вопросы раскладывали по трем корзинам? Давайте-ка и мы рассортируем небылицы, которые, как я понял по вашим вопросам, вы собираетесь опубликовать. В первую корзину сложим те, которые мне нечем опровергнуть, убедив вас, что это ложь. Во вторую отправим те, которые мой скорый на расправу адвокат Тьерри Леви сможет забить вам обратно в глотку, и сделает это с превеликим удовольствием. А в третью уберем те, за публикацию которых подают в суд, но и суд, даже если я дело выиграю, только подогреет к ним



интерес. Зато вы можете схлопотать из-за них множество неприятностей: разбитую морду, небольшую аварию, изрядный перепуг. Знаю, нехорошо так говорить, но у людей добропорядочных принято предупреждать заранее. Я вообще считаю, что предупреждать нужно тогда, когда все еще поправимо, так бывает лучше для всех. А сейчас я вам объясню, что именно я называю клеветой из третьей корзины...»

Тип поднялся в гневе, красный как помидор, и прошипел: «Это шантаж, месье! Меня шантажом не пугаешь! Нам не о чем больше разговаривать. Прощайте!»

Я остался один за столиком и чувствовал себя плохо. «Попробовал и проиграл. Будь я на его месте, поместил бы эту сцену вместо предисловия. Тем хуже для меня. Урок на будущее. Не следует играть на человеческой низости — это опасно».

И только я так подумал, дверь бара открылась, и я увидел эту «оскорбленную добродетель»: на губах у него играла застенчивая улыбочка, брови еще сурово хмурились, но в целом он был куда приветливее. Он снова уселся за столик, опять вынул блокнот, куда записывал наш разговор до ссоры, и пробурчал: «Я вижу, вы не в себе... в какой-то мере могу вас даже понять... При таком отце, жене, детях, конечно, понять можно... Ну ладно, что там у вас в третьей корзине?..»

Проблема была улажена. Человек своры испугался. Испугался глупым, примитивным страхом бандита, который, как в плохом детективе, боится получить в морду и вступает в переговоры. Тем лучше, значит, в его опусе не будет особой грязи.

Второе. Свора слаба.

В чем слабость своры?

В страхе, про страх см. выше.

И еще потому, что ее распирает зависть, недовольство, раздражение, ненависть, досада, озлобление, презрение. Спиноза называет подобные чувства безрадостными, установив, что они не усиливают человека, а ослабляют, являясь не признаком мощи, а напротив, бессилия, они истощают личность, обрекая ее на бездействие, доводя до слабоумия, наделяя весьма относительным преимуществом в постоянной агрессии...

Это вовсе не мораль. И еще менее *wishful thinking*<sup>1</sup>. Туманные и слащавые рассуждения о том, что «на отрицательных эмоциях ничего не построишь, все преувеличенное ничтожно», здесь ни при чем. Речь идет о физике. О механике тела и аффектах. То, что мы сейчас наблюдаем во Франции на примере злоключений Саркози. Если он терпит неудачи, если рейтинг его упал, если разладились отношения с теми, кто его выбрал, то не из-за покупательной способности, не из-за выставления напоказ своей частной жизни, не из-за дружбы с богачами. А потому, что он построил свою избирательную кампанию на раздувании недовольства и раздражения, на пригвождении к позорному столбу плохих французов, потому что помавал старыми пугалами Национального фронта, рассказами об опасных эмигрантах. Короче говоря, потому, что построил свою кампанию на «безрадостных страстях», а «безрадостные страсти», утверждает Спиноза, приводят лишь к кратковременному успеху и не могут обеспечить успех длительный. Деспот, по мнению автора «Трактатов», разделяет со священнослужителем заботу о том, чтобы подданные жили безрадостными чувствами, потому что ими в этом случае легче управлять. Но сам правитель остерегается подобных чувств, он им не поддается, поощряя угнетенность в других, сам бежит

<sup>1</sup> Здесь: стремление Принимать желаемое за действительное (*англ.*).

ее как чумы. Безрадостные страсти лишают правителя возможности править, безвозвратно подрывают его власть, нарушают равновесие... Я не буду разворачивать перед вами доказательства, которые выстраивает Спиноза. Но если вам вдруг захочется самому ознакомиться с ними — книги у меня опять под рукой, — загляните в «Этику», глава IV, теорема 50 и следующие. Я только что от них оторвался. Отправил их факсом Оливье Заму. В журнале «Пёпль» открылась философская рубрика. Удивления достойно.

Что все это означает применительно к писателю? Надо стремиться к тому, что Спиноза называет «избирательным устройством» наших страстей: переход от страсти к действию, от пассивной радости к активной, от внешних причин радости к осознанию ее источника внутри самого себя, от частных понятий к общим и проч. Не знаю, как вы, по мне, например, мстительность совершенно не свойственна. Я тут же забываю свои мучения и все гадости, какие мне были сделаны. Тысячу раз в Париже, и не только, я, пожимая руку ему или ей, вдруг смутно припоминал, что, кажется, он или она написали обо мне что-то отвратительное. Что же именно? Забыл. Иногда жена, если она была рядом, напоминала мне, но иногда ее рядом не было. Но со мной дело обстоит именно так. А сказать я хочу другое. О соотношении сил того, кто живет в постоянном недовольстве, отравленный злобными мыслями, донимаемый тоской и дурной кровью, и того, кто, не обязательно из добродетели, а из-за темперамента, благодаря самовнушению или просто потому, что ему есть чем заняться (например, новой книгой), избежал отравы безрадостных страстей. Второй, просто из-за сути самих эмоций, возьмет верх над первым. Радость придает человеку ума и силы, злоба ядовита и рано или поздно убивает носителя.

Приведу пример. Вы знаете, что в интернете есть сайт, откликающийся на ссылку «Вакchich», претендующий на распространение информации, а на деле распространяющий клевету, сайт, где свили себе гнездо наши общие враги. Так вот, вчера или позавчера я прочитал в «Либерасьон», что у них нет больше средств оплачивать «информаторов» и они на грани разорения. Дело вовсе не в неотвратимости возмездия. Дело в их настрое, в нескончаемом глумлении, в ненависти к другим и к себе, в их яростном желании вашей или моей писательской кончины. Короче, в том, что они варятся в безрадостных страстях, горечи, прогорклой оскомине — она отравляет их, лишает сил, доводит до идиотизма, окаменения, ослабляет. Сила против силы... Могущество против могущества... в этой игре писатель всегда выигрывает. За ним, во всяком случае, остается последнее слово: этот дрянной «Вакchich», названный, безусловно, по недосмотру словом, которым именуют презренную плату доносчикам, не только исчезнет, но и мгновенно забудется, тогда как писатели, над которыми там издевались из номера в номер, будут продолжать писать, и их будут читать.

В-третьих, свора глупа.

Я не хочу сказать, что мы с вами так уж умны. Мы тоже платим дань глупости — например, поддаемся соблазну и обсуждаем в нашей переписке подстерегающую нас паранойю... Но свора еще глупее! Она заведомо глупа! Как толстое неповоротливое животное, которое не видит дальше собственного рыла. Так немного надо, чтобы его встревожить, вывести из себя, а потом сбить с толку, убежать, спрятаться от него.

Под маской, например. Под чужим или подложным удостоверением личности. Ввести, как советует

друг Соллерс, немного театра, овладеть искусством бегства и уклонений. Навести на ложный след. Обманом вывести из строя детекторы зверюги и помешать его триумфу. Овладеть искусством, показываясь, прятаться или, прячась, показываться. Как сказал бы Хайдеггер, использовать умение растворяться в тени или, напротив, становиться «lathanontes», дословно «непроявленным», но уже на свету, там, где нет и признака тени. Хитрость, которая всегда работает, и состоит в том, чтобы, выиграв, плакать о том, что проиграл. Стать приверженцем хитрости китайских полководцев, которая велит атаковать открыто, но побеждать тайно. И действовать. Обязательно действовать. Обычно, когда свора набрасывается, человек сжимается, сворачивается клубком, старается забиться в нору. Но нужно вести себя совершенно иначе. Надо развернуться. Я бы даже сказал, раздвоиться. Как можно больше перемещаться. Увеличить до предела дистанцию между собой и сворой. Отклониться в сторону, прыгнуть вперед, предпринимать тактические отступления, неожиданные атаки, обходные маневры, контратаки или просто отвлекающие действия.

Можно, конечно, обустроить для себя убежище.

Нишу, которая уберезет вас от черного прилива безрадостных страстей.

Кафка говорил о «пещерах» и «норах» — не космических, а земных, где можно хоть как-то укрыться. А можно создавать «острова».

Но прошу вас, только в воображении!

Сгустки времени и пространства, которые станут новыми координатами вашей внутренней географии!

Ниши, но их молено увезти с собой в путешествие, и сами они могут позвать вас в путешествие, которое станет для вас спасительным!

Заметьте, путешествие не обязательно должно быть далеким. Небольшое путешествие по своему городу, и вот вам, пожалуйста, «Панегирик» Дебора. Можно странствовать по своей комнате. Местр — другой! Ксавье де Местр — вместе со своей собакой (да, представьте себе) — проживал в четырех стенах необыкновенные, долгие, увлекательные и опасные одиссеи. Если хотите выступить под другой личиной, то вспомните Гари, Пессоа, да и многих других. А можно меняться от книги к книге, перескакивать с одного жанра на другой — примером тому Сартр, Камю и множество иных писателей, гонимых, поносимых, но не сдающихся. Все они были опытными бойцами и балансировали на туго натянутом канате, сверкая произведениями, вобравшими в себя все доступные науки, они всегда сбегали от своих преследователей, оказываясь там, где свора их не ждала.

Напомню, что полнее всех сформулировал программу спасения именно Бодлер, предложив прибавить к списку прав человека еще два: право себе противоречить и право убежать...

Прошу заметить, что именно такую стратегию рекомендуют полицейские антитеррористические службы тем, кто, как мой друг Салман Рушди, оказался под угрозой смерти. Телохранители? Ближняя защита? Лучше всего двигаться, все время бежать вперед, как можно меньше оставаться на месте, и тем более на одном месте, уметь бросаться из стороны в сторону, удаляться и возвращаться, стремиться к неожиданностям...

У Бодлера и Рушди одинаковая тактика? Да, так оно и есть.

И еще надо помнить, что ни в одной своре нет полного единодушия. Вы и сами, впрочем, это прекрасно знаете. И сами называли мне Бурмо, Бегбедера и других, которые вопреки всем ветрам и бурям,

вопреки злобным псам, столь непохожим на вашего милого песика Клемана (Спиноза всегда отмечал разницу между «псами, лающими животными» и небесным созвездием Гончих Псов), вас поддерживали. Мог бы и я назвать вам моих союзников против псов, братьев по литературным боям, товарищей по несчастью, мужчин и женщин, без которых я бы не выдержал тридцати лет споров, сражений, ударов нанесенных и отраженных, безудержного фехтования.

Назову лишь тех, кого уже с нами нет. Всегда помню деликатнейшего Поля Гильбера, мы встретились тридцать пять лет назад, когда «Котидьен де Пари» только начала выходить, он писал о каждой из моих книг, в том числе и о «Французской идеологии», с которыми вряд ли был согласен, но знал, что за мной по пятам гонится свора. Знал — научило детство при правительстве Виши, — как она дышит в спину, и, рыцарь без страха и упрека, в шлеме золотых, а потом посеребренных временем волос, мгновенно принял решение защищать меня и ни разу не изменил своему решению. Он защищал меня как писатель, хотя сам не оставил ни одной книги, расточив свой гений на творчество друзей.

Вспоминаю Доминика-Антуана Гризони, он тоже умер. Таким молодым! Да, он был совсем молодым и только наметил свой творческий путь, писал книги, не жалел времени на учеников, на женщин, обожал свою Корсику так же страстно, как наш общий учитель, философ математики Жан-Тусен Дезанти, которого все называли Туки. Гризони прожил жизнь небывалой насыщенности, полную восторгов, отчаяния, чувственности, страданий, неистовой тоски. Он был воином и эрудитом, умел язвить и восхищаться, жил страстями, его посещали озарения, он лил воду безумия Арто на мельницу категориальной строгости Альтюссера. Почти до самого конца этот удивительный человек

находил время и снабжал меня тайком боеприпасами и сведениями о стане врагов, давал драгоценные советы, делился пронизательными подозрениями, придумывал спасительные выходы, прожектерствовал, читал и критиковал мои рукописи, писал в поддержку статьи.

Помню множество анонимов, которые писали мне, прочитав мои книги, послушав выступление по радио или телевизору, а иногда просто так, чтобы меня подбодрить, окликнуть, сообщить, что вот эта статья понравилась, а та меньше, по стоит продолжать, не сдаваться, держаться. Вспоминаю Эльзу Берловиц, она не занимала общественной позиции, но была женщиной с сердцем, и со временем я после каждого моего достижения стал с волнением ждать от нее факса (в тот день, когда мы, горстка друзей, встретились, чтобы рассеять ее пепел в розарии Багатель, мне показалось, что я лишился поддержки такой же весомой, как поддержка Бернара Пиво или Жозианы Савиньо, честное слово!); вспоминаю о другой женщине, я ее никогда не видел, она называла себя А., возможно, Алина, она писала мне каждый день, действительно каждый день на протяжении двадцати лет, просто так, то комментируя мои действия, то говоря несколько слов о такой-то странице моей книги, посылая то адрес прачечной, то клевер с четырьмя листочками, вырезанную статью (как-то, вернувшись домой после летнего отдыха, я чертыхнулся, увидев пачку в тридцать или сорок писем, которые должен был хотя бы просмотреть, но среди них не оказалось ни одного от А. Позже кто-то из близких сообщил, что она умерла. Смерть этой женщины без имени, которую я никогда не видел, знал только по письмам, причинила мне боль, словно я потерял близкого друга...).

Вы упомянули интернет, и я хочу спросить: может, и у вас есть благополучный опыт общения, ко-



торый опровергает мнение, что блогосфера — мировая помойка? Один австралиец прислал мне что-то вроде диссертации по моему Бодлеру, а этой книге по меньшей мере лет двадцать... Студенты университета Хофстра на Лонг-Айленде под руководством своего профессора тщательно собрали записи моих выступлений, которые случались там и сям на протяжении десятилетий... Один китаец записал лекцию, которую я читал 12 апреля 1986 года в Институте иностранных языков в Пекине, и в один прекрасный день вдруг захотел ее со мной обсудить... Поклонник Романа Гари выявил все упоминания о нем в моих текстах... Защитник осажденного Сараева нашел себя в книге «Босния!» и начал меня читать... Я вижу перед собой союзников, появившихся ниоткуда и отовсюду, друзей, спасающих нам жизнь, маленькую армию теней и света, «форум» там, «форум» здесь, а потом еще и еще... В конечном счете невесомое набирает весомость и оказывается гораздо значительнее кучи навоза, под которой наши враги хотели бы нас похоронить. Согласитесь, это придает мужества. Вновь располагает к доверию. И это последний довод в пользу того, что и вы, и я не только останемся в живых, но и выиграем битву. Война продолжается. Поражения тоже, но... Я знаю, что вы все это видите по-иному. И все-таки...

Вот еще что, дорогой Мишель. Я сообразил, что так и не ответил на ваш вопрос о философской природе зла, о его тисках и возможностях не поддаться «дурным соблазнам». (Если бы знал такие возможности, непременно сказал бы; но, во-первых, я не верю, что возможно «оборвать бесконечную цепь последствий, остановить воспроизводство несчастий»; во-вторых, вместо цепи вижу «ленту Мёбиуса»: даже когда кажется, что уже выпутался и справился, вновь соприкасаешься все с тем же злом, и оно неизбывно; в-третьих, суть не

в том, чтобы «избыть» зло, а в том, чтобы «быть» с ним, но уменьшить его власть. К предложениям на этот счет я, скорее всего, вернусь в другой раз.) Ничего страшного. Мне хотелось высказать вам то, что я высказал, и как можно скорее. Может быть, я наивен или слишком впечатлителен. Но от тона вашего письма, или двух-трех слов в нем, у меня застыла кровь, и мне захотелось тут же ответить. Сразу. Не медля. Не надо бояться. Я уверен, бояться не надо. Вы ведь знаете Гоббса? Знаете любимую шутку, которую часто повторял своим друзьям этот беспримерный чемпион страха, его теоретик, считавший страх не только основой государственности, но и любой социальной жизни? Так вот, Гоббс шутил, что сроднился со страхом во время преждевременных родов, случившихся у его матери от смертельного перепуга. Видите, и у него не обошлось без матери... Никуда нам от них не деться... Но бояться не надо, ни матерей, ни страха.

*20 мая 2008 года*

Ваше письмо, дорогой Бернар-Анри, подвигло меня на долгие размышления, но они ни к чему не повели, как бывает всегда, когда я пытаюсь размышлять о стратегии (как бы я за себя порадовался, если бы вдруг увлекся «Искусством войны» Сунь-цзы, игрой в го или, на худой конец, шахматами и Клаузевицем; но нет, на свою беду я играю в игры не сложнее белота и «Придорожных столбов»<sup>1</sup>, в крайнем случае подступаю к картам Таро, а почему — сам не знаю, is школе я любил математику и меня даже считали способным).

Говоря по совести, я сомневаюсь, что вы достаточно опытни по части клеветы, мое «сомневаюсь» свидетельствует, что вам удалось очень многое, но все-таки не все. Я знаю, что о вас говорили разное, в том числе и малоприятное, но, спроси меня, что именно, я бы не смог припомнить и рассказать хоть что-то (хотя, поверьте, в последние годы я частенько читаю газеты). Значит, наши злопыхатели в самом деле ничтожества, раз не способны сфабриковать хоть одну запоминающуюся историю, тут их обойдет любой, даже средний романист. Но они марают, оставляют след, пятно грязи, и их отметки работают, воздействуют на мозги,

<sup>1</sup> «Тысяча придорожных столбов» — игра со специальными картами на тему первых автомобильных гонок, изобретена в 1958 г.

вы это знаете лучше меня, потому что дольше находитеесь в ряду «живых мишеней». У кого-то скопились излишки ненависти, ему нужно поделиться «безрадостными страстями». И вот, пожалуйста, есть на кого их вылить, к примеру Бернар-Анри Леви. И еще Уэльбек, он тоже сгодится, тоже сейчас на виду.

После того как мы с вами вступили в переписку, я шепнул себе, что вскоре у меня появятся новые враги — ваши. Потом, вдохновившись вашим примером, решил, что на самом деле надо «прощупать позиции противника», и занялся поисками в Гугле. И для меня все очевиднее становился один любопытный и значимый факт: *враги и у вас и у меня одни и те же*. В интернете это обозначилось без всяких околичностей, люди там позволяют себе вконец распоясаться, ведут себя вульгарно и нарочито оскорбительно. Но если честно, кроме избыточной грубости (в конце концов, может, и она естественна, раз интернет стал чем-то вроде «всемирной деревни»<sup>1</sup>, украсив нашу жизнь жизнерадостной грубостью деревенщин), приходится признать, что интернет мало чем отличается от традиционной прессы — и мне стало грустно, что человечество нашло такое жалкое применение этому изумительному инструменту.

Среди наших самых злобных и последовательных врагов сайты (Bakchich.info тому примером), сходные с печатной продукцией вроде «Канар аншене» и «Буаси», — не собираюсь отыскивать значимые отличия между двумя этими газетами (но не могу не отметить, что, когда в «Буаси» рубрику литературной критики вел Фредерик Бегбедер, она была гораздо интереснее, чем в «Канар»), Информацию о себе я часто находил в рубриках «Нескромности», «Красный телефон» и

<sup>1</sup> Термин М. Маклюэна, введенный им для обозначения новой коммуникационной и культурной ситуации, сложившейся благодаря распространению электронных средств связи.

проч., которые так размножились в последние годы в прессе, и это было полное вранье, доходившее до гротеска. Но пальма первенства по лжи среди всех наших массмедиа принадлежит «Канар аншене». Там я ни разу не прочитал о себе правды. Сообщения не грешили преувеличением или тенденциозной подачей фактов, они были просто-напросто ложью, в самом чистом и неприкрытом виде. Мне становится нехорошо при одной только мысли, что люди, читающие «Канар аншене», рассчитывают найти там особую информацию, неизвестную большей части публики, добытую ценой долгих кропотливых расследований. Все гораздо проще: там все выдумывают, пишут без затей, что в голову взбредет. Изумляет безнаказанность подобных журналистов. Им ничего не грозит и в дальнейшем; машина правосудия так сложна и тяжела на подъем, что мало какая жертва (кроме политиков и вообще всех тех, кто имеет власть над спецслужбами) отважится пустить ее в ход. К тому же никому не хочется разъярить против себя журналистов, куда проще и разумнее *стусиваться*. Мешает и какая-то неловкость: неприятно оправдываться перед теми, кого презираешь...

Среди наших яростных и постоянных врагов также все сайты (тошнотворная и разрастающаяся поросль) ультралевых, которые можно сравнить с газетами «Монд дипломатик» или «Политис». Согласно максималистской логике интернета, эти сайты идут гораздо дальше прессы, и по отношению к людям вроде нас они недалеки от призыва к уничтожению. И здесь мы можем отдать себе отчет, что противостоит естественный симбиоз ультралевых и исламистов не выдумка Жилия-Уильяма Голднаделя<sup>1</sup>, а явление

<sup>1</sup> Адвокат и публицист, специалист по политико-финансовым делам, известный своими правыми и в то же время про-израильскими взглядами.

с каждым днем все более ошутимое. Пусть отвечают перед историей все те, кто всеми силами оправдывает ислам, называя его «религией бедняков» и отыскивая точки соприкосновения между марксизмом и шариатом, я считаю, что любые проявления агрессии, в том числе и бывшие, и будущие убийства евреев во французских предместьях, отчасти на их совести.

Когда страсти улягутся, когда мы с вами наконец-то умрем, какой-нибудь историк будущего извлечет немало поучительного из факта, что нам с вами в эти времена была отведена роль «врагов общества». Я не в силах этого сформулировать, я это только чувствую, но мне кажется, что тот, кому удастся понять, почему именно мы, столь несхожие, стали главными козлами отпущения во Франции нашего времени, поймет многое об истории Франции.

Но сейчас, пока мы все-таки еще живы, положение у нас не из легких. Я вам очень благодарен за то, что вы не убеждаете меня, будто «все скоро уладится». Ничего не уладится. Так откуда же ждать хоть какой-то помощи? Если говорить всерьез, то помогают безвестные читатели (безвестные или известные — неважно, главное, читатели), которых иногда встречаешь в интернете, а иногда и на улице. Завязавшийся разговор никогда не бывает натянутым или неловким. Они чувствуют, что их много, полагают (справедливо или нет, можно судить по-разному), что я очень занят, и спешат «высказать главное».

Первое, что они говорят мне: «Продолжайте писать». Чаще всего без обиняков, грубовато, именно такими словами: «Продолжайте писать!» Интересно узнать, почему они так настаивают. Думаю, не потому, что

мои писания несут на себе печать особого мученичества. Меня часто спрашивали, мучает меня писательская работа или радует, а я никогда не знал, что ответить. Дело в том, что она и мучает, и радует, но совершенно по-особому. И уж точно напрягает до крайности, нервно истощает и опустошает. В большой статье, опубликованной в нашем любопытнейшем журнале «Ревю де дё Монд» (я всякий раз удивляюсь, что до сих существует журнал, родившийся чуть ли не в 1830 году, ровесник романтизма, который он и поддерживал!), автор Марен де Вири провел оригинальную параллель между литературой и велосипедным спортом. Восхваляют, писал он, чаще всего подъем, каждый сантиметр дороги в гору. Нам кажется, что фразы, цепляющиеся друг за друга на подъеме, требуют сверхчеловеческих усилий. Но кроме гор существуют равнины, в равнинные периоды, нам кажется, ничего не происходит, хотя и тут все может опрокинуться в один миг, и длинные пробеги по ровной местности, местности, которая только кажется ровной, обладают своим очарованием. Автор, помнится, видел меня на равнинной дистанции, спасибо ему! Но у меня совершенно другие ощущения. Лично у меня мои романы вызывают чувство, будто я лечу с горы (подобные полеты мало изучены, публики на них не соберешь: материя достаточно скользкая. Даже телевизионщики за ними не гоняются, опасаясь пострадать). А у меня возникает ощущение, что роман будет написан тогда, когда я найду правильную расстановку сил, которые естественным путем доведут текст до самоуничтожения, до взрыва мозгов, тел — короче, к полному хаосу (но важно, чтобы и силы были совершенно естественными, неотвратимыми и тупыми, вроде веса и рока). После этого моя работа сводится к тому, чтобы удерживать руль, мчаться по краю пропасти и не сорваться. Вы-

матываешься страшно, но не в обычном смысле. Дело-то реально опасное.

Но читатели об этом не подозревают. Я притормаживаю понемногу и не выпускаю руль из рук, со стороны мои усилия незаметны, результат оставляет ощущение совершенной геометрической траектории, уходящей в вечность.

Хотя, если приблизиться к тексту вплотную, усилия видны, и, возможно, читатели тоже кое о чем догадываются. Впрочем, нет, большинство, я думаю, довольствуется чтением, испытывая чувственное и интеллектуальное удовольствие, какое испытывают при удачном спуске (на велосипеде, на лыжах, ощущение одинаковое. «Формула-1» не так упоительна: есть замедления, ускорения, машина, в конце концов). Так значит, если меня так настойчиво, в приказном порядке призывают продолжать писать, подозревая, что я готов от писательства отказаться, дело не в моих профессиональных трудностях.

Вполне возможно, эго связано с тем, что меня *видели* по телевизору, на какой-нибудь конференции, пролистали то или другое интервью, и всякий раз было совершенно очевидно, что я смертельно скучаю, быть может, даже борюсь с зевотой, без сомнения, малоразговорчив и безрадостен, словом, плохо справляюсь с ролью автора.

Должен сказать, что я по своей природе очень плохо приспособлен к жизни на людях. Все свои школьные годы я только и старался, чтобы меня никто не заметил, и, начав работать, ничуть не переменялся. Но посмотрите, до чего дошел!.. Странная штука судьба, что ни говорите.

Но не подумайте, что я вел себя так из *скромности*. Ничего подобного, сколько я себя помню, я всегда страдал манией величия. С детства мечтал покорить



человечество, обольстить его, взбудоражить, оставить след, отпечаток, но при этом всегда хотел оставаться в тени, заслониться своими творениями.

Именно тут я и потерпел фиаско — и это самое меньшее, что можно обо мне сказать.

Филипп Соллерс вот уже почти сорок лет дразнит журналистов, да так, что они ничего или почти ничего не знают о его частной жизни. Вот это успех так успех! Хотя надо заметить, что начинал он во времена куда менее наглые, чем наши, что в отношении его успела наработаться своего рода инерция, и все-таки как не изумляться?

Вы, простите за прямоту, не так преуспели, правда, и начали позже, и вступили на взрывоопасную почву.

Обо мне и вовсе нечего говорить.

Во время некоторых встреч с читателями я иной раз позволял себе слабость, высказывая сожаления о той враждебности и даже ненависти, какие меня сопровождают. Отвечали мне всегда одно и то же (ответ был всегда один, исключений я не помню). Мне говорили: «Мне это непонятно... Ведь вы должны быть *выше этого*».

Я видел, что огорчаю их. И понимал почему. Ведь и в самом деле были другие времена. Правда, давно, но я-то их хорошо помню... Годы, наверное, девяностые или около того. В «Нувель ревью де Пари» уже печатались мои стихи и статьи, но книга о Лавкрафте в серии «Неприкасаемые» еще не вышла. Работы у меня не было, и я приходил на еженедельные собрания в журнал. Мишель Бюльто тогда только что опубликовал в той же серии свою книгу о Фредерике Рольфе, бароне Корво. А в «Экспресс» вышла статья Анжело Ринальди с весьма серьезной критикой этой книги.

Наверное, следует сказать, какие у нас с Ринальди сложились потом отношения. Так вот, Анжело Ринальди по-разному оценивал мои романы, но в конце концов неприятие взяло верх. Однако он никогда не опускался до личных выпадов, никогда не грешил вульгарностью Ассулина или Нолло. Анжело Ринальди не нравятся мои книги, на что он имеет полное право.

В тот день на редакционное заседание пришло множество народу (пиарщик, главный редактор, авторы...), все обсуждали статью, обсасывали со всех сторон, решали, как лучше нанести ответный удар. Я пришел в полное недоумение. В то время я еще не знал, кто такой Анжело Ринальди (для молодых напомним, что в 1980—1990 годы он был очень влиятельным французским критиком). Не мог понять, кому придет в голову читать «Экспресс» (и сейчас не понимаю). И пытался высказать свое мнение. Спустя какое-то время я почувствовал, что раздражаю присутствующих, повторяя на разные лады одно и то же, а твердил я следующее: «Ну какое это имеет значение? Какая-то статья в *журнале...*» Мишель Бюльто недовольно на меня поглядывал и в конце концов буркнул: «Потом поймете!»

С годами *мельчаешь*, вот что я хочу сказать. Сначала для тебя существует книга, ее ты ставишь превыше всего, остальное (газеты, журналы) для тебя пустяки, не имеют ни малейшего значения, так, копошение паразитов, пытающихся вторгнуться в уникальные и удивительные отношения автора с читателями.

Проходит время, и действительность поворачивается к тебе другой стороной. Моей ахиллесовой пятой оказались, например, деньги. Стоило выйти «Элементарным частицам», и я уже посмотрел на прессу совсем по-другому. Я вдруг сообразил, что у меня воз-

ника возможность расстаться со службой. Нежданное счастье, немислимое. И я стал шевелить руками и ногами, чтобы расширить щель, сквозь которую пробился лучик света. Давал интервью всем газетам, всем журналам. (Сидение в конторе всегда мне казалась потерей времени, и работал я только ради куска хлеба, даже если у меня и были симпатичные коллеги — с особенным теплом я вспоминаю Национальную ассамблею.)

Тогда я полагал, что рыночный успех книги зависит от журналистов. И все вокруг считали точно так же. Верить в прессу естественно для пиарщика, такого его работа. Но для издателя? Ведь он в какой-то мере все же деловой человек, время от времени просматривает бухгалтерские отчеты и с годами мог бы сообразить, как обстоит дело. Впрочем, издатели, равно как и все остальные производители, не совсем деловые люди, они жаждут *признания культурного сообщества* и ждут его почему-то от журналистов, а не от университетских профессоров.

Известность меня никогда не привлекала. Обзаведись я рентой, я по-прежнему писал бы книги (и даже, может быть, в большем количестве). Но работать на телевидение не пошел бы никогда.

После шумного выхода «Элементарных частиц» меня затянуло в эту машину, я стал *дичью*. Поначалу все шло довольно гладко. В руках старых хрычей, в общем-то вполне цивилизованных, вроде Анжело Ринальди и Мишеля Полака, полемика не выходила за рамки *литературной дискуссии*, но очень скоро меня стали доставать куда основательнее. И так же скоро я понял, что интервью, как признания в американских детективах, «могут быть использованы против меня». Все, что я сказал и чего не говорил. Журналист Демонпюн быстренько стал специалистом по Уэльбеку и тоже скоро сообразил, как использовать

мои интервью. Если я высказывал нестандартные мнения, то объявлялся мерзавцем, если не высказывал, оказывался мерзавцем вдвойне, так как лицемерил.

Вот пример из интервью, взятого у этого паразита:

— Вы полагаете, он ненавистник мусульман?

— Без сомнения. У меня масса тому доказательств, его высказывания говорят сами за себя.

— Вы полагаете, он расист?

— Тут ответить сложнее, на эту тему он *высказывается с большой осторожностью*.

(Не поручусь, что передача дословная, по ход мысли передан верно, и его не составит труда подтвердить.)

(Хочу заметить, что все это происходило не при фашистской диктатуре, не во времена московских процессов, а у нас, во Франции, три года тому назад.)

Вы правы, говоря, что не стоит все валить в одну кучу. Но ведь гад, которого я процитировал, ничем не отличается от гадов, которые хозяйничали при фашистском режиме. Не стоит питать иллюзий, люди несколько не улучшаются, меняются только исторические обстоятельства. В современной Франции меня не казнят, не будут пытаться и даже не посадят в тюрьму (хотя одна из преследовавших меня мусульманских общин требовала на суде, если мне не изменит память, чтобы меня приговорили к году тюремного заключения. Требование смехотворное, его никак не могли удовлетворить). Интервью, конечно, грозили мне меньшими неприятностями, чем, например, несданный во время учебы экзамен или проваленный конкурс (не секрет, что есть *мерзавцы-экзаменаторы* и *вопросы-ловушки*). Но я сравнил бы их

с ежегодными аттестациями, от которых зависело мое продвижение по службе и которые были непременно атрибутом моей профессиональной деятельности.

В общем, по-настоящему бояться мне нечего, если только слегка побаиваться, и, сказать по правде, я не разделяю ваше совершенно негативное отношение к страху. Психологи утверждают, что умеренный страх, вызывающий небольшой стресс, способствует наилучшему проявлению умственных способностей, если не творческих, то таких, которые позволяют гарантировать экзаменатору минимальное социальное удовлетворение, что и требуется на экзамене (на собеседовании, при прохождении конкурса).

Куда болезненнее я отнесся к «неавторизованным биографиям». В конце концов, по какому праву? И почему я же должен подавать жалобу на это столь очевидно безнравственное деяние? Почему такого рода произведения не запрещены вообще? Кто дал право журналисту Демонпьону брать на себя роль полицейского и вести следствие? Кто позволил ему нарушать тайну переписки? Что ни говорите, но есть в нашем обществе явления, которые я никак не могу принять.

И как же я стал действовать? Очень глупо. Не так, как вы советовали, вовсе не «предупреждающим маневром». Я очень сожалею, что не испытал на авторе биографии метод физического воздействия. Скорее всего, он бы сработал, а учитывая несовершенство нашего законодательства, он мне кажется вполне допустимым. Однако я, вопреки распускаемым слухам, не «ставил ему палки в колеса». Мне звонили, предлагали выступить в качестве свидетелей, я отказывался, вот и все.

Были люди, которые, не спрашивая меня, вступили в полемику, в том числе давние друзья, и я со

скрежетом зубным, но не колеблясь вычеркивал их имена из записной книжки.

С куда более легким сердцем я расставался с печатными изданиями, которые без моего согласия публиковали искаженную, да и правдивую информацию о моей частной жизни. Тут сердце не рвалось, а итог показался мне даже забавным. В результате со мной остались: ежедневные газеты «Юманите» и «Круа», еженедельники «Эль», «Инрокюптибль», «VSD» и «Пари-Матч». Ежемесячников я насчитал больше, например, никаких проблем у меня не возникло с «Французским охотником» и «Собаками 2000»... Шучу, а если серьезно, то я уже говорил, что женские и журналы для мужчин повели себя безупречно.

Как только мной стали интересоваться как писателем, самые лучшие интервью, на мое удивление, появились отнюдь не в солидных журналах. Выходит, в нашем странном обществе дутая репутация бывает не только у людей. А когда видишь, как кишат всевозможные черви лжи, противоречивые, велеречивые, которые правильнее было бы назвать *небылями*, в душе просыпается что-то от Оруэлла. Но для меня они не слишком любопытны. Жаль, Филипп Мюрэ рано умер.

Времена были трудные, но у меня оставались силы. Придавала их *ненависть* к журналисту Демонпьону. Относительно ненависти вы, по-моему, заблуждаетесь так же, как по поводу страха. Мне редко доводилось испытывать это чувство, но помню, в нем было что-то освежающее, бодрящее.

С книгой моей матери все совершенно по-другому. Ни один из моих читателей не посоветует мне *быть выше этого*. Каждому понятно: произошло нечто непоправимое.

Должен сказать, хоть это и странно, что я никогда не ненавидел свою мать. Думаю, потому, что, каковы

бы ни были обстоятельства, возненавидеть мать очень трудно. Думаю, еще и потому, что ненависть в этом случае переходит на тебя самого, ты себя отрицаешь. Я ощущаю оцепенение, скованность, тоску и мрачную безнадежность. Но не ненависть, нет, ничего похожего. Мне кажется, меня укусила ядовитая скорпиониха, и теперь я жду, когда она меня сожрет. Я наделяю свою мать той же бессознательной агрессией, какая свойственна скорпиону, потревоженному на своей территории; согласно своей природе, он ничего другого не может, как только кусать и выделять яд (пауки все-таки не кусаются).

Есть еще одно чувство, которого я никогда не испытывал, — это *стыд*. Стыд за свою мать, стыд быть ее сыном, стыд быть таким, каков я есть. Ницше высказался на этот счет полновесно и значительно («Кого называешь ты плохим? Того, кто вечно хочет стыдить...»<sup>1</sup> и т. д.). Ницше хороший писатель, очень хороший, но все-таки недостаточно хороший, и я вспоминаю другого, он первый приходит мне на ум, когда речь заходит о стыде. Это Кафка. Я редко упоминал Кафку, говоря о своих ранних литературных потрясениях. Но и его я прочел где-то лет в шестнадцать, тогда же, когда Достоевского и Ницше, которых цитирую постоянно. Потому что, наверное, в них (и у Паскаля тоже) есть, пользуясь выражением Лотреамона, «положительное электричество», хочется разговаривать с ними, отвечать им. Кафка совсем другой, он примерно такой, каким я сейчас себя ощущаю. Ему тоже свойственно оцепенение, скованность, физическое ощущение холода. Помню, первой была книга „Превращение“ и другие новеллы», из карманной серии, а следом вскоре «Процесс» в издании «Фолио». Последняя фраза «Процесса», сразу

<sup>1</sup> «Веселая наука». Перевод К. Свасьяна.

после того как Йозефа К. настигли двое убийц и один из них вонзил в него нож: «Как будто этому позору суждено было пережить его»<sup>1</sup>...

В основе моих произведений есть нечто связанное со стыдом. Публикуя первые книги, признаюсь честно, я хотел, чтобы за меня становилось стыдно (хотя повторяю, может, звучит это смешно, но я говорю правду — я *никогда не стремился быть на виду*...). Но меня подстерегала удивительная неожиданность, читатели подходили ко мне и говорили: «Да, все, что вы описываете, типично: многое вообще в природе человеческой, а многое характерно для людей нашего современного западного общества... Мы вам благодарны за мужество, за то, что не постыдились все это наконец высказать».

В стыде все дело. Думаю, его-то и испугались. Поэтому и стали с таким жаром утверждать, будто в моих произведениях не общечеловеческая правда, а психический травматизм искореженной особи. В этой яростной борьбе *биография*, жалкая и глупая *биография*, становится самым действенным оружием. За последние недели ярость достигла высшего накала.

Примитивная, но действенная из-за своей грубости попытка превратить литературу в *свидетельство*; впрочем, такую возможность задолго до Ницше предсказал Токвиль.

Потому что для нашего общества очень важно, чтобы люди стыдились самих себя. Вполне возможно, стыд у нас главное орудие дрессировки. В предыдущих письмах вы сетовали, уважаемый Бериар-Анри, что вас считают человеком, лишенным *чувства юмора*. Я нахожу это вашим величайшим достоинством.

<sup>1</sup> Перевод Г. Снежинской и Риты Райт-Ковалевой.



Что такое юмор, как не стыд за то, что ты чувствуешь? Своего рода уловка, изящный пируэт раба в положении, которое естественным образом должно вызывать или гнев, или отчаяние. Понятно, почему он сейчас так ценится.

Но я, кажется, занялся обращением обращенного. Я уже успел сказать, что не верю в евреев... Да, в общем-то это так, но в отдельных случаях... Нет сомнения, что евреи первыми стали развивать пресловутое «чувство юмора», которое позволяет, на нашу беду, выносить невыносимое. Ныне все переменялось, и я испытываю глубокую радость, видя, что *Израиль сражается*.

Неужели я опровергаю все, что как доверчиво высказывал вам с самого начала нашей переписки? Неужели теперь хочу сказать, что предпочитаю борьбу? Нет, не совсем так. Дело в том, что отказ от борьбы (или принятие оной) был для меня до сих пор результатом *выбора*. Я предпочел довести дело до суда, а не принес «публичные извинения», которыми удовлетворились бы мусульманские организации. И напротив, предпочел игнорировать журналиста Демонпюна. Не протестовал, а просто-напросто обрывал любые отношения с газетой, где появлялись те подробности моей жизни, какие могут стать достоянием публики только в ходе процесса над преступником (и то бывает, что заседания проводят при закрытых дверях).

Но сейчас я впервые лишен выбора, поскольку речь идет о моей матери. Я похож на человека, окруженного зыбучими песками, который точно знает, что любой его шаг всколыхнет их и грязь погребет его под собой.

27 мая 2008 года

Предлагаю, дорогой Мишель, давайте остановимся и не будем больше касаться грязи, ненависти, козлов отпущения, клеветы.

На этот счет мы сказали все, что могли.

А вот история с вашей матерью, конечно, далеко не исчерпана.

Так же как симбиоз ислама и ультралевых, новые союзы между новыми красными и новыми коричневыми, сокращающееся расстояние между арьергардом «Монд дипломатик»<sup>1</sup> и авангардом эскадронов смерти джихада. На этот счет я, как и вы, думаю, что «это еще цветочки». (Мы с вами не сходимся во мнениях относительно ислама: лично я всегда отделяю его от фундаментализма, вовсе не из осторожности и не из политкорректности, а потому, что искренне не считаю ислам *как таковой* чуждым духу Просвещения, демократии и свободы.)

Об остальном — ваших и моих врагах, их общих интересах, загадке, которая будет разгадана не раньше, чем мы поймем, что между нами общего, о причинах, почему одного писателя ненавидят больше, чем любого другого, я думаю, мы сказали всё, и все

<sup>1</sup> Солидный ежемесячник «Монд дипломатик» придерживается антиизраильских взглядов на вопросы, касающиеся арабо-израильского конфликта.

эти пешки, продажные биографы — в самом деле ничтожества, шпики, трупоеды, паразитирующие на живых, нули, и ничего больше.

В заключение скажу, что если в конечном счете мне на все это более-менее наплевать, если я никогда не отвечаю им и позволяю себе советовать вам поступать так же, то делаю это не из-за радостных или безрадостных страстей, не из-за стратегии и адекватного ответа, не из-за Спинозы или Гоббса, а потому, что эти люди в самом деле *нам неровня*.

Но есть две темы в вашем письме, которые навели меня на размышления, тоже, вполне возможно, бесплодные... И все-таки....

Первая: ваши школьные годы и старания, как вы пишете, «чтобы меня никто не заметил». Юный Уэльбек по свойственной ему природной застенчивости был человеком наименее приспособленным «к жизни на людях». Но из-за этого несовпадения все и началось. И вторая. То, что вы пишете чуть выше о «силах», увлекающих вперед ваши тексты, проблемах «руля» и «тормозов», о литературе как разновидности, но не тавромахии, а велосипедного спорта, ваши откровения о манере писать, о страсти к писательству.

Первое заинтересовало меня потому, что, как ни странно, я, точно так же, как и вы, не был готов к своей теперешней роли.

Я не скажу, что сильно мучился, когда мне приходилось «играть роль автора».

Не скажу, что в детстве или отрочестве, страдая от природной застенчивости, старался ступешаться, цеплялся за одиночество, бежал от софитов — словом, делал все то, что, как я прочитал между строк, было свойственно вам.

Но меня совершенно искренне устраивала «известность в узких кругах», которой я пользовался

в школе, в небольших компаниях приятелей, короче, среди тех, с кем я общался.

И еще, тоже совершенно искренне, я, заглядывая в будущее и хмелея, как свойственно юношам, отпряного запаха мечты, видел приключения, схватки, может быть, прекрасные книги, но видел их как случайность, внезапный взрыв, единственный, уникальный, и не помышлял никогда, что взрывы выстроятся в ряд и примут форму «известности», ставшей моей и вашей участью.

В Эколь Нормаль были молодые люди, мечтавшие стать министрами или, как Жорж Помпиду, тоже наш выпускник, президентами республики.

Были те, что видели себя *великими писателями*, наподобие других выпускников Эколь Нормаль, вроде Сартра или Реймона Арона, которые были тогда в зените славы.

Мой однофамилец Бенни Леви рвался вперед, ощущая себя в ту минуту воплощением Ленина, что воодушевлял своими речами советский народ.

Я не был на них похож.

Не помню, чтобы в мае 1968-го мне хоть раз захотелось выступить с пламенной речью на каком-нибудь митинге.

И уж тем более мне никогда не приходило в голову мечтать о будущем — только этого не хватало! — перед колоннами Пантеона, как это делают герои Жюлья Ромэна, тоже студенты Эколь Нормаль<sup>1</sup>.

Напротив, вспоминается совсем другое: 1966 год, первый день занятий, на галерее собрались все подготовительные классы, какой-то юноша сравнивает

<sup>1</sup> Главные герои эпопеи Жюлья Ромэна «Люди доброй воли», Пьер Жалез и Жан Жерфаньон, встречаются в Эколь Нормаль. Один из них впоследствии становится писателем, другой — политиком.

Помпиду с его однокашником, мало кому известным латинистом Пьером Грималем, и восхищается первым. Я, ни секунды не колеблясь, присоединяюсь к тем, кто смеется над пареньком, имевшим глупость мечтать о «провальной» жизни президента, всегда под прицелом телевизионных софитов. Дурачок не понимает *величия жизни* ученого, которого мы постоянно видим лишь в читальном зале библиотеки, переводчика Сенеки, Плавта и Теренция, желанной и прекрасной для нас для всех жизни.

Судьба государственного деятеля, а они нередко выходили из стен нашего университета, никогда не была моим идеалом.

Я всегда восхищался совсем другими людьми и хотел быть на них похожим: ну да, на знатока Плавта и Теренция; на профессора философии Жана Ипполита<sup>1</sup>, который перевел «Феноменологию духа» Гегеля, и если оставаться в кругу великих заговорщиков-гегельянцев, то на сумрачного Александра Кожева, о котором только некоторые из нас, да, только некоторые, знали, что он был учителем наших учителей; на Луи Альтюссера, затаившегося наподобие Минотавра в лабиринте коридоров на первом этаже Эколь Нормаль в своем кабинете — святая святых современного марксизма. И еще, совершенно неожиданно, моим идеалом мог стать никчемный повеса, никому неведомый Поль Альбу, к которому я почувствовал жгучую зависть, прочитав, что он был тайным любовником Брижит Бардо.

Я никогда не верил, что можно — воспользуюсь вашим словечком — «покорить» разом множество людей.

Считал и считаю, что с авторитетом происходит примерно то же, что и с любой концепцией: чем

<sup>1</sup> Директор Высшей нормальной школы с 1955 по 1963 г.

больше приверженцев, тем примитивнее восприятие; расширяясь, все становится плоским, поверхностным, вялым, слабым.

Мне нравилось обольщать, я потратил на это массу времени и сил, но всегда понимал, что природа обольщения, его источник, мягкая, обволакивающая волна сродни вовсе не свету, а тьме.

И повторяю, если бы я мог выбирать между жизнью, которая стала моей, и жизнью подпольного вождя «левых пролетариев», среди которых было немало подлинных аристократов, о чем теперь мало кто знает, я выбрал бы подпольную жизнь.

Но факты свидетельствуют о другом.

Что ни говори, а от правды не уйдешь.

Когда я написал «Красные Индии», своего, так скажем, «Лавкрафта», я решил отдать их в издательство Масперо: с одной стороны, он был общепризнанным ультралевым, а значит, близок мне идеологически, а с другой — его непримиримая ненависть к телевидению, массмедиа, всяческой показухе как нельзя лучше соответствовала моим представлениям о роли и влиянии мыслителя.

Четыре года спустя вышло «Варварство с человеческим лицом», на долю которого, как вы знаете, выпал неожиданный успех. О том, в каком душевном состоянии я писал эту книгу, говорит следующее: я был страстно влюблен в женщину, которую увел у кинопродюсера, и очень боялся, что она заскучает в литературной среде, куда я неожиданно ее переселил; бандиту Жану-Эдерну Алье пришла в голову счастливая мысль взять ее на работу в свое издательство, но только при условии, что в конце каждого месяца я буду приносить очередную главу философской книги, чтобы он издал ее первым. Книгу я написал, но Алье разорился, и я обратился к Грассе, прося его спасти мой тонущий корабль. Я не удивился, когда

он сначала отказал мне, а потом скрепя сердце напечатал смехотворным тиражом в 2700 экземпляров — можете проверить, в издательском архиве тираж зафиксирован.

Поэтому, когда меня пригласили на знаменитую передачу «Апострофы»<sup>1</sup>, где решалась судьба моей книги, а заодно и моя собственная, я пошел туда не то чтобы против желания, но вслепую, с закрытыми глазами, в полном неведении не только о том, что сейчас произойдет, но и о ставках, которые здесь разыгрываются, ни на что не рассчитывая, даже не собираясь выходить на свет софитов, под которыми мне предстояло пробывать целых тридцать лет.

Но с тех пор, если честно, я во многом поднатерел.

И не могу сказать, что мне так уж хочется вернуться в тень, откуда выгнала меня моя книга.

Когда я снисходителен к себе, я воображаю, что тогда произошел *клинамен*, я попал в своеобразную ловушку, систему шестеренок, из которой не так-то просто вырваться.

Когда я к себе еще благосклоннее, то отвожу себе совсем уж лестную роль и говорю: разве дело во мне, черт побери?! На свете существуют не только проблемы писателя, который смотрит на собственный пуп и размышляет о своем месте в мире! Есть еще жители Бурунди, Дарфура, Боснии — они ничего не выиграют, если я спрячусь в тень! Есть великие благородные цели, которым я посвятил себя, ради них и нужна шумиха в прессе.

Но наступает минута, когда я признаюсь себе, что, наверное, вы правы: мы действительно умалеемся, поддаемся желаниям, мечтам, амбициям юности, и

<sup>1</sup> Знаменитое в свое время литературное телешоу Бернара Пиво.

вряд ли стоит выдавать отречения, мелочную трусость, крупные заблуждения за благодеяния роду человеческому.

Думаю, что и то и другое правда...

Чего во мне больше, я и сам не знаю.

Хотя...

Я с трудом решаюсь об этом сказать, хотя это тоже *правда*.

В глубине души я не изменил юношеской иерархии ценностей.

Точно так же, как в двадцать лет, меня завораживают великие и непокорные люди, что бесшумно идут впереди моего поколения. Я называю их в шутку «подпольные имамы». Это Бенни Леви, который сначала занимался политикой, а потом воспарил к Иерусалиму; Робер Линар, стоявший во главе партии «Левых пролетариев» до Леви и в один прекрасный день замолчавший. Как это произошло, рассказала в своем романе его дочь<sup>1</sup>. Жан-Клод Мильнер и Жак-Ален Миллер, два юных гениальных философа, еще на улице Ульм обсуждавшие сложнейшие проблемы (к примеру, происхождение концепта «сшивания»<sup>2</sup>). Сильвен Лазарус, человек-загадка, не опубликовавший, можно сказать, ни одной книги, но с чьими неизданными трудами мы знакомы по бесчисленным ссылкам Алена Бадью, не сходящего со страниц прессы. Мне иной раз приходит в голову, что, может, Лазаруса и на свете нет, как это часто бывает у Борхеса, что он существует лишь для горстки безумцев-мечтателей, застрявших в левацких мечтах нашей юности, вроде самого Бадью.

<sup>1</sup> Виржини Линар. «День, когда мой отец замолчал».

<sup>2</sup> Формула отношения субъекта и объекта его желания, созданная Жаком Лаканом и впоследствии разработанная Жаком-Аленом Миллером, его зятем и наследником.



В отличие от них я постоянно появляюсь на телевидении и даже, как мне кажется, стал одной из знаковых фигур этого нескончаемого шоу; и, хотя вид у меня там не такой «затравленный» и «унылый», как у вас, я тоже, поверьте, томлюсь не меньше, ничто меня там не радует, пусть вначале я был в восторге, когда еще не знал, что это цирк, не подозревал о гимнастических номерах, клоунских гримах, необходимости корчиться и паясничать, не догадывался о последствиях, которые могут искалечить всю жизнь.

Все это я наворотил ради трех простейших истин.

Первая: вовсе не обязательно сбываешься таким, каким создан. Вы тому пример, я тому пример, и над вами, и надо мной восторжествовал случай.

Вторая: мысль, что рано или поздно я расстанусь со сценой, где мы всегда на виду, посещает меня, но не вызывает тревоги, а приносит облегчение и отраду. Как бы это ни случилось: по моей воле, по чужой, с помощью неожиданной комедийной развязки (см. Гари), мне все подходит, все нравится.

Третья: известность, слава куда более непредсказуемы и внезапны, чем думалось воспитанному на творчестве Энди Уорхола поколению, что истерически жаждало преуспевания и успеха. Каждый желал стать звездой и не сомневался: постаравшись, он своего добьется. Имеющий уши да слышит. Прошу прощения, если по нечаянности захлопнул дверь перед носом чьих-то надежд.

Теперь перейдем к другой теме.

Как только два писателя сблизятся, вступят в переписку, они неизбежно начинают обмениваться большими и малыми профессиональными тайнами — таков закон, исключений не существует.

Весь вопрос в том, *зачем мы пишем.*

Никто никогда не сможет ответить, это неразрешимая загадка наподобие проблемы «ангажированности». Зачем, ну зачем, скажите на милость, люди вроде нас с вами, вместо того чтобы запясться серьезным делом — мало ли у нас дел? — или же отдохнуть, побездельничать: уехать куда-нибудь, помечтать, почитать, повидаться с друзьями, тратят уйму времени на престранное занятие: складывают, прилаживают, притирают друг к другу слова, лепят образы? Можно было бы: ответить, что плетение словес — занятие более увлекательное и ни в какое сравнение не идет с другими, более привычными профессиями. И уж куда интереснее писать самому, чем редактировать в спешке детективы об инспекторе Борнише<sup>1</sup> или романы о баронессе Бедфордской — в юности мне приходилось переписывать тонны подобной продукции. Но мы-то уже не новички, у нас другой уровень сложности, словесная игра нам приелась.

Можно кокетливо спрятаться за спину классиков, отделаться хрестоматийными ответами великих на анкету 1919 года в «Литератур» — некоторые так и поступают. «Что заставляет вас писать?» — спрашивали на страницах журнала три весьма одаренных молодых человека: Луи Арагон, Филипп Супо и Андре Бретон. «Безволие», — ответил им Валери... Безволие! Какая наглость! Прошу прощения за грубость, но меня возмущает снобизм, неискренность, нечестность этого поистине «безвольного» ответа.

<sup>1</sup> Роже Б о р н и ш е — бывший инспектор полиции, выпускавший беллетризованные мемуары, пользовавшиеся огромной популярностью. Титул герцогини Бедфордской носили несколько великосветских дам, ни одна из которых, впрочем, не отличилась на литературном поприще. Леви, вероятно, имеет в виду их всех как собирательный образ героини «книги о светской жизни».

Правда, на мой взгляд, куда проще. Я всегда знал, еще ребенком, еще подростком, что на свете существуют лишь две абсолютные ценности — не три, не четыре — две! Любовь (самая обыкновенная любовь к женщине) и творчество. Я мог писать дни и ночи напролет, сидеть за «литературным верстаком» часами, обтачивая слова, создавая формы, следя, как из черных значков складывается прихотливый узор...

Неудивительно, что меня заполнили обе эти страсти. По сути, любовь и творчество тождественны, неразделимы. Неразличимы. Один тип энергии. Влечение. Поиск. Безудержность. Воздержание. Смесь сладострастия и боли, натиска и терпения, слепоты и ясновидения. «Что заставляет вас писать?» Невозможность вечно заниматься любовью. Что заставляет вас заниматься любовью? Невозможность писать весь день. Что отвлекает вас, мешает писать? Истома и утомление любви. А вдохновение, работа мысли может на время разлучить с любимой? Творчество иногда одолевает любовь? Разумеется! Две страсти борются, неразрывно связанные. Что может тело? — спрашивал Ницше. Что оно может? Чего хочет? Какой высшей идее служит? Оно может многое. Я не Беккет, который в ответ на тот давний вопрос: «Почему вы пишете?» — буркнул полвека спустя: «На другое не годен». Мое тело, если я пожелаю, годно на многое, помимо творчества и любви. Оно может трудиться, перемещаться, заботиться о себе, лечиться, спать, сражаться, питаться, шуметь, двигаться. Но вот что знаменательно: любая моя деятельность в конечном счете служит любви или творчеству. Практически я делаю только то, что прямо или косвенно связано с двойным наслаждением, с искусством любить и с искусством писать. Мне дано тело, которое по-настоящему может только любить и писать, писать и любить. В любви я нахожу источник

творчества, в творчестве — стимул для любви. Только так и никак иначе.

Я не отрицаю расхожего мнения, будто писательство — своеобразный невроз. Творчество вытесняет из жизни все остальное, только любовь, то сражаясь, то объединяясь с ним, способна укротить его на время, только любовь равна ему по мощи. Вспомните «Слова» Сартра, последнее проклятие книгам, вопль ненависти, бунт против гнета литературы. Но мне, особенно поначалу, этот гнет очень нравился. Зачем же бунтовать? С какой стати? Ради чего? Творчество, повторяю, одна из двух моих страстей, третьей попросту не существовало, заменить писательство было нечем... К тому же, как Дон Кихот, я жил книгами, жил в книгах, поклонялся слову, искренне горячо верил, что «в начале было Слово», что слово — основа моего существа. Хвастаться тут нечем. Так уж оно случилось. Это ни хорошо, ни дурно. Я так устроен, и все. В этом убеждении дошел до крайности, если не сказать: до смешного...

Относительно убеждений. После того как мне исполнилось двадцать, я, в противоположность вам, бросил писать романы и принялся верой и правдой служить своим убеждениям. И чем я становлюсь старше, тем тверже верю в слово: даже в идеологии, даже в поиске истины слово главенствует. Принято считать, что философам приходят в голову бесплотные идеи, а потом они облачают их в словесную форму. Ничего подобного! Мой личный опыт свидетельствует о том, что слово, наоборот, приходит первым! Слово — отправная точка понятия, а не материал для его оформления. Слова сцепляются, движутся, пробиваются к ясности, и вот наконец вспышка света — точное слово, а значит, ясная мысль.

Жизнь. Я благодарен жизни. Мне чужда меланхолия, я не страдаю депрессией, не угнетаю унынием

ближних. Другое дело, что с годами радости, будни, удовольствия, встречи стали занимать меня не сами по себе, а как возможность приняться за плетение слов. (Конечно, не сразу, а позже, когда-нибудь, в прозаических набросках, в сценариях или в дневнике, который заменяет мне писание романов; я веду его вот уже тридцать лет и рано или поздно опубликую.) Альтюссер говорил: «В размышлениях не обретешь реальности»; сосредоточившись на понятии «собака», не получишь мгновенно симпатичного пушистого зверька, и единственное утешение тут, по справедливому замечанию Спинозы, что тебя зато и не кусают. Я не ищу реальности, по-прежнему верю только в слово, мой невроз — страсть к писательству — неизлечим. Одиako, парадоксальным образом, я также верен и своему старому, ныне развенчанному, учителю.

Живопись. Кино. Прикладное искусство. Книги, в их вещественной ипостаси (азарт коллекционеров мне непонятен, и я иногда расспрашиваю Пьера Леруа, страстного библиофила, в чем суть его увлечения). Со всем этим у меня полный швах. Я никогда никому не говорил того, что скажу сейчас вам, но, поверьте, я не обманываю: все это для меня абсолютно не существует. Другое дело, если понадобится написать искусствоведческую статью. Когда издательство «Дифферанс» заказало мне книгу о Пьеро делла Франческа, я много времени провел в Перудже, Монтерки, Борго-Сан-Сеполькро, часами торчал в Национальной галерее, в музеях Берлина, в Ареццо. Я пересмотрел все фильмы с Лорен Бэколл, вплоть до самых бездарных, когда мне понадобилось ее прекрасное лицо для другого произведения, зримого и звучащего, — фильма «Дни и ночи». Но любоваться картинами, ходить в кино просто так, впустую, «из любви к искусству» — разве это удовольствие? Нет,

избавьте меня от таких удовольствий! Я оглянулся назад и с ужасом сообразил, что вот уже много-много лет не «жертвовал» ни единым днем, ни единым вечером плодотворной работы ради фильма, картины, оперы. Что фильмы и картины нужны мне только для написания статей или книг. С еще большим ужасом я заметил другое. Как только заказанная мне книга закончена и сдана в издательство, как только я нашел нужные слова о Мондриане, Макао, современной крупной прозаической форме, театре Томаса Бернхарда, коллажах Энди Уорхола, фотографиях Ричарда Аведона, руинах Лагоса или Кабула, захолустьях Америки, предсмертных муках Шарля Бодлера, фильмах Коппола или Вуди Аллена (меня всегда спасала, вынуждала хоть чем-то интересоваться неутолимая жажда писать, потому что и здесь со временем так же, как в любви, мы нуждаемся в смене декораций и новых эмоциях), все это больше не имеет для меня ни малейшего значения, ведь статья готова, книга написана. Констатирую не без смущения. Я мгновенно освобождаюсь от впечатлений, они словно гаснут внутри. Отныне и до конца моих дней я спокойно обойдусь без «Триумфа целомудрия»<sup>1</sup> Пьеро делла Франчески, хотя в свое время эта картина меня заворожала. Ради нее я ездил во Флоренцию, блуждал по галерее Уффици. Нет, не ради нее, ради книги.

Поэтому приходится осторолничать.

Случается, работа требует не только познаний в области живописи, кино, но и в области политики, морали, этики. От твоего репортажа зависит судьба

<sup>1</sup> Диптих на дереве, более известный в русском искусствоведении как «Портрет герцога Федерико Монтефельтро и герцогини Баттисты Сфорца». На двух створках диптиха изображены герцог и его супруга, а на обороте — их торжественный въезд в город.

живых людей, мужчин и женщин. Вот тогда я крепко держу себя в руках, не позволяю резвиться своей «творческой натуре», незаконной и бессовестной. Это она подзуживает меня нарушить синтаксис, поменять слова местами, исказить их смысл, поэкспериментировать с ритмом, выкрикнуть то, о чем следует молчать, опустить существенное. Ограничения мне вообще на пользу, они оберегают меня от себя самого, и потому я трачу немало времени, нарочно создавая всевозможные препятствия. По этой причине я взялся наладить радиовещание в Бужумбуре, чтобы заставить себя туда вернуться. Время от времени пишу двум инфантильным старичкам, хотя восемь лет назад в Вене они не слишком меня заинтересовали: мол, дали материал для статьи о движении против националиста Йорга Хайдера, и спасибо, разрешите откланяться. Против воли наладил приятельские отношения с жителем Нджамены, чтобы сохранить связь с Дарфуrom. Подружился с пакистанским проводником. Взвалил на себя обременительное сотрудничество с «Нувель де Кабуль», что вынуждает меня там бывать.

Иначе с собственной «творческой натурой» мне не сладить.

Думаю, вы согласны, что в моих действиях есть определенная логика.

Итак, слова или вещи? По-моему, ответ очевиден.

Литература или жизнь? Жизнь в литературе. Поскольку жизнь, не облеченная в слова, для меня не жизнь.

А разве писатель не загоняет жизнь в клетку? Не замуровывает ее в гробик с картонной крышкой? О книгах-гробах говорил Сартр в конце жизни, беседуя с Мадлен Шапсаль. Они — главная тема его «Критики диалектического разума». Нет, не замуровывает. Напротив. Я не знаю ничего более

жизнеутверждающего, чем складно сложенные слова. В противоположность Сартру, который «гроб» и «книгу» сделал синонимами, я вижу пышное цветение жизни именно на страницах литературных произведений. И поэтому, по моему скромному мнению, Бодлер неизмеримо выше Рембо. Помните максимум Рембо: «Подлинная жизнь отсутствует. Мы пребываем вне мира»?<sup>1</sup> Какое ужасное заблуждение! Непростительное безумие отречься от своего несравненного дара и бежать из Шарлевиля в Харар; мечтать о ясновидении, о погружении в «неизведанные глубины», а в действительности бродяжничать и бесцельно перенимать чужие языки! «Одно лето в аду»? Нет, постоянное пребывание в преисподней. Зато как же мне дорог Бодлер! Даже в его проклятиях слышится благоговение перед словом.

Именно так относились к слову раввины, веря, что оно поддерживает порядок во вселенной.

В самые горькие минуты, стыдясь, что приходится прибегать к подлым и глупым уловкам, лишь бы не дать себе улизнуть, беспечно забыть о Дарфуре и Афганистане, я твержу себе в утешение, что, по крайней мере, верен возвышенной великой мудрости раввинов.

Живы только слова — вот суть их учения.

Чтобы жизнь длилась, добывай из раскаленных добела камней искры, добывай пламенеющие слова — вот суть Талмуда.

Подлинный источник жизни, творящее начало все не клетка, не ДНК, а незримая словесная ткань, тончайшая вязь значений, породившая, должно быть, и мой литературный невроз.

В это я свято верю.

И если избрал этот путь, иди до конца.

<sup>1</sup> «Одно лето в аду». Перевод М. Кудинова.



Считаешь слова живыми, живее живых, одушевленными в высшем смысле? Считаешь, что сам жив лишь постольку, поскольку впитал слова? Тогда подумывай мысль до конца: живые обречены на смерть. И нужно смириться с данностью: слова уязвимы, как все живые существа, и даже больше; слова подвластны смерти и после долгого или краткого срока существования исчезнут.

Как продлить им жизнь?

Где существ, именуемых словами, подстерегает смерть?

Что ж, и на это есть ответ. Все дело в различии между плохими и хорошими книгами. Мы с вами и подобные нам, обитатели литературной вселенной с ее «безднами», «хаосом» и равновесием сил, не дающим ей взорваться, должны подходить к любому писателю с простейшей меркой: живы его слова? Или мертвы? Что рассыпалось в прах? Что при смерти? Долго ли протянут живые? Много ли бродит призраков, мрачных теней?

И мгновенно все станет ясно.

Видно невооруженным глазом. С полной отчетливостью. Нет нужды быть великим критиком. Вернее, именно таков подход любого критика, достойного уважения.

Великие писатели нас обескураживают, нам трудно писать после них, там каждое слово живо, и долго, еще долго будут потрясать нас сплетенные ими драмы.

У плохих все мертво: едва высохли чернила, слова уже умерли. Их книги не оставляют отпечатка, не оставляют следов. Меня можно упрекнуть: я говорил о лживых книгах, написанных обо мне, что они так грязны, что пачкают руки, — нет, это не так, отличительный признак ничтожных книг — пустота, после них не остается ничего, абсолютно ничего.

Есть писатели ни рыба ни мясо, мелкие, второго ряда, есть и неудачные книги великих мастеров: в них перемешано живое с мертвым, одно держится, другое провисает. На протяжении одной главы, страницы, даже фразы — живая плоть и мертвечина, уголек и зола, искорка и пылинка, сияние и черный провал слов-самоубийц.

Попробуйте, проведите тест.

Проверьте любимые и ненавистные книги, поиграйте в «живое и мертвое».

В минуту сомнения можете проверить свои.

Я как-то проверил, тест не обманывает, убедитесь на собственном опыте.

*3 июня 2008 года*

Дорогой Бернар-Анри, как раз перед вашим письмом я вдруг получил от Маттиаса Венсено приглашение на фестиваль поэзии, который он проводит каждый год в Коррезе в августе. И едва не согласился. В душе проснулось томление, ожила романтическая иллюзия, будто можно вернуться в молодые годы, когда я был известен как поэт и только как поэт, к тому же только среди тех, кто интересовался у нас поэзией, и поучаствовать вновь в скромных празднествах, организованных муниципалитетом при поддержке генерального совета или местного отделения банка «Креди агриколь». Поверил, что можно вернуться в те годы, когда был счастлив.

Но тут же, как вы понимаете, осознал невозможность этого. Нынешняя моя слава компрометирует не только меня. В неловком положении оказались бы и другие участники, и даже сам фестиваль. С некоторых пор мне воспрещены подобные радости. Есть и еще препятствие, возможно даже более серьезное: я не могу себе представить, что участвую в публичном чтении во Франции. Я долго оберегал себя от паранойи и думаю, что лучшим лекарством послужило мне чтение в раннем возрасте книги «Прогулки одинокого мечтателя»<sup>1</sup>. Меня тогда очень напугало безумие, осязаемо

<sup>1</sup> Незаконченное произведение Ж.-Ж. Руссо.

нарастающее с каждой страницей, и я поклялся, что постараюсь его избежать. Сегодня приходится склонить голову перед очевидным: я не избежал его полностью. Узнаю симптомы: тахикардия, плывущие от перенапряжения мозга, заторможенность на нервной почве.

Конечно, у меня есть оправдание. Если кто-то во Франции и заслуживает оправдания за свою паранойю, то это я.

Руссо тоже.

Когда что-то такое высказываешь, люди понимающе смотрят на тебя и насмешливо поджимают губы. Я опять вспоминаю интервью Курта Кобейна, он говорил, что был куда счастливее, когда колесил в фургоне со своей рок-группой и выступал в крошечных зальчиках, не привлекая внимания журналистов. Люди в таких случаях возражают: зато теперь у вас есть слава, есть деньги; вам не на что жаловаться. Проходит еще немного времени, и вас упрекают, что вы с жиру беситесь. И только после того, как человек пустит себе пулю в лоб, до окружающих начинает доходить, что он не шутил, ему в самом деле было плохо.

Все, что вы, дорогой Бернар-Анри, написали относительно известности в узком кругу, мне чрезвычайно близко. У меня была такая известность, и я жил так долгие годы. Тебя читают собратья, и никто кроме них.

Все это мне не только знакомо, но живо до сих пор. Несколько месяцев назад я получил антологию французской поэзии, составленную Жаном Оризе для издательства «Ларусс». В посвященной мне справке он мимоходом замечает, что кроме стихов я опубликовал несколько романов, вызвавших бурную полемику.

Поймите меня правильно, Бернар-Анри, в моих словах нет позы, нет аффектации. В мире Жана

Оризе кроме поэзии, безусловно, существует и проза, но она гораздо меньше для него значит.

Вот еще один случай. Как-то я повстречал Лионеля Рэ в аптеке центра «Италия-2». Мы немного потолковали о его здоровье, у него возникли проблемы, он собирался обследоваться. Еще он сообщил, что недавно ушел на пенсию (раньше он преподавал в лицее Шапталъ). Потом спросил, чем я занимаюсь, я ответил, что собираюсь снимать фильм. Он сказал, что это любопытно, увлекательно. Он знал, что я написал несколько романов, однако заметил, что я давно не издавал стихов. Упрек был мягким, но вполне серьезным, по его мнению, мне *пора было снова заняться делом*.

Уильяма Клиффа я встретил в поезде Париж—Брюссель, и он тоже говорил со мной о стихах. После общепринятых банальностей он сразу перешел к Вийону, потом упрекнул меня за слишком вольное обращение с александрийским стихом.

Удивительно, потрясающе, что такие люди еще есть. Хочется, нет, не хочется, а необходимо сказать: еще *существуют*. Люди, придерживающиеся столь устаревшей системы ценностей, ни в чем не совпадающей с современной.

Сколько они еще просуществуют? Уверен, что издательство «Галлимар» осознает свои культурные обязательства и сочтет своим долгом опубликовать стихи наших старых поэтов, пока они еще живы, однако сомневаюсь, что оно станет лихорадочно отыскивать их последователей.

Хотя несправедливо бросать камни в издателей: я давно уже не вижу в книжных магазинах отдела поэзии.

А что делать книжным магазинам, если на стихи нет спроса?

Быть может, мы живем в мире, где поэзии попросту нет места (именно такой вывод сделал Герасим Лука<sup>1</sup> и покончил с собой).

Что-то необычайно драгоценное исчезает. Исчезает у нас на глазах. Я свидетельствую: исчезновение произошло на протяжении моей жизни, даже в рамках моей недолгой авторской жизни, я видел, как полки со стихами в книжных магазинах становилось все меньше. И меньше на этих полках становилось книг. Хотя и я присутствовал при ежегодных взрывах энтузиазма, сродни советскому, среди ответственных чиновников, ежегодно поздравляющих друг друга с небывалым успехом «Весны поэтов», с необыкновенным наплывом публики. Далее вспоминать противно.

Венсан Равалек в эссе «Автор» с немалым юмором и злостью повествует о жизни такого лее, как мой, литературного кружка, только не поэтов, а новеллистов.

У меня с Равалеком немало общего, оба мы не сразу вышли на true business<sup>2</sup>, то есть занялись романами (только к началу 1994 года у него вышел «Гимн шпане», а у меня — «Расширение пространства борьбы»), до этого его новеллы печатались в издательстве «Дилетант», мои стихи — в издательстве «Дифферанс». Точно так лее, как он, я участвовал в немислимых встречах с государственными чиновниками, на которых ответственного за культуру в мэрии в первую очередь волновало, включена ли телятина в «гостевое меню». Мы с Венсаном порой не имели крыши над головой (ему доводилось ночевать в приюте, мне — в брошенном фургоне).

<sup>1</sup> Поэт-сюрреалист, румын, писавший по-французски. В феврале 1994 г. семидесятилетний Герасим Лука утопился в Сене, оставив записку: «Я не хочу жить в мире, где больше нет поэзии».

<sup>2</sup> Здесь: доходный бизнес (*англ.*).

Но есть между нами небольшая, однако существенная разница: если я задумаю рассказать о годах, прожитых в моем *поэтическом* мире, рассказ выйдет и не таким смешным, и не таким злым. Новеллистов издатели считают либо лентяями, либо недоумками, как-никак у них под рукой и персонажи, и всякие истории. Им невдомек, почему новеллист не может написать историю подлиннее, которая будет называться романом и заинтересует публику. Тогда как поэты заведомо ни к чему не пригодны, абсолютно безответственны, а значит, с ними можно вообще не считаться.

Так вот, между поэтами, которые *вне игры*, отношения более дружественные, чем между новеллистами, которые *почти что в игре*.

Их отношения по-разному окрашены.

Теперь я *в игре* (это самое меньшее, что можно сказать) и ищу средство, пока безуспешно, чтобы из нее *выйти* (продолжая потихоньку быть).

Потому что нужно что-то иметь, чтобы не утрачивать связи с поэзией, что-то похожее на невинность. Профессионально говоря, только это и нужно. Есть чудесное слово, обозначающее человека, который нашел что-то очень ценное, — *открыватель*. находка могла быть совершенно случайной, человек просто блуждал по лесу или, наоборот, на протяжении пятнадцати лет изучал карты времен конкистадоров, сути дела это не меняет. То же самое со стихами, совершенно не важно, писал ты стихотворение два года или пятнадцать минут, оно — я знаю, звучит нелепо, — словно бы существовало задолго до тебя, лежало написанным целую вечность, а ты его только *открыл*. И как только ты *открыл* стихотворение, ты от него отстраняешься. Ты очистил его от земли, обмахнул щеточкой, и оно, отныне доступное всем, блестит матовым золотом.

Роман — совершенно другое дело, в нем обилие смазки, пота, масса немислимых стараний удержать всех по местам, крепко-накрепко закрутить гайки, проследить, чтобы конструкция не развалилась. Словом, как ни говори, но роман — это разновидность *механики*.

Я не отрекаюсь от своих романов, я их очень люблю, но не сравню со стихами и даю на отсечение голову (споря с Кундерой, Лакисом Прогуидисом и всеми моими друзьями, несмотря на их поддержку в минуты творческих кризисов), что роман (даже Достоевского, даже Бальзака, даже Пруста) более низкий жанр, чем поэзия.

(Старый спор, лично вас он не слишком касается, но на него, можно сказать, ушла моя молодость, мы спорили в кафе «Люсернер»<sup>1</sup> с романистами Бенуа Дютертром и Лакисом Прогуидисом.)

Не знаю, есть ли у меня *способности* для писания романов, не знаю, имеет ли смысл подобный вопрос, и можно ли быть способным к такому разнообразию?

К историям я неспособен совершенно, меня всегда тошнило от рассказывания историй, талант рассказчика (или *storyteller*, пользуясь более современным словом) у меня отсутствует.

*Стиль?* Пусть не пудрят мне мозги своими глупостями! Где это видано, чтобы слова были наделены способностью непосредственно воздействовать на читателя в зависимости от того, как их выстроишь? В поэзии да, главным образом в поэзии. По сравнению с поэтом ни у одного романиста нет стиля, более того, не может его быть. Конечно, и в романе пытаешься обрести какую-то гармонию, конечно, что-то находишь, радуешься во фразе некой «изюминке» —

<sup>1</sup> Культурный центр в Париже: театр, выставочный зал, ресторан.



так легла, что хоть бы и в стихи (такое часто случилось у Конрада, иногда у Флобера); и сразу же рот на замок, пусть другие раскопают блеск, полагаешься на читателей будущего.

В романах я способен на одну-единственную вещь — на создание *персонажей*. Они мешают мне спать, будят посреди ночи — Брюно, Валери, Эстер, Мишель, Изабель. Теперь они живут, да, они победили.

Вот тут романисту есть о чем побеспокоиться, он и впрямь наделен возможностью, обычно приписываемой только Господу Богу, он вдыхает жизнь.

Лорд Джим<sup>1</sup> живой.

Кириллов<sup>2</sup> живой (пример самый удивительный в литературе: живой, хотя прожил всего несколько страниц).

Генерал Юло<sup>3</sup> живой.

Актеры, встретившись с романистом, смотрят на него с немалым любопытством, они тоже стараются *вдохнуть* в персонажей *жизнь*, пытаются своими средствами, отдавая им лицо и тело. Они знают или чувствуют, что романисту это удастся совсем другим способом.

(С наибольшим любопытством смотрели на меня актрисы, и понятно почему — им представлялось, коль скоро они этого не пробовали, что труднее всего вживаться в персонаж другого пола. Нет, для тебя все на равных, мужчины, женщины, а трудности, они совсем в другом.)

В поэзии живут не только персонажи, живут слова. Они словно выделяют радиоактивное излучение.

<sup>1</sup> Герой одноименного романа Джозефа Конрада.

<sup>2</sup> Герой «Бесов» Достоевского.

<sup>3</sup> Историческое лицо, сквозной персонаж нескольких романов Бальзака.

У них мгновенно возникает собственная аура, присущие им вибрации.

Стал чище смысл у слов, привычных для племен<sup>1</sup>.

«Чище, чище», чистота — наваждение Малларме, белизна, снег. Я, жалкий сентиментальный кретин, никогда бы такого не написал, белизна и снег пугают меня, пронзают ледящим ужасом шубертовского «Зимнего пути». Хотя строка Малларме прекрасна и необыкновенно выразительна.

Мало кто постигал тайны поэзии с помощью интеллекта. Я знал только одного человека, Жана Козна, лингвиста-теоретика. Он опубликовал в издательстве «Фламарион» два исследования: «Структура поэтического языка» и «Высокий язык». Его не интересовала «литературность» (качество, которое среди бесчисленного количества текстов выделяет некоторую их часть, позволяя отнести их к «литературе»). Его интересовала проблема следующего уровня, проблема «поэтичности» (почему некоторую часть литературных текстов можно назвать «поэтическими»).

Трудно переоценить потрясение, какое я испытал, открыв для себя «Высокий язык». До этого я не читал (и так и не прочел) теоретиков, которые предшествовали Козну, — Женетта, Тодорова, Греймаса. И вдруг выяснилось, что притаившееся где-то в глубине меня знание, безошибочно определяющее, что именно мной написано: «стихи» или нет, не «стихи» (не получается часто то, что пишешь под влиянием алкоголя), доступно кому-то другому... Мне почудилось, что автор читает в глубинах моей души.

<sup>1</sup> Стефан Малларме, «Гробница Эдгара По».

Я заговорил об этом, потому что, мне кажется, вы сошлись бы с ним в ощущении «живого» текста. Но в отличие от нас обоих он не участвовал в телевизионных шоу. Ему были уготованы другие испытания. Он знал, что коллеги-лингвисты не выпускают его из поля зрения, ожидая от него «теории». И потрясающе, что ему удалось ее создать. Удалось дать убедительное теоретическое обоснование того, что, вероятно, открылось ему благодаря чистой интуиции. Одним словом (и сотней слов тоже), читайте, читайте Жана Козна.

В противоположность вам, Бернар-Анри, у меня никогда не было честолюбивого желания попасть в среду «интеллектуалов». Профессиональная жизнь Жана Козна и некоторых других ученых и преподавателей (мы недавно говорили об этом с Рашидом Амиру, тоже университетским профессором, специалистом по социологии туризма, чьи работы я ценю очень высоко) не внушила мне особых сожалений об упущенной возможности. Там тоже не обходится без интриг, клеветы, низкой зависти, ссор и споров... Может, я идеализирую, может, воздействует знаменитая «магия воспоминаний», но я не помню ничего подобного в тесном кружке поэтов. Когда я выпустил второй сборник стихов (сразу после романа, получившего некоторое признание, из-за чего и стихам достались сомнительные похвалы литературных критиков), кое-кто из журналистов счел себя вправе удивляться, что я пользуюсь александрийским стихом, который они считали устаревшим. Они сильно все упростили (александрийским стихом я пользовался иногда, гораздо чаще восьмисложником и верлибром). Ну так вот, хотите верьте, хотите нет, но в поэтической среде я *никогда* не слышал подобных упреков. Даже представить себе невозможно, чтобы кто-то стал обсуждать такой вопрос. Стихотворение могло быть написано александрийским

стихом, верлибром, прозой и вообще чем угодно — для поэтов это не имеет значения. Александрийский стих воспринимается как один из существующих во французской поэзии размеров, соответствующий структуре самого языка, позволивший создать прекрасные произведения и предполагающий возможность новых, не менее прекрасных.

Я пишу все это, дорогой Бернар-Анри, для того, чтобы не оставить у вас сомнений — я верю, охотно верю, что вы *не предполагали* быть известным. И еще охотнее признаюсь, что сам почти ничего не предполагал для самого себя (точнее, все, что предполагал, не осуществилось). С заранее обдуманном намерением я писал только романы (и то в самом начале, на сотой странице все шло наперекосяк). А что касается известности, ее я *не хотел* никогда. Зато хотел, что правда, то правда, зарабатывать своими книгами деньги. Хотел отчаянно, как только понял, что такое возможно (это случилось примерно 10 сентября 1998 года), и я уже писал почему. Может быть, если бы я был богат, я захотел бы в *дополнение* еще и известности, но богатства в моей жизни не случилось. Знаменитым я стал в сентябре 1998 года, богатым — в мае 1999-го, как раз тогда, когда начались проблемы с авторскими правами. Богатым, разумеется, относительно. Скажем: достаточно состоятельным, чтобы не нуждаться в поденщине, но от богатства мне только это и было нужно.

Теперь у нас есть известность. И нет возможности от нее избавиться. По крайней мере, у меня: в отличие от вас *искушение Романа Гари* никогда не приходило мне в голову. Не знаю, впрочем, почему. Может быть, потому, что оно воспринималось бы мной как отречение — от себя самого, от написанного. Я знаю, такое случается и с писателями, и с художниками, но

отречение непременно должно быть *искренним*. Иной раз оно кажется страшно глупым, когда смотришь на него спустя несколько веков со стороны, но сами они переживали его в тот миг глубоко и искренно.

И еще одно препятствие: с течением лет у меня возникли доверительные отношения с читателями (читатели, знакомые и незнакомые, для меня единственные на свете люди, перед которыми я чувствую ответственность). И у меня возникло бы ощущение, что я обманул их доверие. И еще показалось бы, что, обманув доверие, я поддался своре.

Мне этого не хочется. Совсем не хочется.

Так что буду терпеть, оставаясь до конца *Уэльбеком*, со всеми привходящими и последующими. Разумеется, все может кончиться и послезавтра. Впрочем, к чему мрачные предположения?

Признаем, что кое-кому удалось справиться. (Да, далее мне в конце концов удалось сказать что-то пололнительное. Времени ушло немало, но все-таки удалось!..) Среди самых величайших поэтов есть такие, кто сумел пронести тяжелое бремя славы и вопреки ей написать свои самые прекрасные стихи.

Я написал «есть такие», но на ум мне пришел один-единственный: Виктор Гюго.

Может быть, правда, еще Арагон, но тут я засомневался: а поздние стихи Арагона так же хороши, как ранние? Не знаю, надо бы посмотреть. А вот с Гюго нет никаких сомнений.

Итак, как стать Виктором Гюго? Как развить в себе подобную мощь? Вы улыбаетесь, я понимаю, по мне случалось черпать силы в факте, что я, как Виктор Гюго, родился 26 февраля... (Сходство на этом и кончается. В знаменитом стихотворении «Наш век двухлетним был», где он рассказывает о себе, у него есть

строчка: «Всем чужд, он был спасен лишь материнской верой»<sup>1</sup>.)

(К тому же я достаточно дурно начал, чтобы кончить всенародным трауром.)

Вы вправе улыбаться, наблюдая, как я деградирую: ищу утешений в астрологии, в предзнаменованиях и знамениях, хотя заявил о себе в начале нашей переписки как о рационалисте, здравомыслящем и негнибачем... Но может быть, как раз в этом и есть моя ошибка? Виктор Гюго после смерти дочери<sup>2</sup> погрузился в жесточайшее отчаяние, и кто знает, может, без спиритизма он не смог бы справиться?

Может, настало время и мне сказать: *прости, разум*. Разум мне не помог, не создал ни единой строки, а только и делал, что отравлял мне жизнь несокрушимостью своих печальных выводов.

И нет большой разницы, как с ним проститься — как Паскаль<sup>3</sup> или как Гёльдерлин<sup>4</sup>. Если удастся, то избегну прощания Нерваля<sup>5</sup> или Клейста<sup>6</sup>.

Кажется, Ницше, прежде чем окончательно погрузиться в потемки безумия, высказал мысль, что в будущем у человека должно быть *два разума* — один для науки, второй для всего остального.

<sup>1</sup> Перевод В. Брюсова.

<sup>2</sup> В 1843 г. девятнадцатилетняя дочь Гюго Леопольдина и ее муж Шарль Вагри утонули в Сене.

<sup>3</sup> Блез Паскаль всю жизнь болел и умер в тридцать девять лет со словами «Господь да не оставит меня».

<sup>4</sup> Последние тридцать шесть лет жизни Фридриха Гёльдерлина прошли под знаком безумия.

<sup>5</sup> Жерар де Нерваль страдал психическим расстройством, последние годы жил в нищете. В 1855 г. он повесился в Париже на решетке стока, по словам Бодлера, «в самом гнусном месте, какое мог найти».

<sup>6</sup> Генрих фон Клейст застрелился в 1811 г., предварительное застрелив свою подругу Генриетту Фогель.

К «остальному» он относил также творчество и любовь.

Видимо, и философию: если я вас правильно понял, это частный случай литературы.

Странно, но мне очень больно расставаться с иллюзией, будто место философии — пусть не место, местечко — рядом с наукой.

Мысль Ницше больно ранит меня, хотя я прекрасно понимаю, что он имеет в виду.

Как не хочется отказываться от надежды, что где-то там, неведомо где, существует гармония, единство высшего порядка.

В общем, мне трудно отказаться от своего рода *мистики*.

На мое счастье, я такой не один. Даже у Арагона я нахожу ту же веру в таинственный единый источник, откуда все происходит. Я вижу ее в его собственном ответе на тот вопрос, который он вместе с Бретоном задавал в 1919 году, вернее, в тех стихах, которые всегда считал его ответом:

Мне не нужны ни помощь, ни пощада,  
На покаянье не похож мой крик.  
Я сам не понимаю, что мне надо  
И что меня тревожит каждый миг,  
Сбивая жизнь с привычного уклада<sup>1</sup>.

И мой ответ на ваш вопрос тоже: «Не знаю». Не знаю точно так же, как не знал Арагон. Зато знаю совершенно точно: есть нечто такое, что больше любого моего замысла и выше или даже вне моих любовных желаний.

Относительно любви я с вами совершенно не согласен. Я прекрасно помню, что читал, и читал со

<sup>1</sup> «Пролог» (1919). *Перевод М. Визеля.*

страстью гораздо раньше, чем испытал впервые волнение влюбленности (и знаю, что продолжал читать и дальше, но это уже не странно). Может быть, я и в лицее уже писал, не школьные сочинения, я имею в виду, а *для себя*? Честно говоря, я уверен, что да, но поклясться не могу, ничего не сохранилось. Зато читал я с такой сосредоточенностью, с такой интенсивностью, так откликался на слова, которые шли ко мне из книг, что можно сказать: да, попал в переплет, да, моя судьба решилась. Пишут еще и потому, что читают, продолжая беседу через века. Для меня это очевидно. Хотя знаю, что ни Паскаль, ни Достоевский, ни Бодлер не восстанут из могилы, чтобы мне ответить. Знаю и в то же время не уверен; веду себя так, будто они могут и ответить. Мы на самом-то деле только считаем себя людьми сугубо рациональными.

Жизнь писателя чудная, замечательная, а я, если честно, в этом сомневаюсь. Что это за жизнь, если трех шагов не можешь пройти, чтобы не схватиться за записную книжку? Если несколько часов работы над текстом доводят тебя до такого нервного истощения, что нужна не одна бутылка спиртного, чтобы ты хоть немного пришел в себя? Жизнь землекопа, да, вот с этим я согласен.

С другой стороны, есть в писательстве что-то роковое, и с этой точки зрения оно, тут вы правы, сродни любви. Я вспоминаю интервью с Патрицией Хайсмит. Журналист задал ей вопрос: что произойдет с ее творчеством, если она влюбится снова до потери памяти? Она помолчала несколько секунд, потом улыбнулась и тихо ответила: «А что с ним поделаешь, месье? Ничего».



*8 июня 2008 года*

В конце 70-х в Париже был английский бар, он немного отдавал китчем, столы там были прикручены, диванчики обиты трипом, назывался он «Твикенхэм» и располагался на углу улиц Сен-Пер и Гренель.

Издательство «Грассе» располагалось как раз напротив, а я, как и вы, терпеть не мог кабинетную жизнь, так что большую часть рабочего дня проводил там, принимая авторов, плетя заговоры, разговаривая по телефону...

К тому же там собирались хорошенькие продавщицы из шикарных обувных магазинов «Мод Фризон» и «Стефан Кельян», уже тогда обосновавшихся в этом квартале, так что бар обещал мне еще и всевозможные любовные приключения. Моим, товарищем по части всяческих эскапад был ночной бармен Жак Ф., веселый беарнец, мастер розыгрышей, ловко управлявшийся с входом и запасным выходом, ставший моим Сганарелем.

Жизнь я тогда вел странную, обходился без дома, ночевал то у одной случайной знакомой, то у другой, все зависело от настроения, встреч и желания девушек. Бывало, что мне не выпадало удачи, мне давали понять, что присутствие мое будет нежелательным, и тогда я дожидался, пока Жак снимет кассу, и оставался ночевать в запертом кафе, пропахшем табаком

и кухней, без электричества и отопления. Спал я, свернувшись калачиком, на слишком коротком диване, и меня будила на заре утренняя смена, принимаюсь готовить кофе и круассаны.

«Твикенхэм» был для меня вторым рабочим кабинетом.

И первым домом, где в чулане рядом со стопками тарелок лежали моя зубная щетка и рубашки.

Туда же приходили для меня письма.

По субботам и воскресеньям, когда я занимался своей дочкой Жюстиной, он служил мне перевалочной базой.

Мобильных тогда еще не было, и я в конце концов получил небольшую привилегию — столик в глубине зала с отдельным телефоном, где обычно засиживался допоздна.

Была и обратная сторона медали, например «Комитет сопротивления еврейской оккупации Франции», палестинцы-экстремисты, ревнивые мужья, члены GUD<sup>1</sup> или сербы, дойдя до белого каления, всегда знали, где меня найти, и тогда на тротуаре улицы Гренель разворачивались кровавые потасовки.

И вот однажды февральским вечером 1976 года я сидел один за своим столиком, витал где-то мысленно и вдруг увидел перед собой Арагона.

К тому времени у меня еще ничего не вышло, кроме книги в защиту Бангладеш.

Я был в самом начале своей литературной карьеры и ничем не мог заинтересовать ни одного на свете писателя, а уж тем более такого, как он.

Но он сказал, что заметил меня в книжном магазине торгового комплекса Сен-Жермен. В те времена

<sup>1</sup> Groupe Union Defense — крайне правое молодежное движение.

этот магазин был единственным, который работал допоздна. Он наблюдал за мной не один вечер, а я бродил среди полок с новинками и в те дни, когда бывал без денег, читал с согласия хозяйки заинтересовавшую книгу, стоя, поглощал молча, не делая замечаний, пользуясь фотографической памятью. И вот настал вечер, когда он решил пойти за мной и поговорить. Мишель Фавар собирался тогда снимать для телевидения «Орельена», и они надумали предложить мне роль поэта Поля Дени.

До сих пор вижу, как открывается дверь и на пороге вырастает высокий силуэт — шляпа с широкими полями, марокканский плащ, серый, очень элегантный костюм, и даже теперь, спустя восемь лет после смерти Эльзы, все равно ощущение траура.

Вижу, как он идет ко мне, будто нет посетителей, толпящихся возле подковы бара в центре зала, и толпа, хоть и не узнает его, расступается, словно перед инопланетянином или ожившим изваянием.

Он был величествен и учтив, руки у него слегка дрожали, лицо мягкое, чуть розоватое, и жесткий взгляд голубых фаянсовых глаз из глубоких орбит, вспыхивающий порой нестерпимым блеском. «Побеспокою вас, — заговорил он, садясь, и, не дожидаясь моего ответа, попросил лимонад без льда, а потом с озорством гавроша: — О Поле Дени слышали?» Я ошеломленно забормотал: да, конечно, «Орельен» — моя настольная книга, но... «Ну так вот, вы Поль Дени. Я хочу, чтобы вы стали Полем Дени...»

Без тени иронии.

Без насмешки.

Великолепный цельный Луи Арагон.

Безоружный, но по-прежнему внушающий трепет рыцарь.

Старик?

Нет, в общем-то не старик.

Не старик и уж точно не под мухой, как очень нравилось кое-кому изображать его в те годы.

Глаза необычайной голубизны оттеняли строгую чеканность лица.

Лоб, высокий и узкий, «венценосный», придавал ему сходство с королем. Переодетый государь вышел ночью и замешался в толпу подданных, чтобы понаблюдать за ними.

Было в нем что-то от Христа, но без мученичества, — от Христа, отказавшегося от спасения мира.

Два часа спустя он ушел — прямой, твердым шагом, — направился по узкому тротуару к бульвару Сен-Жермен и остановился, чтобы взглянуть при лунном свете на дом — то ли тот, где жил знаменитый кутюрье, или другой, пристанище Шатобриана, вернувшегося из Америки<sup>1</sup>... Я следил за ним, но издали... Право, не знаю...

Зачем я вдруг стал рассказывать вам об этом?

Потому что вы упомянули Арагона, и в памяти у меня мгновенно всплыла эта сцена.

Потому что считаю автора «Защиты бесконечности», «Путешественников на империале», «Анри Матисса» одним из величайших писателей XX века и рад воспользоваться случаем, чтобы об этом напомнить.

И еще потому, что благодаря дневнику (да-да, тому самому, знаменитому, который вот уже много лет я надиктовываю каждую ночь на автоответчик своей секретарше) освежил в памяти беседу, которую мы вели в тот вечер, и удивился: с ним мы говорили почти о том же, о чем с вами.

Начали с «Орельена», в самом деле культовой для меня книги (я никогда бы такого не сказал просто из вежливости). Так что можете себе представить, как я

<sup>1</sup> В 1791 г. Шатобриан на год уехал в Америку, подальше от событий Французской революции.

ухватился за его предложение! И конечно, воспользовался случаем задать вопросы, которые вот уже много лет не давали мне покоя. А правда, что прототипом Поля Дени был Кревель?.. А Береники — Дениз Леви? А как Арагон относился к Дриё ла Рошелю?.. А к Бретону?.. Жалеет ли он, что не видится больше с друзьями юности? И как могло случиться, что люди, смолоду полные творческого кипения, братья по трагическому мировосприятию и страсти к огненным фейерверкам стали двумя отгороженными друг от друга, чужими мирами и никогда не соприкасаются?..

Мы поговорили немного и о политике. Нельзя было не затронуть политику хоть немного, когда вдруг представилась возможность поговорить с крупнейшим французским интеллектуалом (да, у него был именно такой уровень, ничуть не меньше), который вопреки преступлениям, позору, Пражской весне, — он сам назвал ее «Биафрой<sup>1</sup> духа», — вопреки полученной в мае 1968 года кличке «сталинская гадина», брошенной ему в лицо неким Дани Кон-Бенди, все-таки до конца остался верен Партии, своей Партии, той самой коммунистической партии Франции, которая была заодно с коммунистической партией Португалии, худшей из коммунистических партий Европы! Я спросил его об этой странной верности, приводящей в отчаяние его сторонников, и получил совершенно неожиданный ответ, необычный и по-своему прекрасный. Он сказал, что не ждет ничего от партии, кроме конца, но хотел бы, чтобы конец был достойным.

<sup>1</sup> Биафра — самопровозглашенное государство на юге Нигерии, просуществовавшее с мая 1967 по январь 1970 г. В результате ожесточенных столкновений с федеральными войсками население отделившихся территорий уменьшилось на два миллиона, край (где незадолго от отделения обнаружили нефть) был полностью опустошен и разорен.

Мне пришла в голову нелепая мысль упомянуть Франсуа Миттерана, мне показалось, что я произведу впечатление, и я сообщил, что мне случилось встречаться с ним и мне понравилось, как он пишет. А он — он полоснул по мне сталью светлого взгляда, заткнул уши, словно я дал петуха, уставился на потолок с театральным видом, потом опять посмотрел на меня, улыбаясь все шире, шире, раздвигая на лице морщины, и вдруг громко расхохотался — я уверен, я не ошибся, я услышал смех времен Монпарнаса: «Месье Миттеран пишет? И вам нравится? Нет, вы шутите. Что там может нравиться? Чудовищная каша, штампы. Сплошное неприличие. Поговорим о чем-нибудь более достойном». (Когда просто «пишет» — это яд, Миттеран не может писать вообще, ну и т. д.)

Но главное, о чем мы говорили весь этот вечер, был стиль... любимый и ненавистный... необходимый и опасный... О том, что никогда нельзя писать так, как говоришь, а с другой стороны, до чего карикатурно — фальшиво, а стало быть, и карикатурно — звучит хорошо поставленный голос *борзописца* — стилиста... Так что же важнее для писателя: голос или слух? Голосовые связки или барабанные перепонки? Или, может быть, суть выразил Хемингуэй? Я процитировал его, а он сократил цитату: «Писатель без слуха все равно что боксер без левой руки».

Обсуждали литературную стратегию: замечать следы... менять обличья... лгать как дышать... писать как играть в рулетку, шахматы, покер... играть втемную или в открытую... искусство масок и обманов... недобросовестность как эстетика и намеренное действие... закон фальсификации... придумывать мир, а не подражать ему... Говорили о ненависти и как ей противостоять... о долгой войне, в которую он ввязался с тех пор, как Бретон — так талантливо! — объявил себя европейцем-пораженцем, беспощадным врагом обще-

ства «злых собак», «жирных свиней», «суккубов»... да, беспощадным... да, ненавистником того самого мира, которым он наслаждался и в котором жадно искал признаки скорой гибели... вот он-то и был, дорогой Мишель, на протяжении всей своей жизни тем самым «врагом общества», о котором мы с вами говорим...

Виктор Гюго. Мы упомянули и Виктора Гюго, но мои «бодлеровские» пристрастия в то время отделили меня от него (я не мог простить Гюго выражение «новая дрожь» в его письмах применительно к Бодлеру, невыносимо покровительственного тона этих писем и прочих вольностей). Но Арагон думал о нем примерно то же, что и вы, и, вполне возможно, сейчас, по прошествии долгого времени, и я готов признать: незаслуженно забытое величие... великолепная мощь, хотя и дурного вкуса... предвосхищение сюрреалистического сарказма... «Возмездие», подлинный шедевр... «Отверженные» и «роман живет собственной жизнью»... «А Жид? — вернул я. — Его знаменитое „Виктор Гюго, увы!“ — разящее наповал?» — «Как это разящее? — вскинулся он. — Кто кого сразил, мой мальчик? Да, кто кого сразил? Слово сразило Жида. Гюго, как все поэты, неуязвим». — «А спиритизм? — продолжал возражать я. — Вертящиеся столики в Гернси, говорящие тени, беседы с мертвецами, Данте, Шекспиром, другими гениями?» — «Ну и что ж, что вертели столики? — спросил он с такой веселой усмешкой, что я не выдержал и расхохотался. — Почему бы им не вертеться? Да, мертвецы переговаривались в преисподней. Но думаю, вы не поставите Гюго в упрек, что он предпочитал беседовать с великими покойниками, а не с живыми ничтожествами?»

Обсуждали вопрос, который по-прежнему его мучил, возникнув после той самой книги, незаконченной — ее и не закончишь, — своего рода наброска, он опубликовал его лет двадцать тому назад под

названием «Я открываю карты». У меня к этой книге особая нежность, а его по-прежнему мучило: поэзия и роман... поэзия или роман... политика... литература... манифесты, листовки... могучий хор... автобиографические рассказы, исторические полотна... «Ура, Урал!» и «Базельские колокола»... «Москва слабоумная» и «Да здравствует ГПУ»... восхваление Матисса... поношение Пикассо... журналистика («Коммуна», затем «В этот вечер», затем «Французские письма»)... Академичность и авангард... Торез и Рембо... почтение к Барресу и открытие Соллерса... Булимия человека, который хотел до конца оставаться и юным наследником, и патриархом литературы... был и тем, и другим... единство такого творчества и такой жизни... если существует «высокий жанр», как вы его называете, он и охватывает весь разлет, придает порядок... или если существует, как утверждали Геростраты 20—80-х годов, которых называли еще сюрреалистами, некая точка, с которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, выраженное и непередаваемое, высокое и низкое, не представляют больше противоречий...

В тот вечер Арагон утверждал, что единство в самом деле существует...

Никогда, я убежден, он не уступил бы в вопросе об этой точке, в которой сплелась воедино вся тысяча его жизней...

Но он еще утверждал, что нет ведущего жанра, который стягивал бы вокруг себя все творчество, придавая ему тем самым единство.

С этого я хочу и начать.

И пожалуй, начнем.

Я понимаю, и очень хорошо, по какой причине вы утверждаете, что «поэзия — высший жанр». Точно



так же считает Хайдеггер, видя в поэзии волшебную палочку, которая мгновенно открывает путь к источнику Бытия... И Аристотель — Хайдеггер его цитирует — утверждал, что поэтический опыт более подлинен, более точен, чем методическое исследование сущего... И Малларме в эссе «Музыка в литературе» пишет, что поэзия хоть и возникла гораздо позже, нежели мы привыкли считать, но именно она, единственная словесная форма, впитав, охватив и даже отстранив музыку, стала нашей госпожой и нашей рабыней; только в поэтическом слове таится и открывается Бытие. Кто мог бы сказать выразительней?

Но у меня в запасе есть и другие мнения, и они гласят: нет, ничего подобного, высший жанр, конечно же, роман, и только роман, потому что только роман способен вобрать, сплавить и затем воспроизвести, но только полнее, гораздо полнее, обогатившись и опытом, и философией, и наукой, те эмоциональные потрясения, какими дарят нас и поэзия, и музыка, вот Кундера, например... А есть еще и Сервантес... Пруст... великие австровенгры... Достоевский... Приверженцы романа считают его «большой формой», поглотившей все остальные, превратившей их в кантоны своей империи... Они признают глубинную правоту Малларме за одним-единственным исключением: власть, которую он приписал поэзии, принадлежит на самом деле роману... Джойс и его вавилонская башня на бумаге... Борхес и его мечта о книге, которая вобрала бы в себя все книги мира и сам мир... Мой друг Данило Киш, несправедливо забытый, очень убедительно говорил, что роман — это энциклопедия мертвых и выжимка многих библиотек...

Но тут подросли режиссеры, Антониони, Любич, Ренуар, к примеру, и возражают: да что вы! вы ошиблись относительно жанра! Кино, и только кино! Оно

поглотило все! Оно вобрало в себя музыку, живопись, театр, философию, литературу... вот синтетическое искусство, главенствующее, исчерпывающее... Только кино способно питаться всеми другими искусствами, расплавлять их в своем тигле, превращая в частички золотого или бронзового языка... вспомните первые фильмы Годара... В «Безумном Пьеро» и «На последнем дыхании» — Арагон отметил по ходу дела, как ловко Годар обращается с литературными аллюзиями и философскими афоризмами... И попробуйте внушить этому рожденному метафизике, который в полете творит из математической теоремы метафору, что он занят не самым главным искусством!

Я мог бы вам доказать, что главный жанр, если считать главным тот, который колонизирует и пожирает все остальные, превращая их в провинции своей империи, так вот, я мог бы доказать, что законный претендент на главенство — театр. Не только мог бы, но уже доказал, и сделал это давным-давно, в год своего поступления в Эколь Нормаль, написав работу для семинара Жака Деррида, где сравнивал «Театр и его Двойник» Арто и «Рождение трагедии» Ницше. Уже тогда я согласился с Антоненом Арто, мучеником<sup>1</sup> и светочем (в то время он был моим идиолом, еще одной великой тенью, человеком, принесшим новое евангелие, позже я назвал в его честь сына), что театр в самом деле «театр жестокости», «взрыв», сдирающий кокон с личинки ради ее вочеловечивания; психологическое «пресуществование» метафизикой «действия» и «транса» актеров, персонажей и автора — словом,

<sup>1</sup> В раннем детстве Арто переболел менингитом, следствием которого стало душевное заболевание, терзавшее его всю жизнь. По назначению врача начал принимать опиум — привычка, от которой он так и не избавился.

«священное действо», а значит, нечего спорить: театр и есть абсолютное и совершенное искусство.

Но можно пойти еще дальше и утверждать — я говорю это не потому, что вернулся со службы в церкви Святого Рока, где отпевают всех художников, — а потому, что великий модельер Ив Сен-Лоран<sup>1</sup> не мог создать платья без странички Пруста, игры красок Энгера, графики Матисса или Пикассо, жеста, подсмотренного у Джакометти и Жермены Ришье, потому что он был не только прирожденным художником и прожил жизнь художника, но и потому, что мог бы описать свою работу как несравненное искусство. Но не описал... Он был слишком скромным, слишком обаятелен, чтобы становиться в позу... Хотя и здесь кипит расплавляющий тигель и перегонный куб. Так почему, по какой причине нельзя утверждать, что там, где он кипит, вбирает, растворяет, кристаллизует, преобразует, не возникает и не воспаряет *художество*?

Тут есть о чем подумать, не так ли?

Но если можно утверждать одно, а потом прямо противоположное и утверждения будут равноправны, если на один вопрос существует множество ответов, противоречивых и в то же время доказуемых, если возможно (ведь я еще не исчерпал списка возможных вариантов, он бесконечен) вслед за Руссо утверждать, что жанр жанров — это его «Исповедь»-обнажение, или вслед за Блаженным Августином считать, что его «Исповедь»-обращение и есть величайшая, благословенная книга, то это значит только одно: вопрос поставлен некорректно.

И я на поставленный вами вопрос предлагаю мой собственный скромный ответ, возникший на основании

<sup>1</sup> Ив Сен-Лоран умер 1 июня 2008 г., отпевание состоялось 5 июня в парижской церкви Святого Рока.

предыдущих замечаний, подтвержденный опытом, вынесенным из беседы с Арагоном, исключающий дальнейшие споры.

Высшего жанра не существует — вот суть моего ответа.

Любой жанр становится высшим, как только художник начинает творить в нем и решает объявить его самым значительным — так говорит нам практика.

Если хотите, искусство можно уподобить Мессии, как трактовал его Махараль Пражский<sup>1</sup>, говоря, что Мессия вовсе не особый посланец, явившийся в особое время, чтобы в особом месте сотворить чудо, — нет; утверждал Махараль, Мессией могу быть и я, может быть любой из вас в любой исторический момент в любом месте, если, верный Торе, он будет осуществлять ее заветы. И разве не то же самое можно сказать об искусстве? Оно вот *это* стихотворение, *эта* проза, *эта* статуя Праксителя, *эта* картина Учелло; *этот* гениальный монтаж фильма, «и» в начале предложений в «Госпоже Бовари», наращивание смыслов в романе Филиппа Рота; *эта* фотография Ричарда Аведона; *эта* автобиографическая страница Гомбровича, сцена Эсхила или Расина. Да, все *это* *высшее*, окончательно и бесповоротно высшее и вообще и в частности, в творчестве такого-то вот художника, который согласно своему настрою, часу, месту, где он находится, дыханию, ровному или учащенному, женщине, которую он любил, обретает среди жанров тот, который станет формой его великого творения.

<sup>1</sup> Под прозвищем-акронимом Махараль Пражский («Mogen ha-Rav Loew» — «Наш учитель рабби Лёв») известен Иехуда Лива Бен Бецалель — крупнейший талмудист XVI в., личный друг императора Рудольфа II. Именно ему легенда приписывает создание Голема.

Не выбирать — вот главное правило.

Быть медиумом и пиратом, а не хранителем святыни жанра — вот в чем секрет.

Сегодня поэт.

Завтра романист.

И снова поэт, когда почувствовали, что роман исчерпал вас, а вы исчерпали источник вдохновения и все средства.

Я, во всяком случае, живу именно так.

Я беру эти жанры, как беру такси — приехали, выхожу, спасибо и до свиданья, сколько я вам должен?

Я меняю их, как когда-то на почтовых станциях меняли лошадей, оставляя уставшую и садясь на свежую, что доставит нас до следующей станции (что-то похожее говорил и Мишель Фуко, и Жиль Делез в беседе, которую лет сорок назад опубликовал журнал «Арк»).

Должен сказать, что вопрос пресловутой «точки зрения», которая позволяет воспринимать жизнь и смерть, воображаемое и реальное, прошлое и будущее, ну и так далее, не противоречащими друг другу, для писателя вовсе не риторический (стихи *или* проза... поэзия *или* роман), а диетический (что больше подходит в эту минуту организму, который пишет, и организму, о котором он пишет, ведь это тоже живой и растущий организм?), даже метафизический (формирующая истина развивающегося существования, у которого есть не только право, но и обязанность переходить от одного жанра к другому в силу необходимости двигаться вперед).

Нет другой «точки зрения», есть зрение.

Излучающая энергия произведения всегда равна себе, Пруст говорит о сонате Вентейля<sup>1</sup>, что «она

<sup>1</sup> Персонаж «В поисках утраченного времени», композитор.

всегда излучала одинаково ровный свет, никакая среда его не преломляла».

Средоточие литературной одиссеи — только «я», которое пустилось в странствие, переполнилось им и, возможно даже, в нем затерялось.

Говоря «я», разумеется, не имею в виду «Я, его величество», Нарцисса, зеркало, занятое лишь уловками и собственными тайнами; нет, мое «я» неуверенное, непредсказуемое, хрупкое, иной раз почти незаметное, оно лишь предлог для литературного странствия, настоящий «театр жестокости», движущая сила, выстраивающая и разрушающая это странствие; «я», становящееся то ровным местом, то пиком, то воздушным шаром, то пустотой, шагающее в ритме произведения, испаряющееся, когда оно закончено. Я же говорил вам, что мало что знаю о Бодлере, Пьеро делла Франческе, городах Анголы, Сартре, потому что уже написал о них. И мне кажется, что у нас с вами, Мишель, был опыт таких книг, в которых мы становились совсем для себя непривычными, и в этом их главная ценность.

Вот что я думаю, дорогой Мишель.

И поэтому, я думаю, вы склоняетесь к поэзии, а я к роману.

Поэтому вы и сняли фильм, замечательный, очень поэтичный, с великолепной метафизической подкладкой (спасибо Arte<sup>1</sup>, в конце концов они устроили показ!), — но этот фильм, повторяю вам, всего лишь очередной зигзаг на том пути, куда вы увлекаете и маните последователей.

Я не хотел бы оставить без ответа и ваш пассаж об актрисах. Об одной уж, во всяком случае, я хотел

<sup>1</sup> Французско-немецкий общественный телеканал, посвященный европейской культуре.

бы сказать словами Бодлера — «моя великая, единственная, неизбывная страсть»<sup>1</sup>.

Хотел бы поговорить еще и о Гари, тоже писателе, кинематографисте и мастере мистификации (непревзойденном): что за странная мысль об ответственности, которую мы будто бы несем перед читателями и которая мешает нам стать Ажарами?

В следующий раз, возможно, поговорим.

А пока отправляю вам это письмо.

<sup>1</sup> Шарль Бодлер. «Мое обнаженное сердце». Б.-А. Леви говорит о своей жене, киноактрисе Ариэль Домбаль.

26 июня 2008 года

Скорее всего, я неудачно выразился, дорогой Бернар-Анри; мне следовало бы обойтись без выражения «высший жанр», оно слишком напыщенно. Но прежде чем возвращаться к этому вопросу, который волнует меня, наверное, больше всего на свете, я переведу дыхание и поделюсь забавным воспоминанием. Не могу без улыбки вспомнить руководителя фестиваля искусств в Гёттингене, нервозного бывшего панка, который объяснял мне, что он *требует*, чтобы на его фестивале к писателям относились *точно* так же, как к музыкантам — к мировым рок-звездам, — и заключил свою пламенную речь выводом, с которым я не мог не согласиться: «Literature is one of the fucking major arts of the Werstern World!»<sup>1</sup>

Надо было бы сказать не высшее искусство, а *первичное* искусство (в том смысле, как говорят о первичных элементах в химии), или *глубинное искусство*. В общем, нечто противоположное тому, что Вагнер (я к нему хорошо отношусь) называл *тотальным искусством*. Своего рода канте хондо<sup>2</sup>, но в более обобщенном смысле.

<sup>1</sup> «Ведь и литература — одно из главных, черт бы их всех побрал, искусств западного мира» (англ.).

<sup>2</sup> Андалузские народные песни, исторически связанные с песнями арабов-морисков. Лучшим образцом канте хондо считают цыганскую сигирийю.



Конечно, все это относится не только к поэзии. У музыканта бывают минуты, когда словно бы помимо него начинает звучать мелодия. Еще более первичным был жест человека (мы о нем ничего не знаем), который помешал пальцем бурую грязь и провел черту на стене пещеры.

На меня иногда слова накатывают, наплывают сами собой, бессвязные, бессмысленные, но я берусь за листок бумаги, чувствуя, что происходит что-то важное. Это длится какое-то время, длится, в общем, пока длится, но за это время я успеваю написать стихотворение, и большего мне не надо. Однажды утром, я никогда его не забуду, я ждал, потом ехал на такси и написал восемь стихотворений. Последним было «Возможность острова».

А вот романы так не пишутся никогда. Какой у меня максимум? От пяти до десяти страниц. Потом нужно затуманить голову, отключить механизм и подождать завтрашнего дня, чтобы продолжить работу.

Вдобавок начинаются проблемы. Приведу самый свежий пример, так нагляднее: в «Возможности острова», романе, Даниэль и Изабель встречаются с Фоксом в Испании, на пустыре возле шоссе, и я написал, что Даниэль вышел из «бентли». Несколько месяцев спустя голландский переводчик (дотошный до крайности, очень придирчивый и все-таки симпатичный) обратил мое внимание, что «бентли» был продан пятьдесят страниц назад, и значит, Даниэль должен выходить из «мерседеса». Во французском издательстве никто ничего не заметил.

А я, когда писал, видел на стоянке на шоссе «бентли»; но послушно исправил на «мерседес». Может, и зря.

Такое происходит постоянно, потому что поэзия говорит одно, а логика, необходимость внутренней связи с обескураживающей настойчивостью твердит

противоположное. Если повиноваться поэзии, читать тебя будет невозможно. Если не повиноваться, приговариваясь к добросовестному труду storyteller.

Эти вечные столкновения — моя повседневность. Когда я сажусь писать книгу, а вернее, роман, только и делаю, что торгуюсь с неподкупным разумом. В кино еще хуже: нужно точно сознавать, чего хочешь, чтобы объяснить сотрудникам, а они с полуслова не поймут. Но худшее из худшего — это конфликты «кто кого», тут нужен уже не неподкупный разум, а умнейшая тактика, о чем меня еще давным-давно предупреждал Патрик Бошо, трезво заметив: «Режиссура — это политика». Но ведь трезвость, политика, умная тактика противоположны экстазу. Поэтому вы можете понять, какой я испытываю восторг, если мне удастся вновь приникнуть к глубинному источнику.

Глубинному, да, безусловно, но я не хочу преувеличивать его загадочности. Молено посмеиваться над *Йозефом Бейсом*<sup>1</sup>, его идеализмом, наивностью, немислимыми проектами социальных преобразований, но нельзя отказать ему в правоте, когда он провозглашает: «Каждый человек — художник». Потому что каледому ведомы минуты, когда он создает удивительные художественные представления, причем разум не принимает в них ни малейшего участия. Он творит их каждый день, а вернее, ночь, потому что каждый человек *видит сны*.

(Сны видят и некоторые животные тоже.)

Глубинную родственность творчества и сновидений открыли не сюрреалисты, о ней говорили первые романтики. Все, кто трудился в области искусства на протяжении долгой истории человечества, знали —

<sup>1</sup> Немецкий художник-перформансист, теоретик перформанса.

даже если первыми это напористо высказали романтики, боровшиеся против удушающей элегантности и рационализма XVIII века: есть минуты, когда произведения пишутся сами, вне контроля разума. Минуты эти могут быть продлены, только не с помощью наркотиков (тут я с Бодлером решительно не согласен). Достаточно оттянуть мгновение пробуждения. Когда вторгается критический разум, рациональное суждение, пора остановиться, принять душ. Значит, настало время начинать рабочий день, улаживать административные дела, обсуждать проекты, потом отправиться в ночной клуб, а можно и выпить, чтобы поскорее забыться сном, и лично я обычно предпочитаю второе.

С тех пор как мы затеяли с вами переписку, вы не раз уже говорили о телесном состоянии писателя, а я, признаюсь, почти не высказывался по этому поводу. Но, поразмыслив, единственное, что могу сказать: лично я действую всегда в полусне. Но это вовсе не означает отсутствия эрекции. Любить я предпочитаю в полусне на рассвете (Внимание! Эксклюзивная информация!). Кое-кому, может, и доводилось любить, не затенив неподкупного разума, я им не завидую. Все, на что способен я при полной ясности сознания, — это проверить счета или собрать чемодан.

Из этого не следует, что я присоединяюсь к стахановским призывам Флобера с фаллической окраской: «Напрягай! Напрягай!», «Чернильница — единственное влагалище, к которому вожделеет писатель». Каждый делает что может, черт побери! Бывают ведь и незротические сны. Из всех обвинений, которыми меня донимали, самым постоянным и самым серьезным было обвинение в *преизбытке секса* в моих книгах, меня это крайне изумляет. На дворе 2008 год, в нашем западном обществе сексуальные вопросы вроде

бы давно убраны под сукно, причем никто ни в малейшей степени не желает, чтобы краешек этого сукна был приподнят. В 1994 году после выхода «Расширения пространства борьбы» все остолбенели, но с тех пор у моих недоброжелателей было время организоваться.

У меня есть несколько достойных противников, и в хоре шокированных критиков, которые встречают каждую мою книгу страшными воплями, я не без нежности выделяю статьи Мари-Франсуазы Коломбани. Вспоминаю, что после выхода «Платформы» она написала очень точно: «Нужно повторять себе, что все это неправда, жизнь совсем не такая, это жуть наподобие „ужастиков“, забава для детей, и читать книгу нужно так, словно задумал нарочно поугадать себя перед сном». Я понимаю, что мир, в котором ее ровесники отхватывают полпланеты в поисках нескольких секунд сексуального удовольствия, ее не радует, и мысль, что ровесницы поступают точно так же, настроения не улучшает. Понимаю, что это не тот мир, в котором она хотела бы жить. Я все это понимаю и пишу вовсе не для того, чтобы огорчить ее (и все-таки огорчаю).

Но ее восприятие справедливо, мои книги действительно вымысел, я никогда не утверждал обратного. Возможно, как Лавкрафт, я только и писал, что *«сказки, материализующие ужас»*, и вдобавок с чудовищной достоверностью. Конечно, я мог бы вывести на сцену старцев, озабоченных судьбами человечества, занятых борьбой против расизма и активно выступающих в интернете, сумевших, хоть и не сразу, создать себе любящую семью, но еще способных и на любовное приключение среди красот Люберона благодаря ярко-красной карте «Duo»<sup>1</sup>. Вполне возмож-

<sup>1</sup> Частная программа социального страхования.

но, и выведу, как только выкрою пять минут свободного времени.

Ни разу в жизни не получал я такого удовольствия, как от мейла читателя, который начал с того, что с немалым талантом пересказал мне всевозможные истории из собственной жизни, но потом заметил, что одних историй недостаточно, нужно распределить направляющие, расставить по местам значимые персонажи, очертить социальную среду — словом, массу вещей, которые он предпочел бы передоверить мне, и завершил письмо фразой, которую я всегда так хотел услышать: «Спасибо за вашу кропотливую работу».

Жизнь этого человека совсем не похожа на жизнь Мари-Франсуазы Коломбаии, но реагируют они одинаково, они *читатели*. Куда меньше уважения вызывают у меня те — да нет, они мне просто отвратительны, — кто поддался соблазну *reductio biographica*<sup>1</sup>, и я никогда не прощу СМИ, что и они выбрали ту же позицию. В этом случае ответ прост и груб. Я держу перед миром зеркало, отражение им не по вкусу. Они морщатся, поворачивают зеркало лицом ко мне и заявляют: «Вы описываете не мир, вы описываете себя». Заявляю и я в свою очередь: «В своих жалких статьях вы пишете не обо мне, не о моих книгах, вы просто лжете, обнаруживая собственную низость». Граница, которая разделяет людей, лежит не в области интеллекта, а в области души и сердца. Од Ланселен<sup>2</sup>, например, что бы о ней ни думали, способна восхищаться, а Мари-Доминик Лельевр на это не способна, и все, что она видит в мире — портреты, «вытравленные серной

<sup>1</sup> Все свести к биографии (*лат.*).

<sup>2</sup> Журналистка, в журнале «Нувель обсерватор» занимается вопросами культуры, литературной критикой и философией.

кислотой», которые она поставляет в «Либерасьон», — несет отпечаток ее бесцветной ущербной души. Примеры можно множить, но я-то хочу сказать, что все зеркала деформируют изображение и деформация порой позволяет создать картину. Бывает, что зеркала загрязняются, покрываются пятнами и больше не могут ничего отразить, тогда это серьезно. В последнем своем письме вы приводите известную бредятину Жида; есть и другая, еще более известная: «Хорошая литература не создается добрыми чувствами» — ее понимают примитивно, тут же делая вывод, что литература создается чувствами злобными. Да нет, для хорошей литературы нужны все чувства, какие только есть на свете, и хорошие, и дурные, их соотношение — дело автора. Проблема, думается, не в озлоблении и не в «безрадостных страстях», потому что нет человека, который бы их избежал. Проблема — в отсутствии порыва, энтузиазма, радости. Когда в душе сосуществует и светлое, и темное, она спасена, — я подразумеваю, в литературном плане. А если говорить совсем уж конкретно и точно, то я всерьез обеспокоюсь тогда, когда избавлюсь от своей циклотимии, — в этот день поверхность зеркала померкнет. Или — аналогичная опасность — когда зеркало разобьется и душа превратится в осколки.

Вы правы, отметив, что в борьбе отражений и отсветов моя победа несомненна. Все меняется на протяжении истории. Наступит время, и реакция на мои книги будет казаться *симптомом*. Кое-кто уже сейчас говорит обо мне как о вымышленном лице. Сам я никогда не возражал против того, чтобы стать романтным персонажем, я вынужден им стать, превратившись в «общественно значимую фигуру», но такой выбор меня несказанно удивляет. Правда, сделали его весьма посредственные авторы, кроме разве что Филиппа Джиана (в книге «По направлению к бе-

лым»). Но Джиан, заботясь об увлекательности своего произведения, очень далеко отошел от прототипа. Например, эпизод с Мадонной весьма забавен, но не имеет ко мне никакого отношения. Вывод напрашивается сам собой: персонаж романа не имеет со мной ничего общего, сам по себе я неинтересен.

Жаль мне совсем другого — жаль, что не нашлось желающего написать книгу о восприятии критикой моих книг. Я только что провел неделю в Польше, там сейчас идут ожесточенные споры между католиками-консерваторами и либералами-прогрессистами, в основном по поводу сексуальной морали. Самой интересной была, пожалуй, многочасовая беседа со студенткой-социологом, которая написала работу о том, как были приняты мои книги в Польше и как оба эти лагеря пытаются ими воспользоваться. Для меня эта встреча была по-настоящему интересна, для нее разве что любопытна, она писала не обо мне и даже не о моих книгах, она писала о Польше, освещая ее тем отстраненным умиротворяющим светом, какой излучает социология, когда не участвует в сиюминутных идеологических баталиях.

Меня мало радует бледный ответ Христа, что упал на мою участь («...*Не мир пришел Я принести, но меч; Ибо Я пришел разделить...*»<sup>1</sup>). Все это так печально, болезненно, горестно. Но что я могу поделать? Так легла карта.

Официальная версия гласит: все у нас хорошо, все идет к лучшему, отрицают это одни психопаты-нигилисты. Психопатия их тоже объяснима: неблагополучная семья (мать бросила, отец тиранил, отсюда тяжелые последствия). С этой точки зрения внезапное появление моей матери, не могу отрицать, произвело некоторый эффект. Выглядела она как надо:

<sup>1</sup> Мф 10: 34, 35.

взглянешь — содрогнешься! А когда заговорила... Ее «обращение в ислам», заинтересовавшее агента безопасности Ассулина, оказалось фарсом, и вдобавок выяснилось, что мы с ней (сын и мать) едва знакомы и наша встреча носила едва ли не случайный характер...

Ницше объяснял женоненавистничество Шопенгауэра его плохими отношениями с матерью — медвежья услуга, оказанная многим и многим, объяснение не столько правдивое, сколько правдоподобное. Конечно, можно предположить, что каждодневное общение в детстве и юности с презируемой матерью может наложить отпечаток на дальнейшие отношения с женщинами.

Но если человек своей матери практически не знал? Логичнее предположить, что в дальнейшем он будет настойчиво искать общества женщин, всеми силами стараясь узнать то, что осталось для него неведомым.

Может, именно по этой причине я «одержим сексом»? Но в моей жизни нет никакой одержимости. Конечно, бывает и одержимость, но бывает и полное небрежение. Я думаю, что и в этой области я тот же циклотимик, как во всех других. Но если я стал писателем (а я им стал, слишком поздно выражать сомнения, было бы, право, смешно в мои годы кокетничать), то произошло это по более глубоким, хотя и менее заметным причинам: я как бы отсутствую, впадаю в оцепенение, не мешая своим впечатлениям кристаллизоваться, подыскивать себе форму. И мне из-за неврастенической слабости с большим трудом, чем кому-либо, приходится каждое утро приучать себя жить.

И поверьте, дорогой Бернар-Анри, мне совсем не радостно знать, что наша переписка подходит к концу



(никуда не денешься, издатель ждет, а на то, чтобы напечатать книгу, нужно время). Я совершил немало открытий, но не считал нужным сообщать о них в нашей беседе, до такой степени очевидными и непреложными они для меня стали. Так, теперь я окончательно понял, почему всегда чувствовал, хотя в моей биографии нет для этого никаких оснований, что я «за евреев». Я согласился и с тем, что философия — род литературы, и осознал, что любил ее именно в этом качестве. Не сказав этого вслух, я перестал считать философию рациональным знанием, а увидел в ней образы и метафоры. У математического знака своя область применения, у текстового своя, я это осознаю. И мне приятно виден, теперь в Шопенгауэре и Платоне не учителей, а *коллег*.

Я не касался некоторых тем, которые могли бы повлечь за собой разногласия. Например, Николя Саркози. Мне он скорее симпатичен. Мне не кажется, что он циник, думаю, он старается ради блага Франции, а главное, выполняет ту программу, благодаря которой его выбрали. Любопытно, что именно этот факт вызывает у демократов такое удивление. Неужели до этого нами правили одни негодяи?

Если я избегал говорить о Саркози, то вовсе не потому, что боялся столкновений. На мою беду, мне такое не свойственно. Среди моих друзей — а такие еще остались — многие ненавидят Саркози куда яростнее, чем вы, и признаюсь, я бываю рад, если мне удастся поговорить с ними о чем-нибудь другом. Но в нашем разговоре последнее слово за вами.

Главное, что мы поговорили о литературе. Полезно время от времени отдать себе полный отчет в том, чем же ты занят на самом деле. До нашей переписки я не ощущал, как сильно — всем своим нутром, всеми печенками — привязан к поэзии. Не понимал, что горжусь третьей частью «Возможности острова», потому

что «и внутри романа восторжествовала поэзия», как написал в своей статье Сильвен Бурмо.

Поговорили мы немножко и о себе. В своих письмах я часто что-то о себе рассказывал, мне было приятно, беседуя, заглянуть в прошлое. Три года назад я попытался заняться автобиографией более систематически и первые результаты обнаружил в интернете, но очень скоро забросил эти жалкие попытки. Для некоторых писателей собственное «я», обыденное и мелкое, открывает доступ к всеобщему. Но я должен признать очевидное: это не мой случай. У меня никогда не будет спокойного бесстыдства Монтеня (нет и беспокойного бесстыдства Жида). Я никогда не напишу «Исповеди», «Замогильных записок»<sup>1</sup> и тем более «Родословной»<sup>2</sup>, хоть восхищаюсь и книгами, и авторами. Этот путь не в моем характере. Мне скучно копаться в себе в поисках гипотетической истины, зато приятно чувствовать, как внутри меня развиваются персонажи, люблю ощущать, как между ними и мной зарождаются восхищение, ненависть, ревность, зачарованность, желание. Не знаю почему, но мне нужна эта вторая жизнь.

Думаю, тут мы с вами схожи. Ваши персонажи тоже во власти всевозможных искушений, это очень чувствуется в «Лилии и пепле»<sup>3</sup>, они двусмысленны, неприкаянны и совершенно неуместны в произведении, которое призвано что-то доказывать.

Так что мне кажется, что вы непременно вернетесь к романам. Думаю, это и желательно, и возможно, а возможно потому, что вам этого очень хочется. Наша переписка, надеюсь, вновь наделила вас желанием

<sup>1</sup> Книга Шатобриана, опубликованная после его смерти.

<sup>2</sup> Роман Патрика Модiano (2005).

<sup>3</sup> Б.-А. Леви. «Лилия и пепел, дневник писателя во время войны в Боснии» (1996).

затаиться, без которого не пишется ни один роман. Я говорю — возможно, потому что с вами можно опаса́ться самого катастрофического сценария. Например, представим, что вы худо-бедно избавились от самых тяжких своих обязанностей, *Сеголен Руаяль* стала президентом Франции и попросила вас быть министром культуры, а вы согласились. Вы были бы великолепным министром культуры и, без сомнения, единственным, кого стоило поддерживать в правительстве *Сеголен Руаяль*, но вы, полагаю, были бы слишком добросовестным министром и вряд ли писали бы романы.

Мы все нуждаемся в образцах для подражания, особенно поначалу, а зачастую и до конца. Но думаю, что вам самое время отказаться от *«модели Мальро»*. Я прекрасно знаю, как это трудно. Я сам с большим трудом отрываю себя от *«модели Бодлера»*, которая в моем возрасте равносильна самоубийству. Я знаю, как это трудно, но это необходимо.

Чудно, что ни с того ни с сего я вздумал разыгрывать учителя, но только потому, что еще не забыл, как пишутся романы. И могу себе представить, какие помои на вас польются, как только вы вновь приметесь писать. Заранее вижу, как эти гады с кривыми усмешками читают анонс о романе, выходящем в издательстве «Грассе». Такое расколodит всякого.

Тогда что же? *Стратегия Гари*? Если захотите, мы еще к ней вернемся, я чувствую, вас она очень соблазняет. Для себя самого у меня в запасе есть другой способ. Очень простой, очень глупый, но мне он всегда помогает.

*Мне достаточно представить себе, что я умер.* Умер перед самым выходом книги. Сразу после того, как подержал в руках сигнальный экземпляр, пощупал его, понюхал. Но за несколько дней до тиража.

Лучше накануне. И то, как *встрелят книгу критики*, уже не касается меня ни в малейшей степени.

Могу даже вообразить, что у меня приступ, с годами у всех у нас появляется такая возможность. А у меня их множество. Как, например, мой приступ перикардита в Руане, я описал его в «Расширении пространства борьбы»: на протяжении часа или двух мне в самом деле казалось, что я подыхаю, до того было больно. В дальнейшем этот перикардит сослужил мне хорошую службу. Стоило захотеть, и я возвращался в тот вечер, ощущал симптомы. Я ложился, закрывал глаза, и все возобновлялось с достаточной убедительностью.

Несколько минут такого упражнения, и страх улетучивается. Я больше не боюсь и могу двигаться дальше. Еще как двигаться!

И вы тоже, Бернар-Анри, двигайтесь вперед. Я приподнял один уголок сукна, но сколько еще осталось. Сколько угодно. Сукно-то для круглого стола.

*30 июня 2008 года*

Мне тоже как-то не по себе оттого, что наше общение подходит к концу.

Сколько мы переписываемся? Пять месяцев? Шесть? Почти полгода мы общались на расстоянии, не разговаривали, а посылали письма и только позавчера впервые за это время говорили по телефону... Я сказал вам, что был на природе, а вы спросили, уж не в Эбли?..

Господи! Эбли!

Вот уже двадцать лет я не слышал и не произносил название Эбли.

Никто на свете, во всяком случае никто из моих друзей, уже не знает или не помнит, что у моих родителей был там домик и мы его продали, когда эту красивую деревеньку на берегу Марны сожрал Диснейленд.

И надо же было, чтобы вы, мой дальний корреспондент, неизвестно откуда узнав (не догадался спросить), внезапно произнесли это название, призвали с берегов Леты, куда отправил его я, и тут же сообщили, что подростком жили в Креси, соседней деревне, километрах в десяти, не больше... Я ездил туда на велосипеде... Или на лодке по каналу Урк... Дым первых пикников.. Дым запретных сигарет... Запах ежевики и боярышника... Германты в двух шагах... Что-то вроде

Вивоны... Мой Комбре<sup>1</sup>... Может, и ваш тоже... Как это странно...

Замечание в скобках. Я сказал вам по телефону о дочке нотариуса в Эбли, одном из первых моих увлечений. Но я ошибся. Дочка нотариуса была в Креси, то есть у вас. А в Эбли была жена мясника. В Эбли было два мясника. Первого прозвали «убивец», потому что прежнего нашли утром мертвым в холодильной камере, и его место тут же занял приказчик, любовник жены покойного. Второго — «рогач», потому что его жена, она же кассирша, обожала юнцов и обильно ими угощалась. Она сидела на высоком табурете, в кудрях, как у Людовика XIV, с несколькими подбородками и необъятной грудью как раз на уровне глаз покупателей, этакая женщина-изваяние, остальное ее туловище пряталось в потемках маленькой будочки. Внизу стекла, которое отделяло кассиршу от покупателей, была щель, сквозь нее передавались деньги. Если кто-то ей вдруг приглянулся, она никак этого не показывала, оставаясь монумент-монументом, но давала сдачи на франк больше, и это означало свидание ровно в семь под мостом через Марну неподалеку от Иль-ле-Вилленуа. Она приносила с собой скромное снаряжение — одеяло, складной стульчик, чтобы сложить одежду, флакон из-под лосьона для бритья, куда наливала коньяк, а зимой термос с кофе.

Стало быть, вот уже полгода, как мы переписываемся.

И действительно, за эти полгода что-то всерьез изменилось.

В общем-то, я никогда не верил в пользу диалогов.

<sup>1</sup> Боярышник, Германты, Вивона, Комбре — ассоциации из романа М. Пруста «В поисках утраченного времени», связанные с воспоминаниями главного героя.

А должен был бы, ведь я философ, знаю Платона, Беркли, Юма, Лейбница и других великих авторов диалогов...

Но если честно, нет, не верю и, будучи реалистом, никогда не разделял мнения, будто достаточно затеять спор, противопоставить одним аргументам другие, и тьма невежества, как по мановению волшебной палочки, рассеется. Нет, после большинства дискуссий люди уходят с теми же убеждениями, с какими пришли. Идея «диалектики», которая позволяет им отточить свои взгляды, обогатить их или изменить, всегда казалась мне сомнительной (и столь же сомнительной мне казалась гегелевская идея, вернее, идея, приписываемая Гегелю, будто диалектика состоит в том, что из тезы и антитезы непременно рождается синтез. К счастью, великий Гегель никогда не думал и не писал подобной чуши!).

Но у нас, повторяю, в самом деле что-то получилось.

Мы проделали честную словесную работу, и кое в чем нам удалось продвинуться.

Дело не в том, что мы в чем-то убедили друг друга... Нет, но вот вы сказали, что прояснили свое отношение к «еврейству»... И я тоже многое понял, размышляя о вашей матери, о тупиках «материализма».

Еще больше мы продвинулись в осознании того, что отличает, составляет специфику наших с вами представлений о мире. Вы помните свое первое письмо? «Как говорится, у нас с вами нет ничего общего, разве что одна черта, хотя и весьма существенная, объединяет нас...» — ну и так далее. Вы тогда открыли огонь, вы брели на ощупь в тумане, но дело-то было в том, что мы ничего друг о друге не знали, не знали, что объединяет нас, что разделяет, тогда как теперь... Теперь есть наши письма, и мы знаем друг о друге немного больше...

Сближает нас ненависть, которую мы возбуждаем, это правда, нюх, который позволяет нам тут же учуять дурной запах травли, охоты на человека. Но и другое тоже (даже если брать ваше последнее письмо, мне кажется, оно много что подытоживает): уверенность, что в конечном счете мы одержим верх; наша счастливая любовь к книгам, любовь писателей, которые читают книги других писателей; пессимизм без горечи; мысль, что счастье — это иллюзия тех людей, которые не верят в бессознательное; интерес к кино, к литературе, «доведенной до божественного накала», по выражению Низана<sup>1</sup>. Эбли (отныне); Бодлер (*for ever*)<sup>2</sup>.

Нас разделяют: отношение к животным (я их не люблю); к Ницше (я предпочитаю его Шопенгауэру, а вы, мне кажется, наоборот); история с «бентли» (я бы ничего не менял в романе, потому что такова жизнь, нелепая, противоречивая, нетрудно позабыть, что «бентли» продан, все чудится, что ты прежний, а проснешься в одно прекрасное утро и видишь: время тебя изменило); ваше старание «отключить механизм» (я-то опасуюсь противоположного -- как бы механизм не отключился слишком рано! И пока он еще работает, мой совет: не надо его трогать, пусть крутится, жужжит, идет полным ходом — ведь в минуты перегрева, когда кажется, что все вертится слишком быстро, слишком сильно, все готово взорваться, литературные средства становятся похожими на молоток, раскаленный добела, и вокруг сыплются снопы

<sup>1</sup> Поль Низан, выпускник Эколь Нормаль, друг Сартра, коммунист, горячий приверженец СССР, вышел из Французской компартии в 1939 г., после подписания пакта Молотова -- Риббентропа. Бывшие товарищи обвиняли его в предательстве. Низан не мог ответить на обвинения: в мае 1940 г. он погиб при Дюнкерке, в последних боях за Францию.

<sup>2</sup> Навсегда (*англ.*).



самых ярких искр. Разве не так?); употребление допингов (я за); полусон (я против); любовная практика (некоторая одурь не помеха, по, откровенность за откровенность, вообще я из тех, кто переполняется желанием, когда глаза широко открыты, все чувства обострены, сознание яснее ясного, в общем, когда я в том самом состоянии, в котором вы занимаетесь счетами и чемоданами); литературная техника (я, само собой разумеется, согласен, что наступает минута, когда книга отбивается от рук и пишется словно сама собой — но у меня в эти минуты разум не отправляется на покой, не сны и не подсознание берут верх, у меня, наоборот, язык, а значит, хотите вы или нет, логика, смысл, трезвость, в конце концов, берут верх над потемками); теория зеркал (я оценил образ, и мне по вкусу ваша идея показывать дуракам пустое, без отражения зеркало, когда им кажется, что они поставили его перед вами — пусть их думают, что могут ответить тем же). Но позвольте мне предложить вам другую идею, навеянную книгой «Душа жизни», которую написал в XIX веке один литовский раввин, звали его Хаим из Воложина, и он среди прочего разъясняет, чему служат не только книги вообще, но и главная Книга. Для чего нужно столько веков подряд сидеть в иешивах и размышлять над каждой буквой Закона, если ни одно толкование не может быть окончательным? А для того, чтобы мир не рухнул, не рассыпался в пыль и мелкие осколки. Бог создал мир и сразу же от него отдалился, предоставил его действующим в нем силам саморазрушения. И только изучение, только огненные буквы, что светящимися колоннами тянутся к небу, могут помешать ему рассыпаться, сохранят в целости. Толкования — это не отражения, это опоры мира, который без них бы рухнул. Книги тоже не зеркала, они несущие конструкции вселенной, вот почему так важно, чтобы существовали писатели...

Вот.

Список наших сходств и различий вряд ли интересуется кого-нибудь, кроме нас.

Но он таков.

Таков наш опыт.

И вот еще что меня порадовало — по ходу нашей беседы, благодаря ей, я высказал много такого, что никогда бы иначе не высказал, не сформулировал.

У меня, я вам уже говорил об этом, болезненная страсть к скрытности.

Говоря «болезненная», я подразумеваю, что ширмы, заставы, подставы для отвода глаз, ложные ходы и тропы, ветвясь и разрастаясь, как это было у меня в ранних романах, запутывают в конце концов и меня, я увязаю сам, становлюсь пленником собственных ловушек, хотя хотел только отвести глаза зрителю. Я как тайный агент, который выполняет задание, но уже не помнит, какое и для кого. Или заигравшийся актер, запутавшийся в собственных масках и подлогах.

Как видите, и мне никогда бы не пришло в голову заняться мемуарами или, не дай-то бог, исповедями.

Даже свой дневник я снабдил почти параноидальной защитой, и, если вдруг внезапно умру, не успев им воспользоваться сам или сам его уничтожить, он бесследно исчезнет.

Кстати, вот как это вышло.

Как-то вечером года два назад мы сидели в баре отеля «Эксельсиор» в Венеции с Оливье Корпе, директором ИПСИД, Института памяти и современного издательского дела, он настоящий профессионал, одержимый собиратель писательских архивов.

Мы сопровождали Алена Роб-Грийе, который приехал представлять на Венецианском кинофестивале свой последний фильм «Вас зовет Градива», и

сидели в баре в окружении классической фауны — старлеток, продюсеров-однодиевок, репортеров, ждали, когда спустится мэтр, и убивали время, болтая о том о сем.

Корпе, как всегда при наших встречах, уговаривал меня подумать, не пора ли мне передать ему свой архив.

Я, как обычно, его подначивал, толкая о двадцати с чем-то там тысячах страниц легендарного дневника, набитого тайнами одна другой сенсационнее, но который никогда ему не достанется, потому что я дал своей секретарше приказ в случае моей внезапной кончины, которая помешала бы мне использовать его как я задумал (чем не материал для колоссального романа?), пропустить его через бумагорезку.

И вдруг Корпе смотрит на меня — такого я еще никогда не видел — пристально, но по-буддийски безмятежно, и ласково, до того ласково говорит, явно взвесив заранее каждое слово: «Мне не хотелось бы вас огорчать, но архивы — моя епархия. Я знаю наизусть все истории дневников, писем, рукописей, которые писатели запирали на сто замков при жизни. Но! Существует один закон, и этот закон ни разу не был нарушен, слово одержимого профессионала! Вы меня хорошо слышите? Ни один из этих документов никогда не был уничтожен! Все они стали достоянием общественного любопытства. Не будем торопить время. Я верю, что вы все прекрасно организовали. Не ставлю под сомнение добросовестность ваших близких. Но я знаю, что тем или иным путем, не спрашивайте каким — путей бесчисленное множество, — доступ будет открыт. Предательство? Любовь? Кто-то, любя вас слишком горячо, не захочет присовокупить к одной потере другую? Нескромность? Оплошность банка, где, как я полагаю, вы храните свой дневник? Все возможно. Действительно все. У истории гораздо

больше воображения, чем у людей, и я совершенно уверен, что рано или поздно, какие бы предосторожности вы ни принимали, найдется ход, лазейка, увертка, усмешка Истории, и ваш дневник окажется, как все другие, в ИПСИДе...»

Ночью я не мог спать.

Неделя за неделей этот разговор не выходил у меня из головы.

Если бы дельфийский оракул сообщил мне время моей смерти, я бы не был так испуган.

Эти недели я посвятил изготовлению такого хитрого, единственного в своем роде механизма, который нарушил бы и закон, и предсказание Корне.

Я изучил все известные случаи, от Кафки и Макса Брода<sup>1</sup> до «Одуревшего петуха» Генри Миллера<sup>2</sup> и последнего романа Набокова «Лаура и ее оригинал»<sup>3</sup>, о скором выходе которого проведал благодаря одной своей приятельнице.

Я посоветовался с юристами, нотариусами, адвокатами, которые могли изучить со мной не только букву и дух закона, но и помочь включить в перечень все возможные случайности, неожиданности, вторжения и предусмотреть защиту от них.

Я назначил тайных попечителей, которые в нужное время будут наблюдать за действиями исполнителей завещания без их ведома, подумал и назначил тех, кто будет проверять и этих попечителей.

<sup>1</sup> Перед смертью Франц Кафка поручил своему другу Макс Броду сжечь все свои произведения, но тот не выполнил его просьбу, и произведения Кафки были опубликованы.

<sup>2</sup> Роман, который Миллер начал писать еще в 1929 г., не был завершен, и все же спустя много лет его опубликовали.

<sup>3</sup> Набоков просил жену уничтожить незаконченный роман, однако она этого не сделала. Вера Набокова завещала сыну Дмитрию сделать это после ее смерти, он долго колебался, но так и не решился. Роман был напечатан в 2009 г.

Компьютерщик, защищаясь от хакеров, множит преграды и степени сложности защиты, усложняет и шифрует коды, изобретает новые сигналы, предупреждающие об опасности, точно так же и я создавал двойную, тройную, четверную защиту, предусматривал возможность смерти одного поручителя, безумия второго, легкомыслия или внезапно проснувшейся ненависти третьего, и в случае, когда все эти нежелательные крайности проявятся одновременно, последний, самый крепкий запор, который все-таки обеспечит недоступность системы и позволит моей словесной капсуле самоуничтожиться.

Не знаю, удалось ли мне это, — кто переживет меня, увидит.

А рассказал я эту историю только для того, чтобы показать, до какой степени помешан на секретности.

Открыл и закрыл скобки, чтобы дать вам понять, что тайна всегда была для меня необходима как воздух, которым мы дышим.

Хочу вам признаться и еще кое в чем, не менее ужасном, — но раз уж начал, почему бы не дойти до конца? В разгар моей битвы с Корне, воображаемого поединка с добрым другом, который, сам того не желая, стал воплощением дьявола в моих ночных и дневных кошмарах, произнося с буддийским спокойствием одну и ту же фразу: «Какие бы предосторожности вы ни принимали... какие бы предосторожности ни принимали...», я превратился в подобие одного из тех тиранов, что окружили себя мертвой зоной молчания и для которых далее одна капля правды, свободы, искренности становится смертельным ядом; уподобился одному из несчастных американских индейцев, которые мерли как мухи, убитые не каплей правды, а крошкой-вирусом.

И вот произошло нечто неожиданное.

Я заговорил с вами об отце, о матери, о своем теле.

Объяснял, почему пишу, борюсь, становлюсь на чью-то сторону, отправляюсь на самые подлые в мире войны, рискую жизнью.

Объяснял, отказался от выигрышной позы бескорыстного друга человечества, чистого и благородного.

И не умер от этого, и небо не обрушилось мне на голову, напротив, я даже почувствовал себя немного лучше.

Думаю, долго это не продлится.

Мои противники непременно этим воспользуются, кинутся в открытую мною брешь и увидят в моих признаниях подтверждение самых худших своих опасений.

Они будут вопить: «Ведь предупреждали... никакой откровенности... дожить до шестидесяти и вдруг открыть, что главное для писателя — быть собой... собой... но поздно... слишком поздно... соляной столп... преждевременное погребение... слова на ветер... лучше молчать...»

Тем хуже для них, не так ли?

Пусть, если хотят, путают свободу писателя, который, как умеет, ведет неравный бой с ангелом или со зверем, и какую-то противную «самость», ставшую в их устах синонимом бездарности и безвкусицы.

Я уйду после нашего диалога с ощущением легкости и счастья — наверное, такое же чувство облегчения испытывает преступник после признания.

У меня нет ощущения, что я подверг себя опасности, наоборот, я освободился и, кажется, даже готов вновь ввязаться в романную авантюру, с которой так нахлебался двадцать лет назад и которой, вы правильно все поняли, с тех пор так боюсь.

Самого оторопь берет, но никуда не денешься, это правда.

И это лучшее, что я мог получить от нашей переписки.

Теперь о том, о чем мы с вами не успели поговорить и о чем, похоже, вы сожалеете.

Вы жалеете, что мы не обсудили Саркози. Если честно, я считаю это нашим большим достижением и предлагаю не портить случившегося чуда, пусть в теперешние времена выйдет хоть одна книга без Саркози.

Мы не обсудили его левых противников... Но и это неплохо... Что до министра культуры, то откровенно говоря... Эта должность так противоречила бы моему стилю жизни, моим занятиям литературой, философией, моей любви к независимости, что лучше о ней забыть...

В списке ваших огорчений есть только два имени, из-за которых огорчаюсь и я, мне тоже жаль, что мы мало о них говорили, и я не хочу расстаться с вами, не сказав о них хотя бы слова.

Во-первых, Мальро. Колосс Мальро. Самый недооцененный, ну, может быть, вместе с Малапарте, писатель XX века. Но я не сказал бы, что он для меня образец. Только по той причине, что сам я неровен, противоречив, раздроблен, люблю жить несколькими жизнями сразу, параллельными, взаимоисключающими. Я просто не могу выбрать себе один-единственный образец, каким бы великим, сияющим, бесспорным он ни был.

Я вам уже рассказывал, что в детстве прятался в сарайчик в глубине сада за деревьями и разыгрывал там собственные похороны, декламируя надгробную речь.

Но не сказал, что надгробные речи были все время разными, потому что постоянно менялись биографии и судьбы.

То я был писателем и оплакивал свою безвременную кончину.

То горевал над отважным исследователем, который нашел в пучине морей Атлантиду.

Потом над революционером, неподкупным, как Робеспьер, ангелоподобным, как Сен-Жюст, любимцем женщин, как Дантон и Мирабо.

Рыдал над гробом Иоанна Крестителя неведомой религии, продумав до мелочей ее литургии и обряды.

Когда я увлекался музыкой, пианист-виртуоз, подобный Глену Гульду, падал замертво на свой рояль.

Замученный пытками, но не сказав ни слова и не выдав товарищей, мученически погибал герой Сопротивления, и голос у меня при этом дрожал.

Не могу сказать, что погибал непременно герой или великий деятель, которого оплакивали все люди доброй воли. Моя жадность до всяческих судеб была так велика и так разнообразна жизни, которые мне хотелось прожить, что мне приходилось умирать и в качестве злодеев, подлецов или общепризнанных мерзавцев. В последнее слово о них я вкладывал ничуть не меньше пыла и сердечности. Смерть Тони Камонте из «Лица со шрамом» от рук полицейских казалась мне позорной для них и славной для него... Взрыв в финальной сцене «Белой горячки» Рауля Уолша и гибель Коди Джаррета представлялись прекрасными и достойными прославления. И конечно, Мишель Пуакар, он же Жан-Поль Бельмондо, убитый инспектором Видалем в последней сцене удивительного фильма Годара «На последнем дыхании». Этот фильм наравне с «Уделом человеческим» и «Феноменологией духа» сделал меня таким, каким я стал. Джин Сиберг<sup>1</sup> си-

<sup>1</sup> Американская актриса, сыгравшая в фильме Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» (1959) роль Патриции, подруги Мишеля, которая выдает его полиции.



дела передо мной в саду и, задыхаясь от слез, горя и угрызений совести, слушала мои прочувствованные речи...

И когда в заключительной части слезы наворачивались на глаза и у меня, оплакивал я не столько свою смерть и даже не то обилие заслуг, которые живописал с таким жаром, что куда там Плутарху с «Жизнеописаниями» или Марселю Швобу с «Вображаемыми жизнями», — я оплакивал все другие жизни, столько других жизней, которые уже не проживут погребенные мной, и мне не хватит детства — да что там детства, жизни! — чтобы охватить их все...

Спустя пятьдесят лет я чувствую примерно то же самое.

Бесчисленные жизни бесчисленных кумиров. «Леви» мечтает о «левитации».

Конечно же, я бы боготворил Мальро, не будь у меня за плечами Бангладеш и Боснии.

Сартр, человек-век. Камю, о котором я мечтаю написать книгу такую же основательную, как о Сартре. Бодлер, о нем я написал и зашифровал в тексте несколько своих тайн. Хемингуэй, из-за Испании. Овидий, из-за «Искусства любви». Мои равнины. И мои мошенники из Сараева. Лейбниц, которого хватило на сто жизней. И Пруст, который не видел ничего, кроме творчества. Эрудиты моей юности, приносившие себя в жертву не свойственным возрасту амбициям, а элегиям Тибулла, найденному стихотворению Энния или оде Проперция, посвященной Кинфии... И еще... Еще так много других... Святые и чудовища... И те, в которых я не успел увидеть кумиров... Я живу их жизнями.

Ну и Гари, в конце концов.

Ничего не могу поделать, Гари не перестает меня преследовать.

Во-первых, я был с ним знаком. Мальро я видел только раз, в Верьере, накануне своего отъезда в Калькутту, а с Гари в последние годы его жизни виделся постоянно. Именно тогда себе на погибель он плел завесу, готовясь спрятаться за Ажара, а никто и не подозревал об этом. Наши долгие обеды «У Липпа», где я заказывал в подражание ему неизменный «антрекот на двоих», потом долгие сидения на улице Бак с чаепитием из помятых самоваров, он всегда напоминал мне, что привез их с Майорки; Гари изображал бездельника, драчуна, ковбоя из вестерна в фетровой шляпе «стетсон», ходил в узорчатых сапогах — я сбегал к нему от своих учителей с улицы Ульм<sup>1</sup>.

У «перерождения в Ажара» была своя предыстория: знаменитый писатель был обижен, что его «забыли», для публики блеск его книг затмила яркая жизнь автора — любовь к актрисе<sup>2</sup>, провальные (или сочтенные таковыми) фильмы. Жизнь и творчество вступили в жестокое соревнование, жизнь оттеснила творчество, и творец дал пинка жизни. И вот знаменитый человек, награжденный престижными премиями, всеми признанный, добившийся настоящей славы, пользующийся всеми возможными благами, страдает оттого, что его личность загородила самое для него дорогое — его романы... Не буду развивать тему дальше... Сам зажатый рамками, стесненный *общественным положением*, как могу я остаться равнодушным к судьбе Гари?

Однако имейте в виду, я полагаю, что суть дела сложнее, чем просто новый псевдоним и возможность творить под другим флагом. Я думаю, мы ничего не поймем в этой авантюре, если сочтем ее шут-

<sup>1</sup> Высшая нормальная школа (Эколь Нормаль) в Париже находится на улице Ульм.

<sup>2</sup> Гари был женат на актрисе Джин Сибберг.

кой, уловкой или выходкой писателя, который считает, что его перестали замечать современники: «Вам не пришлось по вкусу мое подлинное лицо? Ну так вы прославите мою маску, за которую я спрячусь, обманув всех вас». Нет, тут другое, тут есть, если хотите, метафизическая глубина, не имеющая ничего общего с литературным тщеславием или даже с пристрастием, вроде моего, к двойной или тройной жизни. Речь идет об ином рождении, о таинстве. Именно это измерение придает всему, что случилось, трагический оттенок, неся ощущение катастрофы, требуя особой осторожности в обращении с этой расщепляющейся материей...

Ведь Гари, в отличие от того, что *уже* проделывал раньше, прячась за псевдонимами Фоско Синибальди или Шатан Бога, на этот раз не ограничился просто именем, он снабдил это имя плотью, плотью Поля Павловича<sup>1</sup>.

Он не ограничился и плотью, не ограничился новой биографией (то же делал и Пессоа, наделив своих пятьдесят или далее больше гетеронимов жизнью, фантазиями, набором мнений и ссор), Гари отдал своему персонажу всю публичную жизнь нового писателя, которым стал.

Им был проделан уникальный опыт в области литературной химии, в результате которого произошло нечто подобное тому, что вы показываете в вашем фильме: Гари замещен Полем, реальный писатель, каковым он является, — писателем-фикцией, которого он отправил вместо себя на литературную сцену, произошло замещение личностей, диффузия чувств и памяти, клонирование.

<sup>1</sup> Когда Ромену Гари под псевдонимом Эмиля Ажара дали вторую Гонкуровскую премию, публике в качестве Ажара был представлен племянник Гари Поль Павлович.

Результатом алхимической ворожбы, плодом нарочитого удвоения, вскоре ставшего невыносимым, завершением договора, хуже фаустовского, так как душа была потеряна, стал ад, захлопнувшийся капкан. Обман, словно кислота, разъедал в нем все, вплоть до желаний жить, и смерть показалась единственным выходом: смерть не в качестве упражнения, не затем, чтобы представить себя мертвым после получения сигнального экземпляра, прежде чем на роман набросятся критики, нет, к сожалению, самая реальная смерть — красная тряпка вокруг головы, чтобы вид крови не слишком перепугал его маленького сына, и выстрел из пистолета — завершающий такт, последняя нота органа, логичный итог последних лет, когда он был вынужден принимать себя за другого и отделяться от самого себя, как от парика или пары подтяжек.

Я видел, как Гари сходил с ума.

Видел — и не только я один — разумеется, не понимая причины, как он терял голову и погибал у меня на глазах.

Сегодня я вижу гораздо больше.

Я знаю — мы все это знаем, — что в его проделке было что-то дьявольское.

Знаю, сколько таилось в ней соблазна, знаю, что ни за что нельзя было ему поддаваться, потому что под невинной мистификацией притаилось настоящее зло, — знаю, что я, во всяком случае, исцелился от опасного морока не из-за ответственности перед читателями, о которой вы писали в предыдущем письме (мы им ничего не должны), но из-за своего желания жить (и последних моих впечатлений о Гари, как он идет, едва волоча ноги, по бульвару Сен-Жермен, взгляд блуждает, мысли тоже, уже полуживой).

Бедный Гари... Несчастный «лирический клоун», который поверил, что можно безнаказанно играть с такими серьезными вещами, как бегство, маски, Эди-

пово забвение родового имени, отречение от жизни, к которой никогда уже не сможешь вернуться... Конечно, нужно было начать новую жизнь. Без сомнения, нужно было попытаться родиться снова. Но в той же самой жизни. Обязательно в той же самой. Нужно было произвести революцию, но не в «отдельно взятой стране», а в собственной личности, в своей душе, в своем теле. Таково мое глубокое убеждение. Таков его трагический урок.

Великий урок, в котором смешались свет и тьма и который он, сам о том не подозревая, преподал мне своей смертью.

3 июля 2008 года

Еще одно слово, дорогой Бернар-Анри, последнее, потому что думаю, важно дать ответ на возникшую маленькую загадку: вы сами в одной из книг упомянули Эбли. Упомянули походя, наскоро, и мне нужно было действительно жить в тех краях, чтобы его заметить. Но упомянули его вы...

Одно замечание Шопенгауэра мне очень нравится, оно не из его мощного философского корпуса, его грандиозной интеллектуальной постройки мира «как воли и представления»<sup>1</sup>, оно из россыпи поздних афоризмов, когда у него стали возникать сомнения относительно понятия «бытие», когда он стал предполагать возможным, что в понятии «судьба» тоже есть какой-то смысл. При их чтении возникает странное ощущение, что, проживи он дольше, он бы сам расшатал фундамент выстроенной им великолепной постройки, короче, вот это замечание: «Свою жизнь помнишь немногим лучше, чем давно прочитанный роман»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Мир как воля и представление», сочинение Шопенгауэра (опубликовано в 1818 г., дополнялось в изданиях 1844 и 1859 гг.).

<sup>2</sup> Слова Мишеля Рено, героя романа Уэльбека «Платформа»: «О своей жизни помнишь немногим более, чем о некогда прочитанном романе, пишет где-то Шопенгауэр». *Перевод И. Радченко.*

Я прибавил бы: свою жизнь помнишь хуже, чем давно написанный роман.

Но забываются и романы. Я (чуть-чуть) моложе вас, но и мне случается забывать, что же я там понаписал. Обычно я собой доволен и думаю: «Смотри-ка, а ведь это мое... Неплохо, совсем неплохо...» Но бывает иначе, и тогда я отчаянно пытаюсь сменить тему разговора.

Впрочем, как бы там ни было, а кончаешь тем, что забываешь и собственные книги. И сегодня утром, не знаю уж почему, меня это очень утешает.

*11 июля 2008 года*

Утешает? Не знаю. Я понимаю, что вы хотите сказать, но мне это не кажется таким уж утешительным. Может быть, по причине моей неискоренимой, маниакальной страсти к трезвости. Может, потому, что пережил однажды, по-настоящему пережил, на протяжении нескольких часов, клиническую потерю памяти и понял, что это значит для человека, я уж не говорю для писателя — больница Сальпетриер... отделение скорой помощи... полная растерянность... помрачение рассудка... с большим трудом вдруг припоминаю свое имя... и тупо твержу одно и то же перед сборищем удрученных врачей: «Болезнь Бодлера... Болезнь Бодлера...»

Но быть может, вы правы. Может быть, в тот или иной день неотвратимо наступит миг, когда значимые пласты жизни, книги станут бледными тенями, миражами, облаками, что исчезнут на склоне прекрасного и живого сегодня. Но в противоположность вам нет для меня ничего хуже подобной перспективы. И спасаясь от этого страха, утраты, насильственного отторжения и кровопускания, я предпочитаю изображать феномен памяти, тщедушного, но жилистого Геркулеса, который тащит драгоценные воспоминания без отдыха то на плечах, то толкая перед собой, словно тяжелый, плотно сбитый и увесистый валик.



Хотя иногда до того устаешь. Ницше, да и Шопенгауэр тоже, считали, что воспоминания убивают и что самое точное определение этого болезненного состояния и есть «злопамятство». Ну и ладно. А меня они толкают вперед, помогают почувствовать, что время движется, чему-то служит, что оно не нескончаемое сегодня. И в последний раз возвращаясь к одному из наших споров, который, оди-единственный, почему-то оставил у меня ощущение, что я не был в нем до конца искренен, я скажу, что прошлое едва ли не самый мощный стимул из тех, которые я знаю, поддерживающий во мне желание писать, продолжать во что бы то ни стало.

И я люблю не все свои книги. И не всё, что было у меня в жизни. Но мне нравится возможность разобраться с тем, что было. Нравится, что каждый новый этап становится неявным, но непременно и огражденным возвращением к прошлому. Вопреки распространенному мнению, я не верю, что именно в последнюю минуту, при последнем вздохе к тебе приходит ясная память и восстанавливает абсолютно все, что жизнь ухитрилась рассеять. Да нет, всё с тобой. Теперь, сейчас. В каждую секунду твоей текущей жизни, если только ты по-настоящему живешь. На каждой странице каждой книги, если только ты по-настоящему пишешь. И если у меня возникает какое-то предощущение, то примерно следующее: волноваться надо тогда, когда на поверке тебе не откликается: «Здесь!» большая часть книг, большая часть прожитой жизни, большая часть сопутствовавших тебе людей. Предчувствие против предчувствия. Заключение пари. Поживем — увидим.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Письмо от 26 января 2008 года.* В котором Мишель Уэльбек наносит первый удар: «Мы с вами ярчайший пример вопиющего упадка интеллектуальной жизни Франции и кризиса ее культуры» .....

*Письмо от 27 января 2008 года.* В котором Бернар-Анри Леви дает сдачи, напомнив, что Сартр, Паунд, Селин и Бодлер не были оценены по достоинству их современниками .....

*Письмо от 2 февраля 2008 года.* В котором Мишель Уэльбек, опираясь на Шопенгауэра, рассуждает о противоречивом стремлении каждого писателя к всеобщей неприязни и к всеобщему признанию, а также о воле к победе .....

*Письмо от 4 февраля 2008 года.* В котором Бернар-Анри Леви вспоминает детство. Некогда он помог однокласснику, ставшему всеобщим козлом отпущения. Этот эпизод — наглядное подтверждение теорий Жирара и Клаузевца.....

*Письмо от 8 февраля 2008 года.* Внутреннее существо или общественное лицо? Что помогает выжить под постоянным прицелом миллиона глаз, при слепящем свете софитов? Мишель Уэльбек предлагает Бернару-Анри Леви вместе вступить на узкий путь «исповедального жанра».....

*Письмо от 16 февраля 2008 года.* Да здравствует холодный, отстраненный стиль без тени исповедальности («модель Флобера»)! Да здравствуют трезвый расчет, воинственность и скрытность («модель Пессоа»)! Вот что ответил Бернар-Анри Леви на предложение Уэльбека .....

*Письмо от 20 февраля 2008 года.* В котором Мишель Уэльбек рассказывает о своем отце, о взаимоотношениях родителей. Приподнимает завесу тайны, оберегающую его частную жизнь .....

*Письмо от 23 февраля 2008 года.* В котором Бернар-Анри Леви также рассказывает об отце и сообщает, что видит в нем сходство с одним из знаменитых героев Роб-Грийе .....

*Письмо от 1 марта 2008 года.* В котором Мишель Уэльбек вновь рассуждает о Селине и Прусте. Рассказывает, как его отец, инструктор по горнолыжному спорту, сопровождал Валери Жискара д'Эстена и Антуана Рибу. Признается в любви к нынешней России — ее девушкам, музыке, наивной непосредственности . . .

*Письмо от 12 марта 2008 года.* В котором Бернар-Анри не без яда обличает преступления «путинизма». Затем переходит к «исповедальному жанру» и разоблачает истинные причины, побуждающие писателей заниматься мировыми проблемами и обретать статус «ангажированных» (обычно писатели в подобных мотивах не признаются).....

*Письмо от 16 марта 2008 года.* В котором Мишель Уэльбек также называет причины (уважительные и неуважительные) своего отказа от «ангажированности». Вскользь упоминает свое нынешнее пребывание в Ирландии и объясняет, отчего покинул Францию. Неспособность подчиняться приказам. Недоверие к показному героизму .....

*Письмо от 21 марта 2008 года.* В котором Бернар-Анри Леви (цитируя то Гёте, то Дюрренматта) горько укоряет Мишеля Уэльбека за неспособность отличить войну за правое дело от бесчеловечной резни. Рембо и Коммуна. Малларме и землекопы .....

*Письмо от 24 марта 2008 года.* Мишель Уэльбек — непримиримый враг беспорядка. «Самые чудовищные несправедливости совершаются ради уничтожения порядка». Похвала Филиппу Мюрэ. Осуждение тех, кто не видит различия между «реакционером» и «консерватором». Единственная причина, по которой Мишель Уэльбек однажды вернется во Францию.....

- Письмо от 4 апреля 2008 года.* В котором Бернар-Анри Леви признается в страхе перед пустотой и в любви к секретным агентам. Книга Бытия против поэмы «О природе вещей». Евангелист Лука против материалиста Лукреция. Эмашозель Левинас против Спинозы. Противостояние неизбежно. Человечество обладает ограниченным числом вечных книг, но и среди них приходится выбирать — увы! ..... 124
- Письмо от 10 апреля 2008 года.* Первое путешествие юного Уэльбека в Германию. Ошеломляющее знакомство с Паскалем. Испытание христианством..... 140
- Письмо от 17 апреля 2008 года.* Воспоминание о двоюродных дедушках: Моисее, Иамине, Маклуфе и Месауде. Клевета Жана-Эдерна Алье. Мы узнаем, отчего еврейский мальчик, рожденный, подобно Бернар-Анри Леви, вскоре после Второй мировой войны, не мог стать ни иудеем, ни христианином..... 154
- Письмо от 26 апреля 2008 года.* В котором Мишель Уэльбек благословляет евреев за готовность противостоять новому язычеству, воинствующей религии современности. И говорит о Конте, Шатобриане, Библии и вновь о Шопенгауэре..... 169
- Письмо от 1 мая 2008 года.* В котором потрясенный Бернар-Анри Леви не хочет обсуждать безумие Канта, шахматные партии Марселя Дюшана, тайное сходство Альтюссера с Контом, но желает узнать, что думает Мишель Уэльбек о книге своей матери..... 181
- Письмо от 8 мая 2008 года.* Мишель Уэльбек говорит о матери, немного о сестре, рассказывает о своре ненавистников, которые готовы затравить его до смерти, но и тогда не уgomонятся ..... 192
- Письмо от 12 мая 2008 года.* Бернар-Анри Леви, опираясь на теорию Спинозы о «безрадостных страстях», предрекает поражение своры ненавистников..... 204
- Письмо от 20 мая 2008 года.* «Продолжайте писать!»  
Но какова ахиллесова пята писателя? Деньги? Слава? 219
- Письмо от 27 мая 2008 года.* Пишут как любят, и любят как пишут. Бодлер неизмеримо выше Рембо. Кто прав, литовские равнины, последователи Гаона

Виленского или поклонники «Критики диалектического разума» Сартра?.....	234
<i>Письмо от 3 июня 2008 года.</i> Выясняется, что Мишель Уэльбек считает роман низким жанром, а поэзию — высоким. Он вспоминает о Жане Козне и Викторе Гюго.....	251
<i>Письмо от 8 июня 2008 года.</i> В котором Бернар-Анри Леви рассказывает, как в несуществующем ныне Париже провел вечер с Луи Арагоном .....	265
<i>Письмо от 26 июня 2008 года.</i> Когда лучше любить: в полусне или на трезвую голову? Ответ Флобера и Мишеля Уэльбека. Шопенгауэр и Платон: учителя или коллеги? Отвечает по-прежнему Мишель Уэльбек . . . .	280
<i>Письмо от 30 июня 2008 года.</i> Мальро — идеал писателя? Правда о Гари. Что сближает и что разделяет Мишеля Уэльбека и Бернара-Анри Леви? Ответ Бернара-Анри Леви .....	293
<i>Письмо от 3 июля 2008 года.</i> Что быстрее забывается: прожитая жизнь или написанные книги?.....	310
<i>Письмо от 11 июля 2008 года.</i> Почему нужно постараться ничего не забыть, ничего — и почему ошибается Ницше, считая, что воспоминание смертоносно .....	312

**Уэльбек М., Леви Б.-А.**

У 98 Враги общества / Пер. с фр. Е. Кожевниковой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. — 320 с.

ISBN 978-5-389-02731-2

Авторов этой книги многое разделяет и многое объединяет. Мишель Уэльбек всего добился сам. Он нелюдим и неразговорчив, с восторгом отзывается о России и любит здесь бывать. Его философско-фантастические романы «Элементарные частицы», «Платформа» и «Возможность острова» полны безнадежного пессимизма и шокирующе откровенных сцен.

Публицист, философ, писатель Бернар-Анри Леви — выходец из богатой семьи, любит блистать красноречием, Россию он жестоко критикует за тоталитаризм и за Чечню. Во французской прессе его называют просто ВНЛ (что говорит о культовом статусе), при этом нападая на него по любому поводу — так же, как на Уэльбека. Горячий спор двух столь разных «врагов общества» — наглядное подтверждение: крайности сходятся.

УДК 82/89

ББК 84.4 Фр

Литературно-художественное издание

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК, БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ  
ВРАГИ ОБЩЕСТВА

Ответственная за выпуск Галина Соловьева  
Художественный редактор Илья Кучма  
Технический редактор Мария Антипова  
Корректор Наталья Бобкова  
Верстка Алексея Положенцева

Подписано в печать 23.08.2011.  
Формат издания 76 x 100 1/32. Печать офсетная.  
Гарнитура «Петербург». Тираж 5000 экз.  
Усл. печ. л. 14,1. Заказ № 8345.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)



Авторов этой книги многое разделяет и многое объединяет. Мишель Уэльбек всего добился сам. Он нелюдим и неразговорчив, с восторгом отзывается о России и любит здесь бывать. Его философско-фантастические романы «Элементарные частицы», «Платформа» и «Возможность острова» полны безнадёжного пессимизма и шокирующе откровенных сцен.

Публицист, философ, кинематографист, писатель Бернар-Анри Леви — выходец из богатой семьи, любит блистать красноречием, Россию он жестоко критикует за тоталитаризм и за Чечню. Во французской прессе его называют просто ВНЛ (что говорит о культовом статусе), при этом нападая на него по любому поводу — так же, как на Уэльбека. Горячий спор двух столь разных «врагов общества» — наглядное подтверждение: крайности сходятся.



© istockphoto.com / ElenaVizerskaya  
Дизайн серии Иллы Кучмы

